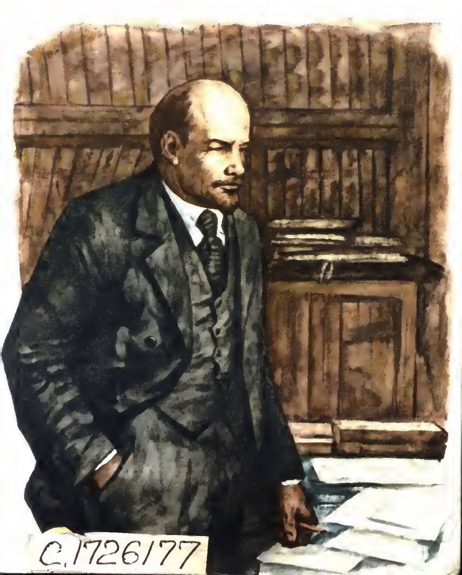
С. Антонов

ТРУДНЫЙ ДЕНЬ





С. Антонов

ТРУДНЫЙ ДЕНЬ

Рассказы и повесть о Ленине



МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
1978

Р2
А 72

Антонов С. Ф.

А 72 Трудный день. Рассказы и повесть о Ленине. М., «Моск. рабочий», 1978.

256 с.

В эту книгу известный писатель С. Ф. Антонов включил свои избранные рассказы и повесть «Огонек вдалеке», посвященные жизни Владимира Ильича Ленина.

Р2

А $\frac{70302\text{-}80}{М172(03)\text{-}78}$ 174-78

ВСТРЕЧА В КРЕМЛЕ

Ленин стоял у окна, заложив руки глубоко в карманы брюк. В кабинете с двумя окнами и высоким сводчатым потолком было холодно и сыро. Последние недели зимы выдались студеными. Владимиру Ильичу виден был Арсенал, изрешеченный осколками снарядов; Троицкая башня с огромным, четко вырисовывающимся на сером небе орлом, отсюда казавшаяся менее высокой, чем со стороны Манежа; кусочек Кремлевской стены и здание казарм. На площади, где осел булыжник, образовав ямы, вдоль Арсенала тянулся к Никольской башне ряд тоненьких фонарей, похожих на былинки, загнутые вверх крючочком.

На дорогах к Троицкой башне и к Арсеналу, на широкой площади с фонарями снег был потоптан и замусорен. Только на крышах и на Кремлевской стене он лежал ровно, нетронутый и чистый.

За Кремлем стыли скованные морозом каменные дома. Вон там, за музеем и библиотекой Румянцева, еле виднеются трубы. Но сколько ни смотри, не заметишь дымка: нечем топить.

Зима обложила Москву кольцом холода. К врагам, навалившимся на обескровленную, истерзанную в гражданской войне страну,— голоду, разрухе — прибавился еще один: холод.

Свирепствовал тиф.

Ленин вздохнул. Потом он неожиданно резким движением вынул руки из карманов и сел за стол.

Простая, похожая на ученическую ручка, не дописывая и сокращая слова, быстро забегала по листу бумаги, оставляя неразборчивые фразы. Мысли обгоня-

ли друг друга, и он стремительно записывал: проверить, обеспечены ли детские дома дровами. Нет — обеспечить... Увеличить паек сахара и сахарина рабочим металлургической промышленности... Наркомпрос задержал выпуск книг для деревни. С Анатолием Васильевичем поговорить, выругать... С декретом ознакомить товарищей и утвердить... Каменеву — записку... Заграница, которая предлагает свои услуги... Справимся сами или нет?..

Перо на мгновение остановилось.

Тихо открылась обитая белой клеенкой дверь, ведущая в зал заседаний, показался секретарь.

— Владимир Ильич,— тихо позвал он.

Но Ленин не ответил, поглощенный работой.

— Владимир Ильич!..

Ленин поднял голову, сказал:

— Да, да,— и взял листок бумаги — для записки.

— Владимир Ильич, к вам товарищ Коршунов.

— Хорошо,— сказал Ленин.

Секретарь ушел, прикрыв за собою дверь, а Владимир Ильич продолжал писать, торопясь закончить записку Сергею Сергеевичу Каменеву. Ленин знал, что за время, пока секретарь пройдет зал заседаний, войдет в приемную, скажет посетителю: «Владимир Ильич просит вас», пока посетитель встанет, поправит прическу или что-нибудь в своей одежде, пройдет зал заседаний,— за это время, какую-нибудь минуту-полторы, можно прочесть письмо, пробежать глазами заметку в газете, написать, наконец, записку. Можно сделать много, очень много крайне необходимого. Владимир Ильич писал, но едва в дверях показалась худощавая, невысокая фигура ученого, старого знакомого, застенчивого и сейчас немного смущенного, Ленин встал из-за стола и направился навстречу.

— Проходите, Леонид Алексеевич, проходите,— Владимир Ильич указал на одно из мягких кресел.— Садитесь, пожалуйста...

Леонид Алексеевич Коршунов как-то неловко, быстро прошел к креслу и спрятал ноги под стол, перпендикулярно придвинутый к рабочему столу Ленина. Сделал Коршунов это так поспешно, что сам почувствовал неловкость и смутился. Но, взглянув на Ленина, севшего в свое плетеное кресло, успокоился и только тогда повернулся к нему.

— Как здоровье, Леонид Алексеевич? — спросил Ленин.— Не жалуетесь?

— Спасибо, Владимир Ильич. Не жалуюсь.

— Хорошо. Трудное сейчас время, Леонид Алексеевич, и нам нужно его перебороть.

Когда Ленин умолк, Коршунов начал:

— Я относительно возможной экспедиции в Сибирь, Владимир Ильич. Вы, конечно, знаете, что 30 июня 1908 года произошло чрезвычайно интересное для ученого мира событие. Явление довольно редкое, необычайное по своим масштабам и, быть может, значению. В сибирской тайге упал метеорит.— Здесь Коршунов взглянул на Ленина и отметил, что Владимир Ильич внимательно слушает его.

Коршунову показалось, что Ленин прекрасно знает о метеорите, знает мысли и желания ученого и что своим докладом он только отнимает время у очень занятого человека. Коршунов запнулся.

— Этот метеорит... Впрочем, вы все это знаете...

— Зря вы так думаете, Леонид Алексеевич,— заметил Ленин.— Кроме того, что где-то упал метеорит, я ничего не знал. Да, да...— Склонив голову набок, он подался к ученому и тихо произнес, улыбаясь: — Даже года не помнил.

Коршунов тоже улыбнулся.

— Странное дело! — продолжал Ленин уже серьезно.— Многие почему-то считают, что председатель Совнаркома, наркомы все знают! Чепуха. И притом — вредная. Мы мало, очень мало, позорно мало знаем! И чем больше мы с вами будем встречаться, тем лучше! Продолжайте, Леонид Алексеевич. И не торопитесь.

Коршунов, ободренный и повеселевший, продолжал, излагая заранее продуманные мысли:

— Если учесть, что самым крупным метеоритом считается метеорит весом в тридцать шесть с половиной тонн, за которым идет так называемый мексиканский в двадцать семь тонн, то наш сибирский метеорит лично мне представляется гигантом по сравнению с известными нам метеоритами. Но вся беда в том, что до сих пор точное местонахождение этого метеорита не определено.

— И вы хотите ехать за метеоритом? — спросил Владимир Ильич, когда Коршунов сделал паузу.

— Да,— ответил тот.— Совершенно верно. Хочу ехать за метеоритом.— И поспешил добавить: — Я понимаю, что сейчас не до них... Я буду просить совсем немного. Обидно, когда за границей создаются общества по изучению нашего русского метеорита, а мы...

— Нет, нет, нет,— быстро произнес Ленин.— Заграница здесь ни к чему. Пусть и не мечтают. Что нужно для вашей экспедиции?

— Я заготовил.— Коршунов из внутреннего кармана пиджака достал вдвое сложенные листы бумаги.— Я старался скромно, Владимир Ильич...

Ленин стал читать список, и чем больше он в него углублялся, тем больше хмурился. Коршунову показалось, что печаль, которой ни разу не замечал он у Ленина, сейчас ясно проступила на его лице. Потом Владимир Ильич положил эти листы на стол, провел по ним левой рукой, разглаживая, и обратил к ученому свое суровое и все еще, как казалось тому, печальное лицо.

Коршунов медленно поднял глаза на Ленина и неуверенно произнес:

— Хотя... список можно еще сократить. Хлеба меньше... Да и с приборами... Теодолит можно один сбросить, кроме того...

Ленин смотрел мимо ученого, в угол кабинета, казалось, не слушал и уже не замечал его присутствия.

— Теодолит сбросить,— повторил он, переводя взгляд сощуренных глаз на Коршунова, резко отодвинул свое плетеное кресло и, как бы в недовольстве и удивлении ударив пальцами по бумаге, вышел из-за стола.

Стараясь не смотреть на Коршунова, он сунул руки в карманы и зашагал по кабинету.

— Там же тайга,— заговорил Ленин резко и твердо, словно стараясь помочь ученому уяснить положение вещей.— Тысячи верст непролазной и путаной тайги. Бурные реки. Зверье. Бездорожье. И ни души на сотни верст... Вы понимаете это? — Он остановился.— Вы все это понимаете,— сказал Владимир Ильич более мягко и, снова посмотрев на список, продолжал: — «Фунт хлеба в день, пять фунтов сахара на всех, табаку...» — читал он, и в голосе его слышались то суровость, то недовольство, то удивление, то вдруг покрывавшая все это печаль.

— Сахар можно сбросить, а табак, извините, необходим: от комаров спасает,— строго заметил ученый.

Точно не слыша, Владимир Ильич продолжал:

— «Меха для футляров под инструменты». Под инструменты! — повторил он.

Коршунов поднялся, и стекла очков его, в которых отразились окна, засверкали. Была в нем решимость человека, идущего на последнее средство.

— Владимир Ильич! — громко и твердо сказал он.— Товарищ Ленин! Нужно ехать! Поймите, нам выпало счастье. Не на чью-нибудь, а именно на нашу территорию упал этот метеорит! Редкое явление! А мы?.. Упади он во Франции, Америке — представляете, сколько — и каких! — экспедиций устремилось бы к нему! Да, мы нищие, голодные, нас душат интервенты, но, в конце концов, редкая возможность предоставлена только нам. Мировая наука не виновата, что мы нищие. Нужно ехать, Владимир Ильич!

И Коршунов снова сел в кресло.

— Ах ты, боже мой! —воскликнул Ленин и подошел к ученому.— Конечно, нужно, необыкновенный человек, Леонид Алексеевич. То, что вы просите, мы дадим. Но этого же мало! Разве с таким оснащением едут в Сибирь?! Его может хватить для экспедиции в Подмосковье! Это же крохи! Обидно, обидно! — повторил Ленин и заговорил непримиримо и настойчиво: — Пожалуйста, не чувствуйте себя просителями. Вы же — ученые, редкие, удивительные люди,— наше будущее! Наследники великой русской науки! Цените себя и требуйте, а не просите! Жаль, что таким людям, как вы, мы не можем еще предоставить всего необходимого, всего, что они заслуживают! Но ничего! Дайте нам только срок!

— А-а...— растерянно произнес Коршунов, глядя на Ленина. Хотел сказать что-то еще, но лишь облегченно вздохнул и провел рукой по лбу, вытирая пот.

Ленин подошел к ученому, участливо спросил:

— Леонид Алексеевич, а если мы дадим только то, что написано здесь, вот в этом архиробком списке? — указал он рукой на бумаги Коршунова.— Поедете?

— Владимир Ильич, я и не мечтаю о большем! Вот сойдет снег, подготовимся и поедем. И, ей-богу, больше

ничего не надо. Ведь у вас и так все просят, все с вас тянут... А откуда брать?

— Поедете? — переспросил Ленин.

— Да, поеду.

— И больше ничего не попросите?

— Нет, ничего.

— Ничего, Леонид Алексеевич? — допытывался Ленин.

— Ничего.

Ленин недовольно кашлянул. Потом взглянул куда-то вниз, под стол, и грустно улыбнулся.

— А нуте-с, батенька Леонид Алексеевич, подойдите к этому окну.

— Зачем, Владимир Ильич?

— Я вас прошу, Леонид Алексеевич. Подойдите к этому окну! Сделайте мне одолжение.— И Ленин добавил, озорно погрозив пальцем: — Знаю я вас!

— Нет, Владимир Ильич. Если вы согласны, я, пожалуй, не буду отнимать у вас время...

— Нет,— добродушно сказал Ленин.— Я еще не согласен. Будьте любезны, подойдите к этому окну, Леонид Алексеевич.

Коршунов неохотно встал и в нерешительности, чего-то ожидая, смотрел на Ленина.

Но Ленин тоже не спускал с него глаз.

— Ну,— настаивал он,— выходите.

— Пожалуйста,— Коршунов решился и вышел из-за стола.

Ленин посмотрел на ноги ученого и сказал:

— Ну вот. Так оно и есть. В чем же вы, дорогой Леонид Алексеевич, поедете в тайгу? В этих рваных башмаках, которые расползутся на пятой версте от Москвы?

— Можно и в этих,— сказал Коршунов,— я их веревочкой... Внутрь портянки, а сверху — бечева.

— Можно,— повторил Ленин, раздумывая.— Ведь у вас вторых-то нет?

— Были, износились. А эти я берегу...

— «Можно и в этих»,— снова повторил Ленин.— Простите Леонид Алексеевич. Простите.

Ленин дотронулся до плеча Коршунова и усадил его. Заглянул в лицо — не обижается ли? — и, окончательно убедившись, что не обижается, успокоился, зашагал по комнате.

— Есть у нас необыкновенные люди,— заговорил он.— Вот Циолковский. Представьте себе провинциальный русский город. Где-то в старом деревянном домике, наверное, на улице, поросшей травой, где бродят гуси и свиньи, живет старый учитель математики. Он получает свой паек — хлеб и селедку — и занимается вопросами полета в межпланетное пространство. Да еще, наверное, в нетопленной квартире сидит! И вы, батенька, по той же дороге: за тысячи верст, в тайгу, в Сибирь, в рваных штиблетах!

«Ну, а вы,— подумал Коршунов,— вы, Владимир Ильич? В стране, где не каждый может даже прочесть слово «социализм», строить социализм!»

И Коршунов вдруг ясно себе представил, что Ленина и его, Коршунова, что-то роднит, объединяет, что Ленин и он, Коршунов, делают одно дело и это дело — главное в жизни Циолковского, живущего в Калуге и осваивающего вселенную, и голодных рабочих, восстанавливающих заводы, и в жизни мужиков, поднимающих землю сохой...

Ученый ушел, возбужденный и какой-то легкий. Он пробежал по Кремлю, вышел на Красную площадь, думая о завтрашнем дне, о мечте, которая непременно осуществится.

...Наступит время, когда задымят в стране заводы, даже те, которых пока еще нет, тракторные и автомобильные, но о которых уже думает человек, работающий в небольшом холодном кабинете со сводчатым потолком. Всем будет доступно слово Пушкина и Толстого, потому что темная, полудикая Россия станет страной сплошной грамотности... И конечно же научные экспедиции доберутся до Северного полюса, а может быть, кто-нибудь спустится на дно океана или поднимется за атмосферу. И руководителям этих экспедиций не нужно будет беспокоить организатора нового огромного государства, беспокоить из-за четвертушки хлеба в день и табака... И вырастут новые люди с новыми понятиями о назначении человека... Это все будет.

А пока — неубранный снег на улицах, спешащие прохожие, которых подгоняет мороз, медленно плетущаяся лошадь, на которую кричит человек в армяке: «Эй ты, шелудивая!» — наглухо закрытые лавчонки с железными вывесками: «Мартьянов», «Оптовая тор-

говля. Гурнн и сыновья», «И. В. Кошкин. Скобяные говары». Это — пока.

...Проходит небольшой отряд красноармейцев в буденовках, везут на санях гремящие на всю улицу железные трубы: что-то восстанавливают или строят,— в окне учреждения промелькнул портрет Карла Маркса и начало какого-то лозунга: «Да здравствует...» Из подъезда в подъезд перебежала женщина в красной косынке...

Среднего роста крепкий человек ходит по кабннету в Кремле, центре необъятной страны, думает, энергично н быстро что-то записывает ручкой, похожей на ученическую,— и новые свершения, подвластные и уже такие близкие, которые преобразят Россию, видятся ему.

ВТОРАЯ ОСЕНЬ

30 августа 1918 года, когда Владимир Ильич, закончив выступление перед рабочими, шел из цеха к машине, Фанни Ройд, она же Каплан, трижды выстрелила в него в упор. Стреляла специально приготовленными пулямн с надрезами, которые несли в себе сильнодействующий яд.

Тяжело, почти смертельно раненного Ленина отвезли в Кремль. Эхо злодейских выстрелов донеслось до самых глухих мест страны.

У кирпичного приземистого здания волостного Совета на горке, где совсем недавно помещалось волостное правление, толпился народ. Одни стояли у самых дверей, другие поодаль, как бы подчеркивая тем самым малую причастность к происходящему.

Пора бы уже, казалось, и перестать удивляться переменам, однако они проявлялись так неожиданно, в таких формах, что хочешь не хочешь, а разводи руками. «Свадьба без батюшки, и не в церкви, а в волостном Совете! Вместо попа — председатель Василий, хромой солдат с пистолетом на боку! Что же он, наганом вместо креста освятит таинство брака?»

Чем томительнее становилось ожидание, тем сильнее будоражил беспокойный говор:

— Ой, заносится наш Василий! Ой, мудрит!

— Чего «мудрит»? Чего «мудрит»?

— Наш Василий с Пётрой двигают деревню на новый путь.

— Не двигают, а нахально в спину пихают.

— Твою спину и хорошей оглоблей не прошибешь.

— Пётра не пихает, а словами умасливает.

Между тем в комнате волостного Совета, украшенной скрещенными флагами, еловыми ветками и лозунгом «Да здравствует мировая революция!», давно уже крутилась приодетая по случаю торжества старуха в строго повязанном черном платке и все норовила что-то сказать Василию, занятому своими суматошными делами: куда-то запропастился гармонист, стол для такого случая вроде бы не на месте стоит, а тут еще тетка Настасья насчет дров лезет.

Наконец улучила удобный момент и протянула ему белую фату, давно потерявшую свой цвет:

— Не греши, Василий, не греши! Хотя бы фату дай надеть!

Замотанный председатель посмотрел на женщину, не понимая:

— Какую фату? — Потом что-то дошло до него: — Фату! Это во что попы обряжали? Ты что?! — Он недоумевал: как это можно предлагать такое? — Ты что?!

Тетку прогнал, гармониста велел немедленно разыскать, стол, накрытый кумачом, переставить ближе к окну, и уже через пять минут был готов к церемонии. В пиджаке поверх гимнастерки, с большим красным бантом на груди, осознавая важность и торжественность момента, с бумагою в руке вытянулся за столом.

Перед ним застыли Петр и Алена. Жених — секретарь, или как часто говорили в те времена, председатель партийной ячейки Петр Волков, или попросту — Пётра, худощавый и смирный на вид человек. Невеста — Алена, статная девушка с длинными льняными косами, известная в деревне тем, что представляет в спектаклях на сцене Нардома... Они не знали, как держать себя, и от смущения смотрели в разные сто-

роны, чуть ли не отвернувшись друг от друга. Василий кивнул им, но те, не поняв, лишь стали плечо к плечу, по-прежнему глядя один вправо, другой влево.

Наконец в двери появился запаренный гармонист, протиснулся к табуретке и сел.

Василий, погрозив ему кулаком, выждал полминуты, откашлялся и начал как можно торжественнее:

— Удостоверение номер один! — Василий сделал многозначительную паузу.— Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики объявляю Петра Афанасьевича Волкова и Елену Андреевну Орочкину законными мужем и женой.

«Что же еще?»

Но Василий не знал, что нужно делать еще. Получалось, что вроде все... Удивительно! Столько готовился, казалось, будет говорить чуть ли не час, а вот уже и слов нет.

Он пожал руку Петру, потом Алене:

— Поздравляю!

«Неужели все?»

Напрасно рябой гармонист с выражением крайнего нетерпения смотрел на него: «Сейчас играть? Сейчас?» — Василий не замечал его вопросительных взглядов.

Вдруг, теперь уже не связанный никакими условностями церемонии, Василий свободно вздохнул, улыбнулся и сказал от всего сердца:

— Как я вам, други мои, завидую и счастья хочу! Если бы кто-нибудь только знал!

Он обнял Петра, потом Алену. Наконец заметил отчаянные усилия гармониста и кивнул ему. Тот с воодушевлением заиграл «Интернационал». Запел один голос, второй...

Но не прошло и полминуты, как с улицы донесся приглушенный крик:

— Ленина убили! Батюшки!..

Василий огляделся: не ослышался ли? Но и на лицах других испуг и смятение... И вокруг люди молча спрашивали друг друга: что это?..

Прихрамывая, Василий побежал к выходу.

У крыльца, уже окруженный плотной толпой, неказистый мужичонка испуганно продолжал:

— Вот только что свояк проезжал и рассказывал... В городе свояк был... Сам слышал...

Василий подошел к мужичонке, яростно схватил за воротник:

— Ты что мелешь? Ты понимаешь, что говоришь?

Сразу опустел волостной Совет. На полу валялась брошенная впопыхах фата. Валялась опрокинутая табуретка.

В деревне не было телеграфа. Нужно добраться до ближайшей почты в селе, и вот, подавленные страшной вестью, трое спасовцев на телеге мчали по лесной дороге.

Василий суров и непреклонен. Лицо неподвижно. Он решил для себя, что не может этого быть! Не может! Однако и его точил червь сомнения. «А вдруг?..»

Петр грустен и задумчив. Он ничего не пытался скрыть: ни выражения безмерного горя, ни надежды, что, быть может, не все так страшно, и все чувства эти явственно отражались на его лице.

Часа через полтора, чуть не загнав Мальчика, спасовцы добрались до села. То, что они увидели, не предвещало добра...

Небольшая комната собственно почты, отделенная от жилых стеной с высокой белой дверью, была полна всполошенного народа.

Народ разношерстный: крестьяне, учитель с аккуратно повязанным галстуком, вездесущие ребятишки, сам батюшка. Стоял здесь и немолодой небритый мужик в сапогах, развязно посматривавший то на одного, то на другого. Но никому не было дела до этого мужика.

В напряженной тишине слышалось дыхание, глухое потрескивание самосада в огромных цигарках, детские шажки за стеной, в жилой комнате.

Все смотрели на аппарат и телеграфиста Ивана Тимофеевича, сидевшего за ним. Аппарат был внушительный, надежный. На солидной дубовой подставке — множество деталей из натертой до блеска меди. Вольтметр с застывшей черной стрелкой. Неподвижная катушка с узкой лентой бумаги.

Аппарат молчал. Все ждали.

Василий, Петр и Алена обменялись взглядами и вздохнули. Вдруг что-то чуть слышно стукнуло в аппарате.

— Тихо! — крикнул Иван Тимофеевич, хотя на почте и так было совершенно тихо.

Аппарат застучал, дрогнула стрелка, поползла лента.

Все невольно подались к низенькой перегородке, за которой сидел телеграфист. Лица стали еще более напряженными.

— Всем Советам рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов, всем армиям,— стал медленно читать телеграфист,— всем, всем, всем...

Начало настораживало.

Люди беспрестанно подходили, каким-то образом втискиваясь в переполненный закуток почты, снимали картузы, пытливо ощупывали взглядом собравшихся.

— Несколько часов тому назад,— продолжал Иван Тимофеевич,— совершено злодейское покушение на товарища Ленина...

Василий невольно протянул руку к аппарату, словно умоляя не тянуть, не терзать душу. Но «Морзе» продолжал стучать неторопливо.

— Роль товарища Ленина...— читал телеграфист.

В это время в жилой комнате ребенок шлепнулся на пол, и раздался отчаянный крик. Иван Тимофеевич рванулся было в свою квартиру, но сдержал себя:

— Роль товарища Ленина,— продолжал читать он,— его значение для рабочего движения всего мира...

Сейчас ребенок уже заходился криком. Василий, стороня то одного, то другого, пробрался к двери, вошел в комнату. На полу лежала девочка лет четырех, рядом с ней валялась табуретка.

Василий неловко нагнулся, отставив раненую ногу, и подхватил девочку на руки. Успокаивая, стал качать, прислушиваясь к тому, что читал с ленты телеграфист. Однако девочка продолжала плакать, и он ничего не слышал. Надеясь, что на людях она успокоится, он, держа ее на руках, вернулся обратно.

— ...В пятницу,— читал телеграфист, на миг скосив глаза на дочку,— выступал перед рабочими завода Михельсона в Замоскворецком районе города Москвы. По выходе с митинга товарищ Ленин был ранен.

— Жив или нет? — сорвалось у кого-то.

Как ни старался Василий, девочка продолжала всхлипывать, но глазенки ее уже с интересом смотрели по сторонам.

Петр стал шарить по карманам в надежде найти что-нибудь, что могло бы отвлечь ее.

— Двое стрелявших,— продолжал телеграфист,— задержаны. Их личность выясняется.

Сосед Василия, тот самый немолодой небритый мужик, что развязно оглядывал собравшихся, тоже полез в карман штанов. И когда он вынимал замусоленный кусочек сахара, можно было увидеть рукоять револьвера.

Медленно ползла лента. Наверное, только минут через двадцать телеграфист закончил:

— Спокойствие и организация! Все должны стойко оставаться на своих местах! Теснее ряды! Председатель ВЦИК Я. Свердлов.

Узкая дорога через лес в ясную лунную ночь казалась глубоким ущельем. Одна сторона — в тени, другая — освещена.

Сейчас ехали уже не спеша. Изредка пофыркивала лошадь, поскрипывали колеса. Ничего больше не было слышно...

Все неотвязно думали об одном и том же: жив или?.. Но заговорить об этом никто не решался. Будто словами могли навлечь на Ленина то, чего не должно быть, что совершенно невозможно.

Поскрипывали колеса, бесконечно тянулась дорога... Все стлалась и стлалась то твердым глиноземом, то ровным, мягким слоем пыли, то сетью корневищ сосен, переползшей с одного края дороги на другой, то вдруг подкладывала под колеса комья глины, то бросала в неглубокие колдобины, сейчас, к счастью, совершенно сухие, то опять стлалась твердым глиноземом, слоем пыли.

Ехали трое молчащих людей. Ехали долго. И невмоготу стало это молчание, скованность, напряжение.

Василий вдруг соскочил с телеги, зашагал к полянке. Петр и Алена переглянулись, последовали за ним.

Широко шагавший Василий поднял голову, глубоко вздохнул, словно до этого ему не хватало воздуха и простора. Над ним взметнулось небо с крупными осенними звездами, темный лес с высокой сосной. Тишина.

Заметив поваленное дерево, Василий сел на него. Остановив лошадь, подсели к нему Петр и Алена.

— Начнется теперь,— озабоченно сказал Василий и тяжело вздохнул.— Начнется.

Алене хотелось плакать. Хорошо, что можно было отвернуться от мужиков и вытереть непрошеную слезу: как ни сдерживала себя,— пробилась.

Посидели вот так молча, думая об одном, и снова в путь.

На повороте, давно славившемся печальными событиями,— ограблениями и убийствами, о которых долгими зимними вечерами бабушки рассказывали внукам, по мере приближения телеги постепенно вырисовывалась фигура человека. Стоял ждал.

Василий схватился за револьвер. Алена невольно подалась к Петру, но сейчас же отпрянула, не желая, чтобы Василий заметил ее слабость. Она даже украдкой взглянула на него, не заметил ли, но председатель волисполкома был озабочен другим.

— Будьте осторожны,— тихо проговорил он.

Когда подвода приблизилась к человеку, тот небрежно спросил:

— Огонька не найдется, люди? — И протянул руку с козьей ножкой.

Петр соскочил с остановившейся телеги и достал из кармана кисет, где хранились кресало и трут. Стал высекать искру. Нелегкое это дело вообще сейчас оказалось особенно трудным: Петр немного волновался, и удары кресала о кремень не были точными. Искры вспыхивали слабенькие, а когда удавалось высечь яркую — она не попадала на трут.

— Так... Так...— заметил человек.— Так... Так...

Он еще подождал, словно для того, чтобы обратить внимание всех на состояние Петра, а потом сказал:

— Дай-ка мне!

Незнакомец решительно взял трут и кресало и с первого же удара ловко высек искру. Закурил. Теперь можно было разглядеть его круглое лицо, нагловатую усмешку.

— Значит, к заре новой жизни идете? — как бы заинтересованно спросил человек.— Бедноту сплачиваете?

— Идем... Сплачиваем...— ответил Василий, присматриваясь к ночному собеседнику.

— Ну а как, если Ленина не будет? Куда идти, куда поворачивать?

— На попятную не пойдем,— отрезал Василий.
— Значит, в сторону? Вправо или влево?
— И в сторону не пойдем!
— Так, так...
Только сейчас вмешался Петр, как всегда при Василии старавшийся держаться в тени:
— Партия, дорогой гражданин, с дороги Ленина не свернет. Нету ее, этой другой дороги. Историческая необходимость и закономерность... Доказано Карлом Марксом.
— А если предложат все-таки другую? — едва заметно усмехнулся незнакомец.
— Предлагали,— спокойно ответил Петр.— Да почему-то народ за топоры и винтовки взялся.
Василий, гордясь Петром, довольный его ответом, кивнул незнакомцу: «Получил»? И добавил:
— Вперед и только вперед! Вот так!
— Мир переворачиваете, выходит?
Василий не ответил.
— Ну, а как там? — по-хозяйски спросил человек, кивнув в сторону, откуда они возвращались.
— Что «как»? — недружелюбно проговорил Василий.
— Утешают, значит?
— Правду говорят: ранен...
— Так... Так... Был, значит, ранен, а в текущую минуту?.. Грандиозные потрясения предвидятся. И сомкнется небо с землей, и не останется камня на камне.
— Ты о чем это? — Василий подозрительно взглянул на незнакомца.
Тот пропустил вопрос мимо ушей. Как ловко он сделал это: не слышит, и все!
— Ты это о чем?! — вскричал Василий, подскочив к нему.
Словно ничего не заметив, незнакомец добродушно протянул кисет с табаком:
— Угощайтесь!
Да, этот мужик и впрямь удивительно ловко умел делать вид, что не слышит того, чего не хочет слышать, и не замечает того, чего не хочет замечать.
— Благодарствуем,— ответил Петр.
— Зря... Зря...— незнакомец встряхнул кисетом. В коробке отчетливо загремели спички.

Василий и Петр обменялись быстрыми взглядами. А мужик, не придав никакого значения тому, что выдал себя, развязал кисет, достал коробок и протянул его Василию, в котором безошибочно признал старшего:

— Возьмите сернички, граждане, а то в темноте невзначай перекусаете друг друга... В своей бывшей Совдепии...

Больше всего возмущал тон: спокойный, даже как будто благожелательный.

Василий, у которого перекосилось от ненависти лицо, рванулся к круглолицему. Петр подскочил, изо всей силы охватил товарища руками.

— Голова...— небрежно похвалил Петра круглолицый и не спеша пошел прочь, пряча спички в кисет.

— Пусти! Пусти! — требовал Василий и кричал, не помня себя: — Ты — пособник!.. Пособник этой сволочи! Пусти!

— Опомнись...— увещевал Петр.— Опомнись, Василий!.. Такие не выходят на дорогу одни...

Когда Василий затих, Петр разжал руки, освободил его. Председатель присел на обочину и, обмякший, уронив голову, стыдясь вспышки минутной ярости, помутившей разум, задумался.

Алена не знала, как поступить: сделать вид, будто ничего особенного не произошло? Подойти к Василию? Но решила чувств не проявлять.

— Почуяли! Ладно...— поднимая голову, твердо проговорил Василий.— Одни не возьмем — партией возьмем! — И уже стал отдавать распоряжения: — На почту ездить каждый день... Алене... Собираться в волисполкоме и читать сообщения... Всех активистов вооружить, каждому быть в полной боевой готовности... Поехали!

Сели, Алена дернула вожжи, телега тронулась.

В эту ночь председатель долго не мог заснуть. Все его существо противилось, восставало, не хотело принимать тревожной вести.

Но ведь все это было на самом деле: почта, полная народа, прерывистый и тревожный стук телеграфного ключа, строгий голос Ивана Тимофеевича, читающего с ленты. И в конце сообщения фамилия: Свердлов...

Нет, в реальности того, что видел и слышал, не усомнишься. Тогда Василий стал отгонять от себя какие-либо сомнения: встанет! Поправится! Переборет! Не может, не может быть иначе! И когда все же страшная мысль тайком проползала в сознание, бывший солдат набрасывался на нее, как на самого опасного врага. Вон! Вон! Вон!

«Не может быть!»

Ленина Василий видел на фотографии в газете и мельком еще на одной, когда был в городе: висела на стене в укоме. Но Василию всегда казалось, что он знал Владимира Ильича так, будто видел его много раз и согласно беседовал с ним о мировой революции, об отношении к середняку и о Восточном фронте. Но больше всего — о мировой революции: ему она была просто необходима. Жена Василия не раз напоминала мужу о том, что неплохо было бы справить новую пару сапог, починить что-то в доме, перекрыть крышу сарая: ведь начальник же! А посмотреть со стороны — живет как последний батрак. Эти разговоры Василий прекращал: мелочная суета, забота о себе, он был уверен, отдалила бы его от того большого, чем он недавно начал жить, и от мировой революции в первую очередь... А приобщил его к подлинно великому он, Ленин... И миллионы других трудовых людей тоже... И вот Ленин лежал сейчас в Москве, представлялось, в какой-то просторной больничной палате с огромными окнами, как в помещичьем доме неподалеку, вокруг стояли врачи в белых халатах и товарищи по борьбе. Делали все, что могли, и ждали... С момента телеграфного сообщения прошли часы... Живой?

Живой! Живой!

Утром председатель собрал в волостном Совете активистов, Петра и еще троих постарше. Рассказал им о вчерашних событиях. Потом припомнил вдруг фронт, свою солдатскую жизнь. И — удивительно! — вспоминая прошлое, Василий как-то потеплел, стал мягче:

— Меня как садануло, думал — смерть! Смерть, и все! Отвезли меня в госпиталь. Да какой там госпиталь! Сарай с дырявой крышей! Раненых человек двадцать, и на всех — старенькая сестра да фершал. Даже не доктор! Чуть пограмотнее мужика. И вот, скажи ты, вылечил! — Василий похлопал себя по груди, по ноге.— Ну а Ленина, Ленина-то ведь не фершал

будет лечнть, а? Не фершал? — И добавил, успокаивая всех:— Обойдется... Обойдется...

И затем опять — к делу.

— У тебя, Анисим Иванович? — спросил, обращаясь к одному из пожилых.

— С мировой принес...— Анисим Иванович подал Василию револьвер.— В амбаре держу. Над дверью.

— У тебя, Егор, двустволка, конечно, на ходу? — продолжал Василий.

Бородатый Егор лишь кивнул: мол, о чем может идти речь?

— У тебя, Тихонович?

Робковатый Тихонович вздохнул, чувствуя себя не очень ловко, и не сразу ответил:

— У меня, братцы, баба ружье спрятала. Весь двор перерыл, не могу найти. Все обшарил — нету!

— Можем и на бабу воздействовать,— уверенно предложил Василий.— Как? — н вопросительно посмотрел на Тихоновича.

Тот замялся: не простое дело — на его бабу воздействовать...

В это время дверь открылась, вошла низкорослая женщина в платке, с узелком в руке, та самая, которая настойчиво предлагала Василию фату.

Тихонович как-то сразу притих, съежился: жена!

Не обращая внимания на собравшихся, женщина прошла в угол и положила узелок на стул.

— Чем ваши ружья да пули помогут человеку? — с укором сказала она.— Сала ему надо послать, масла, меду...

— Ты о чем это? — спросил Василий, который уже догадывался о смысле бабкиных слов.

— Мужики...— так же с укором продолжала бабка.— Все только о наганах да винтовках! Лишь бы кровь проливать... Масла, говорю, ему надо для поправки, сала...

«Мужики» переглянулись, обескураженные и озадаченные: как это они сами не догадалнсь?

— Пошлем,— поспешно сказал Анисим Иванович.— Соберем и пошлем!

Василий встал, воодушевленный новой идеей:

— Вождю мирового пролетариата! Так и напишем!

Потом подошел к бабке и, как бы вспомнная о чемто, сказал:

— Варвара Семеновна, ох и догадливая ты женщина... Другой такой в нашей деревне не сыщешь, хоть год днем с огнем ищи!

— А чего тут особенно догадываться-то? Больному корм — первое дело! Корм да лечение... А тебе спасибо, Василий... Спасибо на добром слове! — Варвара Семеновна таяла от похвалы.— Хоть ты и нехристь и в аду будешь гореть...

Егор, Анисим Иванович, сам Тихонович слушали этот неожиданный разговор, чувствуя в нем какой-то тайный смысл.

— Да, ты — как никто сообразительная... Так вот я и говорю,— продолжал Василий прежним тоном, пропустив мимо ушей мрачное предсказание,— и про маслице сообразила, и ружьецо догадалась припрятать... А надо бы его хозяину отдать, Варвара Семеновна...

Гостья решительно вскинула голову:

— Вот ты куда?! Не получит! Пришел с войны живой — и слава богу! Хватит стрелять друг в друга. Сколько людей поубивали, покалечили. Хватит! Ленин-то что говорит? Мир!

— С кем мир, Варвара Семеновна? — спросил Петр.

— Хватит... Хватит...— стояла на своем Варвара Семеновна, не вдумываясь в слова Петра.— Нажаловался? — спросила мужа.

— Это мы стороной узнали...— стал успокаивать ее Петр.— Стороной, Варвара Семеновна...

Неизвестно, чем бы кончился спор, но послышался шум подъезжавшей телеги. Не иначе, как Алена возвращалась из села с бюллетенем.

Василий быстро вышел на крыльцо, остальные подошли к окну.

Что же это?

Алена сидела, уныло согнувшись, вожжи — брошены, лошадь брела сама по себе. Платок у Алены небрежно повязан, будто совсем не до того. Из домов выходили женщины, выбегали ребятишки, осторожно спустился с крыльца дед с палкой. Переглядывались тревожно, но спросить Алену боялись. Стягивались к волисполкому медленно, чуя беду.

У Василия обострились черты лица. Но и только: ни тени растерянности, ни страха никто и никогда не

обнаружит на нем, как бы придирчиво ни искал! Никто и никогда...

Соскочив с телеги, Алена передала листок Василию. Тот покорно взял, хватанул глазами по тексту, еще раз — и облегченно вздохнул. Потом уставился на Алену, хотел в сердцах сказать ей что-то крепкое, но раздумал. Возвращая, попросил:

— Читай...

Алена стала читать вслух:

— «Состояние здоровья товарища Владимира Ильича Ульянова (Ленина). Официальный бюллетень номер два. Тридцать первого августа тысяча девятьсот восемнадцатого года, девять часов утра».

— Не тяни ты!..— проговорил кто-то из задних рядов.

— «Температура,— продолжала Алена,— тридцать шесть три десятых... Ночь спал с перерывами... Общее положение серьезное».

Все стояли молча, скованные тяжелыми раздумьями.

— Какое? — не поверил кто-то.

— Серьезное,— повторили ему.

И снова тишина.

— Господи! — вздохнула пожилая женщина и перекрестилась.

Василий кивнул, отзывая Алену в сторону.

— Убить тебя мало,— тихо, с напором и зло сказал он ей.— Повесить тебя мало!

— Василий Леонтьевич...— ахнула Алена, ничего не понимая.

— Ведь не совсем же дура, не какая-нибудь контра, а беды наделала на всю волость! Ты с какой физиономией тащилась через пять деревень?! Что люди подумали, глядя на тебя, на твою кислую рожу? — И, как приговор, закончил: — Книжки-журналы читает, в интеллигенцию лезет, а соображения только на то, чтобы свиней пасти, и то не хватит!

Алена закрыла глаза рукой: закричать бы в голос, да не одна!... Все время по дороге в село у нее от страха ныло сердце, а когда подъезжала к почте — совсем обрывалось... На ступеньках так зашлось, что в глазах потемнело. Ехала обратно с твердым решением отказаться от этих поездок: пусть какое угодно поручение, только не это! Не хватит у нее ни сил, ни нервов.

Она проскользнула в коридор, где никого не было, и, бледная, обессиленная, прислонилась к стене.

Народ у волисполкома не расходился.

— «Положение серьезное...» Господи! Господи!

— Пока до нас весть дойдет, семь раз помереть может...

— Все под богом... Спаси и помилуй!

А в деревню между тем уже входила Фенька.

Ее появление, не частое, но регулярное, было сродни небольшому представлению и неизменно сопровождалось собачьим лаем, криком ребятишек, шумом. Пять рваных юбок выглядывали одна из-под другой. С полдюжины палок она держала под мышкой. Нищенский мешок болтался сзади. Рвань юбок, палки, агрессивность Феньки неизбежно возбуждали в собаках законную злобу.

Так и сейчас. Три собаки бросились к Феньке. Заслышав их лай, его поддержали другие псы даже в самом дальнем конце деревни. К Феньке уже бежала четвертая собака. И пошло...

Фенька, как всегда, начала отчаянно ругаться, швыряя в собак палки:

— Тьфу, тьфу, ироды проклятые! Чтоб вы все сдохли, окаянные! Чтоб у вас длинные языки отсохли! Тьфу, тьфу, сгиньте!

Хозяева стали отзывать Жучек, Бобиков, Шариков, и это, в конце концов, удалось бы, если бы сама Фенька хоть немного помогла хозяевам. Но она продолжала размахивать палкой, последней оставшейся у нее, и громко кричать:

— Тьфу, тьфу, проклятые!

Наконец с большим трудом собак утихомирили, Фенька двинулась дальше, но тут к ней привязались ребятишки:

— Фенька! Фенька! Фенька идет!

Фенька напустилась на ребят. Побежала за ними, осыпая бранью:

— Окаянные! Шелудивое семя! Пропади вы пропадом!

Матери и отцы стали утихомиривать сыновей.

Сердобольная Петровна в черном платке повела Феньку к себе.

— Пойдем, Фень, пойдем... Издалека?

— От самой Дубровки...

— У-у! — посочувствовала Петровна.— Голодная небось.

Фенька ничего не ответила, сняла суму, села на приступки. Хорошо вот так посидеть, отдохнуть.

Немало лет было этой женщине. Когда-то очень давно она отбилась от табора и с тех пор никогда уж больше не искала возврата к нему. Цыгане и цыганки из других таборов не раз сманивали ее к себе, но Фенька не поддавалась уговорам. И соплеменники мстили ей, другой раз обирая — нищую! — до нитки... Бродила из деревни в деревню, из села в село, не имея постоянного пристанища и в то же время зная, что никто в округе не откажет ей в ночлеге, не говоря уж о куске хлеба. Люди добры! Что-то она приобрела, променяв скитальческую таборную жизнь на скитальческую жизнь нищенки? Наверное, веру в людскую доброту...

Петровна открыла дверь в сенцы. Здесь, заняв добрую половину, стоял рояль. Великолепный инструмент блестел черным лаком. А вокруг висело и стояло совсем другое: хомут, глиняные кувшины для молока, вожжи, веники для бани.

Петровна приподняла тонкую и тяжелую крышку рояля, достала миску с творогом. Стояли «внутрях» инструмента еще тарелки с чем-то, кружка...

— Ну-ка, подкрепись... — Петровна, захватив с полки ложку, подала творог Феньке.

Та приняла подношение как должное и, перекрестившись, стала есть. Петровна подсела рядом:

— Что ж там нового, в Дубровке?

Фенька только махнула рукой: и не говори, мол!

А на приступки уже подсаживался хозяин дома. Молодка с коромыслом на плече, завидев Феньку, свернула с крыльца. Старик из дома напротив тоже сел послушать новости.

Когда народ собрался, Фенька перекрестилась и многозначительно кивнула головой: вот, мол, как!

Все озадаченно переглянулись, доискиваясь смысла Фенькиных знаков. Известно было, что Фенька часто изъяснялась туманными намеками, а то и с помощью одних жестов и мимики, хотя по-русски говорила неплохо, как и все цыгане.

Собравшиеся молчали в нетерпеливом ожидании. Фенька продолжала есть.

— Ты о чем это, Феня? — наконец осторожно спросила молодка.

— О том... О чем же?

— Фень, ты уж как-нибудь поясней...— попросила Петровна.

— На сем свете мы в гостях гостим,— проговорила Фенька, доедая творог. Оглядела всех и сжалилась: — Преставился... А в газетках пишут — жив, чтобы всемирного потопа не было. Чтобы не загремело снизу доверху и шуму великого не понаделало...

Подавленные, растерянные слушатели, боясь смотреть друг другу в глаза, не сразу заметили, как подошли Василий и Петр.

— Ты о ком это?! — наливаясь яростью, спросил Василий.— О ком?

— Поезжай хоть куда, везде доля одна,— спокойно ответила Фенька.

— Ты мне загадки не загадывай! — закричал Василий.— Ты о ком здесь контрреволюцию распускаешь?!

— Кричит,— совершенно спокойно заметила Фенька, обращаясь к старику.— А я его вот таким еще помню...— И показала: от горшка два вершка.

Василий схватился за револьвер:

— Я тебя сейчас при всем народе расстреляю за вражескую пропаганду! Выходи, старая ведьма! — В ярости взметнул руку с револьвером к небу и дал выстрел.

Это было крайне неразумно и неосмотрительно. Нищие, убогие издавна находились под явной и строгой защитой неписаных законов народной жизни. Однажды уже обиженных нельзя было обижать, не накликая на себя законного гнева земляков.

— Ты что же это? — вскинулась Петровна.— Ты бандитов расстреливай, Советская власть! Воров в тюрьму сажай! А ее-то за что?

Горячо возмущались и остальные Фенькины слушатели, стараясь перекричать друг друга. Напрасно Петр пытался утихомирить их:

— Погодите вы! Ну, погорячился наш председатель, не так сказал! Кричать-то зачем?! Петровна!.. Дед Андрей!..

Под возмущенный шум, приподнимавший ее в собственных глазах, оскорбленная Фенька встала, гордо накинула на плечи почти пустую суму, учтиво поклонилась хозяйке, потом остальным. В сознании своей правоты молча двинулась вдоль по дороге.

— Вот! — с укором сказала Петровна Василию.— Обидел человека, а ежели она правду говорит?

— Не может того быть! — отрезал Василий.

Все хотели одного... Но ведь люди смертны, и думы снова вернулись к тому, что не оставляло людей в эти дни тревог: что там в Москве?.. Жив или?..

— Не может этого быть! — повторил Василий, прежде всего убеждая самого себя.

— Все мы люди...— возразила Петровна и показала глазами на небо: мол, под богом ходим.

— Вот что,— решительно сказал Василий.— Я сегодня же пошлю в Москву запрос и положу конец этим провокациям. Идем, Петра...

В горнице у Василия за столом собрались сам хозяин, Петр, Алена. Председатель диктовал, Алена записывала.

— Мировому вождю всемирной пролетарской революции, вождю рабочих всех стран и народов, который является верным другом и беднейшего крестьянства...

— Не успеваю... Погоди...— попросила Алена.

Петр сидел как бы безучастный к происходящему. Текст ему явно не нравился своей выспренностью, но Петр, как всегда, выжидал: пусть Василий выговорится. Спокойно осматривал знакомую обстановку: портрет Карла Маркса на стене. Какая-то картинка из журнала. Пучки сухих, давно увядших цветов.

Вдоль стен — скамейки самой простой выделки, табуретка, и вдруг — ломберный столик красного дерева на затейливо выгнутых и блестевших лаком ножках. На столике, на зеленом сукне — единственное богатство: старый самовар с помятыми боками и множеством оттиснутых на них медалей.

— ...Который, значит, является,— повторил Василий,— и верным другом беднейшего крестьянства... Так,— продолжал он,—...беднейшего крестьянства. Теперь надо вот о чем.

Василий задумался: сочинить запрос — дело нелегкое, это не дрова колоть. Да и не очень-то он грамотен. В школу ходил всего три зимы, ученой премудрости приобрел немного, зато на фронте сначала понахватался, а потом и познал самую высокую политику, какая и не снилась, казалось ему, многим.

— Теперь, значит, надо...— соображал Василий, но мысль его вдруг перескочила на то, что так взволновало раньше: — Вот ведь ненасытный человек! Корову ей дали? Дали! Дров привезли? Привезли! Все мало! Кулацкое нутро! Завидущие глаза! Не считая того, что мы ей выделили, — сама из помещичьей усадьбы рояль хватанула, как последняя воровка... А на что ей рояль? На что?!

Василий вдруг замолчал. Взгляд его остановился на ломберном столике. Председатель словно впервые видел его и, недоумевая, вспоминал: «Откуда взялся?.. Почему здесь?.. Откуда?..»

Он решительно встал, подошел к столику и, переставив самовар, обеими руками схватил хрупкое сооружение.

— Говорил я тебе! — с упреком сказал Василий кому-то в сторону.

Из кухни выглянула перепуганная жена. Но Василий уже просунул столик в дверь, потащил его дальше.

— Вась, куда ты? — всполошилась она.

— Говорил я тебе! — дверь в сенцы захлопнулась.

Жена бросилась вслед за мужем, а Петр и Алена невольно посмотрели в окно.

Видно было, как хозяйка, спасая добро, уцепилась за столик, а Василий все-таки сумел размахнуться и с такой силой хватить его о дорогу, что тот с хрустом разлетелся на куски.

Петр повел головой: можно, мол, и так... Спокойно сказал Алене:

— Пиши: «Дорогой Владимир Ильич! Крестьяне и крестьянки деревни Спасское с замиранием сердца следят за тем, как вы боретесь с болезнью...»

А в небольшой комнате на третьем этаже бывшего здания Судебных установлений действительно шла борьба. Ленин и смерть... 30 августа, истекая кровью, он сам поднялся по лестнице на третий этаж, не дав

нести себя, величайшим несчастьем считая безысходнейшую необходимость утруждать других, чувствовать себя слабым. Боль была мучительной, но за все эти дни неоднократных перевязок, прощупываний застрявших в теле пуль и других процедур вел он себя стоически.

Сознание работало почти безотказно. Но силам, которые поддерживали, питали его, был определен четко ощущаемый предел.

Доктор Мамонов вначале считал ранение безусловно смертельным, и он же, удивляясь стойкости Ленина, впоследствии сказал Бонч-Бруевичу, что тем не менее опасность миновала.

«А вдруг да не миновала?» — невольно думали все, кто видел лежащего на постели Владимира Ильича, лицо которого осунулось.

Письмо спасовцев Ленину было закончено, продукты уложены в посылку, оставалось малое: сдать на почту. Петр пришел в конюшню бывшего поместья Семичевых запрячь Мальчика. Сами хозяева были выселены из двухэтажного дома во флигель, выкрашенный в красный цвет. Вход в дом перекрестили двумя длинными тесинами, закрыв туда доступ любителям чужого добра уже после того, как часть его успели растащить. Что делать с домом, пока не знали...

Петр, как только появился на усадьбе, заметил, что на него поглядывали из окна флигеля. Вот, мол, хозяйничает на чужом дворе!

На усадьбе совсем некстати появилась Алена.

Помогая запрягать Мальчика, как бы невзначай спросила:

— Может, Василий один съездит на почту? Зачем обязательно двоим?

— Вдвоем веселее... Лучше вдвоем...— отговаривался Петр, чувствуя, что Алена встревожена и что словами ее не успокоить.

Вчера вечером на знаменитом повороте неизвестные напали на мужика из дальней деревни, везшего к себе огромнейший сундук. Сундук был пустой, но грабители не знали того и чуть не убили хозяина. Как же отпустить Василия одного?

Алена, как и все в округе, не могла не слышать об

этом происшествии. Знала, что возвращаться Петр с Василием будут поздно... Хотя бы выехали спозаранку! И еще страшило Алену то, что решительность и непреклонность председателя нередко обходились дорого не только ему самому, но и другим. И чаще всего мягкому, уступчивому Петру.

— Что же, поезжай, Петя,— смирилась Алена.— Только об одном прошу: несдержанный он, наш председатель. Построже с ним надо. Покруче!..

Петр как можно ласковее улыбнулся Алене. Ей захотелось еще раз обнять и поцеловать мужа, но в окне флигеля мелькнуло чье-то лицо: еще увидят!

Мысль о том, что ящик, куда был бережно упакован ароматный мед, копченый окорок, сало, сушеные грибы, масло и варенье, через несколько дней окажется у Ленина, а «запрос» сегодня же будет прочтен ему, радовала Василия и делала Москву, Кремль, Ленина еще роднее и ближе. Постучит Иван Тимофеевич минут пять своим ключом, и — подумать только! — слова привета и поддержки от спасовцев, живущих чуть ли не в глухом лесу, станут известны Владимиру Ильичу! Невероятно, но так. А потом подойдет и посылка... Что ни говори, как там ни старайся, а меда и сала такой целительной силы в Москве не найдешь!

— Вот увидишь,— уверял Василий Петра,— спросит Владимир Ильич: а где такая деревня Спасская находится? Принесут ему сейчас же карту и покажут: вот где, мол!

— Нашей деревни, Василий, ни на одной карте нет. Может, на какой штабной только...

— И у Ленина такой карты нет?

— И у Ленина.

— У Ленина — такая карта, что и наша деревня есть! — решительно заявил Василий, словно знал Владимира Ильича несравнимо лучше Петра.— Есть у него такая карта!

Спорить было совершенно бессмысленно, и спор к тому же мог испортить их приподнятое настроение.

Некоторое время ехали молча. Пройдет несколько минут, и неизбежно наступит момент, когда их слова загудят в проводах, тянущихся до самой Москвы.

До почты доехали благополучно, однако она была

закрыта. Не успели привязать Мальчика к коновязи, как увидели Ивана Тимофеевича: с дороги сворачивал к почте. Был он уставший, чем-то озабоченный.

— Принимай гостей, Иван Тимофеевич! — крикнул Василий.

— Всегда рад. Здравствуйте, — как-то сдержанно ответил телеграфист, кланяясь Василию и Петру.

Открыл почту, пропустил посетителей вперед.

— Перекрестись, Иван Тимофеевич, и отбей-ка, брат, этот запрос в самое Москву! — Василий подал телеграфисту вчетверо сложенный листок бумаги.— Самому Ленину!

Иван Тимофеевич прочел бумагу, погладил рукой жидкую бородку и, сдвинув старенькие очки на лоб, заметил:

— Написано сердечно и просто...

— Ну?! — не понял Василий.

— А отбить не могу. Аппарат не работает.

И Василий и Петр посмотрели на «Морзе». Он стоял такой же солидный, надежный, как и раньше, но сейчас какой-то притихший.

— Гайка сломалась? — не без иронии и упрека спросил Василий.

Иван Тимофеевич хотел возразить, но только и сказал, повторяя интонацию Василия:

— Да, гайка сломалась.

— А как же?.. — Василий указал глазами на «запрос».

— Не вы одни,— Иван Тимофеевич кивнул на письма и телеграммы, лежавшие на столе.

Василий взял в руку одну, прочел:

— «Дорогой Владимир Ильич! Разделяем вашу боль и горе! Пусть враги помнят, что жизнь героя отнять можно, а идеи нельзя...»

Взял другую:

— «Мировому вождю товарищу Ленину...»

Третью:

— «Ленину. Крестьяне села Верхняя Троица шлют вам...»

А Иван Тимофеевич молча уже собирался в путь: запрос и другие бумаги — в самый надежный внутренний карман. Посылки — в брезентовый мешок. На двух ящиках — «Ленину»...

В жилой комнате снял со стены ружье. Остановился возле дочки.

— Ну, Таня... Тетка Настасья к тебе придет... Слушайся ее... — обнял н поцеловал.

Петр, наблюдавший за Иваном Тимофеевичем из служебной комнаты, подошел к нему:

— Постой-ка, дядя Ваия. Гайка-то здесь ни при чем?

Иван Тимофеевич помолчал н спокойно ответил:

— Сейчас ходил на большак... Семь столбов повалено... Хотят отрезать нас от мира и творить свое...

— Оин! — вскинулся Василий. Вспомнив кровные обиды, ои уже не мог стоять на месте. Зашагал, хромая сильнее обычного, грознл:— Попомнят нас! Гады! Такие н в самого Леиина стреляли! Поехали! Сейчас мы с вамн посчнтаемся!

— Подожди! — крнкнул Петр. — Не надо Иваиу Тимофеевнчу везти почту сейчас. Мы соберем народ и лииию восстановнм... Иван Тимофеевич отобьет телеграммы, а потом повезет письма и посылкн...

— Хорошо, Петра,— одобрил Василий.— Хорошо! Пойдем собирать народ! — он двннулся к выходу.

— Постой! — задержал Петр Василня.— И ехать надо на большак, дождавшись наших с ружьями и револьверами... Завтра с утра... Сегодня не успеем...

— Дадим, конечно, знать, а ждать не будем! — легко, не задумавшись даже, решил Василнй.— Некогда!

— Погоди, Василий,— стал вразумлять Петр товарища.— Там может быть всякое... А мы людей вооружили, организовали... Зачем?

Чувствуя свое превосходство, председатель улыбнулся, сунул пальцы за пояс:

— Вот ты вечно так, ученый человек,— подождать, посмотреть... Тут соломки подложить, там песочку подсыпать...

Всегда при нажиме председателя Петр начинал чувствовать себя неловко, сам себе казался робковатым, нерешительным, и от угнетающего сознания своей второсортностн переминался с ногн на ногу... Он и сейчас почувствовал это противное состояиие, однако, памятуя совсем ие зряшные предупреждения Алены, не сдавался:

— Что ж там может быть, на большаке?

— Уж не испугался ли ты, партийная власть? — запальчиво бросил Василий.— А? Кого? — Он помедлил немного и снисходительно-насмешливо согласился, махнув рукой: — Ладно, созывай наших, созывай со всех деревень, со всего уезда, со всей губернии!..

По большаку, узкой лесной дороге, почти напрямую проложенной от села к старинному уездному городу, медленно двигалось пять телег. На первой — Василий и Петр, на остальных — крестьяне с пилами, лопатами, топорами, веревками... Кое у кого ружья...

Замыкали процессию всадники. Все были здесь — Анисим Иванович, Егор, даже Тихонович, получивший наконец разрешение у жены взять ружье. Двое неспасских примкнули к ним. Три ружья, три револьвера.

Петр посматривал на телеграфные столбы и провода. Пока, слава богу, тянутся целенькие. Но вон где-то там, неподалеку... Вот!

Повисший провод и поваленный столб... А там дальше — еще один... Еще...

Подводы остановились. Люди взялись за топоры и лопаты. За ружья. Петр медленно и внимательно огляделся: если повалены столбы, то здесь могут быть и те, кто их валил... Вроде засады, или просто засада... Не проморгать бы!..

А на почте Иван Тимофеевич тщетно пробовал занять себя каким-нибудь делом — пришить пуговицу к платью дочери, починить куклу — и все прислушивался: когда стукнет ключ и отрезанное от мира село снова включится в общую жизнь. Но аппарат был мертв...

То и дело хлопала дверь, кто-то входил, выходил... Пришла и аккуратно одетая немолодая учительница.

Иван Тимофеевич взглянул на нее поверх очков, а та уже протягивала телеграфисту небольшой листок:

— Отправьте, Иван Тимофеевич, и от прилепских крестьян...

Но телеграфный аппарат молчал по-прежнему. Рядом с ним лежал запрос: «Москва, Совнарком, Ленину. Дорогой Владимир Ильич!»

Лежала стопка других посланий...

На большаке одни копали ямы, другие под присмотром кузнеца Викулова проволокой прикручивали сосновые стволы к опиленным столбам, таким образом удлиняя их... Третьи, привязав к верхушке столба веревку, поднимали его. «Раз-два! Взяли! Еще раз! Взяли!»

Быть может, никогда не было у Василия такого одухотворенного лица. Он суетился, перебегал, отставляя ногу в сторону, от одной группы крестьян к другой, брал на себя самую тяжелую работу.

Подбежав к землякам, которые поднимали столб, ухватился за веревку, стал помогать ставить его в приготовленную глубокую яму:

— Взяли! Еще раз! Еще! Хорошо, люди! Хорошо! Закапывай, браток,— это относилось к крестьянину, взявшему лопату.— Давай следующий! — Это ко всем, кто поднимал столб.

Он пошел дальше и на ходу, разгоряченный, говорил:

— Вот так, люди, будем работать при социализме! Все за одного, один за всех! Что, Петра? (Петр шел навстречу с лопатой, чем-то озабоченный.) И ты повеселел, умственный человек? А? Или все думаешь?

— Думаю,— ответил Петр.— Я там троих с ружьецами поставил...— и кивнул в сторону.

— Зря людей от дела отрываешь...— пожурил председатель.— Но уж пусть по-твоему...

Но Петр действовал не зря; он знал: если углубиться в лес, пройти группку дубов, в небольшой березовой рощице можно увидеть двоих — один был тогда на почте, другой повстречался спасовцам ночью на дороге... Стоят, смотрят в раздумье и досаде, как восстанавливают линию...

Работа шла споро. Василий командовал с удовольствием, чувствуя себя на поле боя:

— Левый фланг! Не спеши, не вырывайся вперед! А вы там, на правом, половчее и полегче! Полегче! Так! Так! Теперь дружно взяли! Р-раз!

Столб рванули вверх, провод поднялся с земли, но столб вдруг покосился и чуть не рухнул.

— Держите! Держите! — закричал Василий и, прихрамывая, побежал на помощь.

Столб удержали, снова начали поднимать, и на этот раз конец его удачно соскользнул в узкую яму,

глухо стукнув о твердую глину. Часто дыша, Василий осмотрелся: еще полчаса-час усилий, и загудят провода до самой Москвы! До Ленина!

Но что это? Вдали показалась телега... И на ней — двое. Не те ли самые?! Но уж если они!..

Василий выбежал на середину дороги.

А двое — уж точно: не они ли? — заметив председателя, стали поворачивать назад, да так дернули вожжи, что бедная лошадь чуть не выскочила из оглобель.

— Они! — крикнул Василий и вскочил на коня.— Давай! Давай за ними!

Но и без его призыва четверо мужиков уже были на конях, мчали за Василием.

— Стой! Стой! — размахивая револьвером, кричал председатель людям на телеге, нещадно подгоняя лошадь ударами сапога в бок и нескладно отставив другую ногу.

На телеге пустили в ход кнут.

— Стой!

Расстояние между всадниками и телегой заметно сокращалось... Вскоре они нагнали телегу, соскочили с коней.

Нет, это совсем не те мужики, но почему-то они сразу попритихли, смотрели хмуро, настороженно... И чувствовали себя явно виноватыми.

Пристально вглядываясь, Василий шагнул к ним. На телеге что-то было прикрыто толстым слоем соломы. Василий рукой смахнул ее. Под нею оказался самогонный аппарат, змеевик сразу выдавал его.

— Помню, помню,— сказал Василий.— Прилепские самогонщики?.. Ну вот что,— решил он,— марш столбы ставить, а с этим потом разберемся. Марш!

Мужики не спеша, но покорно слезли с телеги, пошли, оглядываясь на Василия: не станет ли этот известный своей отчаянной решительностью председатель крушить их деликатное и дорогое сооружение? Но Василий и не думал крушить. Пошарил в соломе: нет ли, случаем, обреза? — и, взяв за узду коня, пошел к своим.

— В нашем полку прибыло,— с улыбкой встретил их Петр.

А на почте Иваи Тимофеевич, качая иа коленях дочку, не отходил от аппарата. «Могли бы уже и поднять столбы... Или, не дай бог, случилось что?» Забываясь, не веря себе, брался за ключ и пробовал стучать. Но связи не было...

Подходили люди, приносили письма и телеграммы все с тем же адресом, спрашивали о новостях из Москвы и, узнав о диверсии, шли иа большак с лопатой или топором.

Василий, завидев первую такую группу крестьян, хотел организовать митинг и произнести речь. Петр отговорил его:

— Там Ленин раненый,— он показал в сторону, куда тянулись провода,— мы пробиваемся к нему, спешим, а ты — митинг!..

— Да, да,— согласился Василий. Жалко, но ничего не поделаешь.

— Артель сейчас не потянем, а кредитное товарищество по плечу...— сказал задумчиво Петр, кивнув иа работающих.

— Что?..— не сразу понял Василий и тоже посмотрел на работающих.

Эти совестливые мужики и бабы, их отцы и деды по требованию сотских и десятских и раиьше не раз исправио выходили ремонтировать дорогу или мост: надо! Но разве можно сравнить это «иадо» с тем, как работали люди сейчас, пробиваясь к Ленину?

Василий толком не зиал, что такое артель и что такое кредитное товарищество, что именно Ленин говорил о иих. Но то, на что оказались способны сегодня эти люди, было так ново по своему характеру, так объединяло их, что стало ясно: и горы можно сдвинуть, если вот так навалиться...

Мужики, которые часто, бывало, ругались из-за того, что чья-то скотина забрела на огород соседа, дружно и сноровисто тащили из леса стволы мачтовых сосен. Кузиец Викулов, известный буйным нравом во хмелю, вот уже какой час, не разгибаясь, прикручивал толстой проволокой надставки к спиленным столбам. Старые и молодые копали ямы. Эта сила в одии день, казалось, могла провести телеграфиую линию не только от одной деревни до другой, но и до самой Москвы.

«Петра прав... Петра прав...» — думал Василий.

Когда кузнец прикрутил проволокой двухаршинный стояк к последнему столбу, когда последняя яма была вырыта и оставалось только поднять столб и утрамбовать землю, Василию стало жаль, что работа кончилась, что сейчас все разойдутся по своим домам, займутся обычными делами и распадется незримое здание содружества, уважения и человечности... Жаль, что ни завтра, ни послезавтра не увидит он того, что как бы само собой проявилось на большаке сегодня...

— Добро...— похвалил он Петра, но все же он хотел и на этот раз быть над ним: — Как там — твои сторожа не ожирели еще от безделья? А? — В голосе оттенок насмешки: надо же, мол, так бояться?!

— Не ожирели...

— Не снял до сих-то пор?

— Не снял...

— Ну, ну...— снисходительно закончил Василий.

Он забыл о бандитах, считая, что те сделали подлое дело и на том успокоились. А многие из работавших на большаке и вообще не подозревали о какой-либо возможности нападения... И вдруг, когда двое спасовцев ухватились за конец веревки, чтобы поднять столб, треснул выстрел. Эхо подхватило его, понесло по чащам и оврагам...

На большаке всполошились — кто-то из женщин испуганно вскрикнул, лошади заржали, мужики побежали в сторону, откуда донесся выстрел.

— Погодите! — крикнул Василий.— Осторожно!

И пока мужики оглядывались, не понимая, зачем остановил их председатель, тот оказался впереди всех.

Когда они, перемахнув заросшую высокой травой канаву, рванулись через густой кустарник к березнику, Василию вдруг показалось, что он слышит хруст веток под чьими-то шагами...

Василий остановился и вскинул руку, призывая к тишине и вниманию. Все тоже остановились.

Отчетливо слышались шаги: хруст... хруст... хруст... Василий взмахнул рукой: ложись! — и сам первый упал в траву. Все затаились за кустами, напряженно всматриваясь и держа наготове оружие.

— Покажу я чертовой бабе...— послышалось вдруг из леса. Высокий орешник качнулся, и из-за него вышел Тихонович с белкой в руке.

— Тьфу, холера! — вырвалось у Василия.

Все вскочили, а Тихонович от неожиданности растерялся, поднял руки с ружьецом и белкой и попятился, чуть не споткнувшись о кочку с трухлявым пнем.

Мужики засмеялись, только Петр грустно улыбнулся: видно, действительно перестарался он со своими опасениями... Нагнал страху...

Он почувствовал досаду на себя и, чтобы немного успокоиться, зашел в заросли орешника и машинально протянул руку к самому крупному ореху... Медленно сорвал, ветка качнулась, образовав просвет, и в просвете этом, аршинах в пятнадцати от себя, в кустах, Петр на мгновение, но ясно увидел мужиков: того, кто был на почте, и того, кто повстречался тогда на дороге.

Вздрогнув, Петр не сразу раздвинул упругие, прямые ветви орешника: в кустах уже никого не было.

«Они? Не они? Померещилось?»

Но слишком четко видел он заросшее щетиной, круглое лицо человека, который так великолепно мог делать вид, что не слышит, когда не хотел того, слишком отчетливо видел его толстые губы, которым, казалось, лень было произносить лишние слова, и потому он говорил так медленно, мало и потому значительно,— слишком отчетливо разглядел все это, чтобы допустить мысль, что это ему привиделось.

Петр постоял оторопелый и ринулся к своим. Ему казалось ясным и установленным: эти двое, а с ними, может, еще несколько, вышли, чтобы перестрелять тех, кто явится восстанавливать телеграфную линию. Но уж слишком много народу собралось на большаке, чтобы можно было расправиться со всеми — даже побандитски, из засады,— и самим остаться в живых... Они отступились от задуманного, но отступились на время... Отложили до более удобного случая...

На большаке поднимали последний столб. Он висел на проводе, который натягивался все туже и туже с каждым поставленным в яму столбом. И хотя работы осталось всего ничего, несколько человек снова взялись за веревку.

— Раз-два! Взяли! Раз-два! Дружно!

Возбужденный Василий никак не мог понять, о чем это ему говорил раскрасневшийся от быстрого

бега Петр. «Что он все сомневается? Сколько можно!..»

— Какие двое? Где?

— Давай отрядим людей, пока не ушли... Василий! — торопил Петр. От частого дыхания слова вылетали невнятными.— Быстрей!

— А ты их видел или тебе приснилось? А? — охладил председатель товарища.

— Видел... Как будто...

— «Как будто!» Так видел или нет?

— Мелькнули...— ответил Петр.

— Ах, Петра, Петра! Умственный ты человек, только чересчур уж умственный!

Петр вытер пот со лба, поправил растрепавшиеся волосы... А решения не находилось. «Поднимешь всех по тревоге, а там опять какие-нибудь самогонщики окажутся... Смех!» А второй голос не давал успокоиться: «Ты же их видел! Почему медлишь? Уйдут!» «А если в самом деле померещилось?»

Конец столба наконец соскользнул в яму, другой — с изоляторами — быстро взметнулся вверх, взблеснув ими на солнце.

— Ур-ра! — закричали на большаке.— Ур-ра!

Телеграмма спасовцев прибыла в Кремль поздно вечером. В бывшем здании Судебных установлений, в окнах Совнаркома, на третьем этаже горел свет. Темны были лишь два окна кабинета Ленина... Сюда иногда заглядывали Свердлов, Бонч-Бруевич, секретарь, другие... Заходили по делам: что-нибудь найти в бумагах Владимира Ильича — и невольно останавливались, увидев кресло с плетеным сиденьем пустым... Всегда, когда они заходили раньше,— утром, днем, вечером, ночью — всегда Ленин сидел за столом. Казалось, вот так и будет изо дня в день, из года в год...

Сейчас он лежал у себя в комнате в нескольких метрах отсюда, а представлялось — был где-то очень далеко: так просто не войдешь, не взглянешь на знакомое и, говорят, за эти дни очень осунувшееся лицо...

Телеграммы, письма поступали беспрерывно. Являлись различные делегации и депутации с непременным желанием узнать о положении Ленина больше и по-

дробнее, чем сообщалось в газетах. Требовали кого-либо из ответственных работников Управления дела-ми, а то непременно и самого Бонч-Бруевича, спрашивали с пристрастием, строго следя за выражением лица, мельчайшими оттенками поведения.

Все имело значение. Боялись, что могут что-нибудь утаить, сказать не так, смягчить... Да мало ли!..

Давно уже не высыпавшийся Бонч-Бруевич, у которого голова гудела от перенапряжения, телеграмму спасовцев сначала лишь пробежал глазами, потом прочел:

— «Дорогой Владимир Ильич! Крестьяне и крестьянки деревни Спасское с замиранием сердца следят за тем, как вы боретесь с болезнью. Верьте, Владимир Ильич, что ваши раны — наши раны, ваша боль — наша боль. Враги распускают подлые слухи, но мы знаем, что нас уже не поколебать, не сбить с пути, проторенного Вами. Поправляйтесь, дорогой Владимир Ильич! Одновременно посылаем кое-что из деревенских продуктов. Пусть товарищи сообщат о Вашем здоровье».

Далее шел адрес.

Прочел и заметил сотруднику:

— Великолепно!

Но что делать? На письма и телеграммы с запросами о здоровье не успевали отвечать. Все хотели видеть, слышать Ленина, знать, что он жив. Сибирь, Украина, Поволжье, Белоруссия, Урал...

— Когда поправится,— сказал сотрудник,— Владимир Ильич, видимо, выступит перед рабочими...

— Несомненно... Но когда это станет возможным? А митингов должны быть сотни... Выступит в Москве, Питере, а в деревню Спасскую не доберется, тысячи таких...

Надо было что-то предпринимать...

Подняв трубку зазвонившего телефона, Владимир Дмитриевич почти сразу же насторожился:

— Дорогой товарищ, вы, что же, не верите тому, что пишут газеты? Конечно, жив!.. Я с удовольствием разъясню вам то, что написано в бюллетене, потому что он правильно и объективно отражает положение дел... Конечно же, конечно, жив! «Честное слово»? — Пожалуйста, даю вам честное слово, что говорю правду...

В эти дни частенько звонили в Управление делами, не довольствуясь сообщениями газет. Но обычно хотели знать подробности, не ухудшилось ли состояние здоровья за последние часы, спрашивали, не нужна ли помощь, а сейчас — вон куда?!

Мало ли какие слухи могли рождаться среди неосведомленных людей!

Но вот это казалось совсем непостижимым...

Владимир Дмитриевич шел к себе обедать, когда его, неподалеку от Троицких ворот, повстречал старичок в шляпе, заведующий Грановитой палатой. Чем-то удрученный, он не сказал, как обычно, «Добрый день, Владимир Дмитриевич!», не кивнул даже, а как-то слабо пошевелил пальцами, очевидно, прося остановиться.

Бонч-Бруевич остановился, всматриваясь в лицо человека, которого видел чуть ли не каждый день. Старичок, тоже не спуская взгляда с Владимира Дмитриевича, подошел поближе, помолчал, собираясь с духом, и спросил, с большим трудом выталкивая из себя слова:

— Скажите, когда скончался Владимир Ильич?

И это спрашивал житель Кремля, у которого на виду — здание, где помещалась квартира Ленина!

— Мне нужно это знать,— продолжал старичок, оправдывая свой вопрос. Заведующий был уверен, что если он не предъявит веских оснований, правду ему не скажет даже милейший Владимир Дмитриевич.— Я очень уважал его... Я верующий и буду молиться за его бессмертную душу... Когда? — прошептал он еле слышно.

Похоже, что он действительно шел в один из соборов Кремля...

— Владимир Ильич жив, и силы его с каждым днем прибывают...— ответил Бонч-Бруевич.— Если вы хотите молиться, то молитесь за его здравие, а не за упокой...

Владимир Дмитриевич улыбнулся, но старичок не верил ни его улыбке, ни его словам.

— Говорят, что Владимира Ильича ночью вывезли из Кремля и тайком похоронили, а правит всем кучка людей, захватившая власть...

— Какие глупости! — возмутился Бонч-Бруевич.— Преднамеренная злостная ложь! Прошу вас не ве-

рить ии слову врагам советской власти и опровергать эти слухи...

Приятно было слышать Бонч-Бруевича, ближайшего, как считал заведующий, помощника Ленина. С какой энергией и иеподдельиым пафосом опровергал ои страшиую, убийствеииую весть! Но и сейчас старичок ие поверил Владимиру Дмитриевичу: слишком хорошо зиал, сколько дворцовых иитриг было в истории России, сколько закулисных маневров влияли порою иа ее ход, как другой раз вдали от троиа решалась ее многострадальная судьба... Очень хорошо это знал и почти совсем ие зиал характера иовой власти, хотя с Владимиром Ильичем виделся не раз, ие раз был его провожатым по Граиовитой палате, по бесчислеиным залам Оружейной, куда в свободиое время любил ходить Ленин. Владимиром Ильичем, его простотой, благородством, иитересом к истории был очарован...

— Хорошо,— согласился заведующий, зная, что сейчас большего от Владимира Дмитриевича ие добьешься.— Хорошо... Но грех вам будет,— попугал ои его,— если вы ие сказали мне всю истину. Грех!

Погрозил пальцем и пошел, не попрощавшись.

Раздумывая, продолжал свой путь и Владимир Дмитриевич. Если такое возможно в Москве, в самом Кремле, то что же делается в глуши, иа окраинах России?

Он вспоминал о письмах и запросах с мест, вспомнил и о письме спасовцев. «Подлые слухи...» Вот что имеиио имеется в виду!

Никакие разъясиения в газетах не могли помочь делу: мало ли, мол, что пишут? Написать можио все... Надо было показать людям Лениииа. Это было под силу только кинематографу.

Снять выступлеиие Лениа перед трудящимися и леиту показать повсюду!

Боич-Бруевич сейчас же связался с докторами. Когда Владимиру Ильичу разрешат выступить иа митииге? Вопрос показался не только несвоевременным, но и страииоватым: Леиин только-только вырвался из лап смерти...

Ответ был категоричиым и строгим:

— Не раиьше, чем через три месяца.

Оставалось снять Владимира Ильича на прогулке.

Но ясно было, что сниматься Ленин не захочет. Да еще тем более специально позировать для кинооператоров! Даже когда его снимали на конгрессах и съездах, во время работы, и то после делал выговоры: зачем? кому это надо?!

Можно было только пойти на хитрость. Она была оправданной. И Владимир Дмитриевич решился на нее.

Предварительно договорившись с кинооператорами, Бонч-Бруевич напомнил Ленину, что около часа дня ему следует выйти на прогулку. Наступило время, когда Владимир Ильич уже смог гулять... А день был солнечным и теплым...

Человек, на жизнь которого в этом году уже дважды покушались, который, можно сказать, чудом избежал смерти, вышел на двор Кремля в костюме и кепке, взглянул на чистое голубое небо, улыбнулся.

Сейчас он гулял по асфальтовой дорожке, все еще чувствуя неловкость в руке и шее, и радовался, обостренно воспринимая чудо, которого совсем недавно так легко мог лишиться. Свободно ходит! Жив! Октябрь — солнечный, тихий... Тепло — благодатное и, почему-то верилось, стойкое... Он шагает, решительно никого не утруждая своей беспомощностью, которая несколько дней назад еще угнетала его... Шагает легко, без одышки... Пойдет так дело, смотришь — через недельку-другую, по крайней мере, месяц, он сможет работать как раньше: по четырнадцать — шестнадцать часов в сутки...

Какие-то подозрительные личности перебегали из одного укромного места в другое, прятались за углами, в углублениях стен... У них что-то в руках... За плечами... Он их заметил и остался по-прежнему спокойным. Когда «заговор» был раскрыт и стало известно, почему его нужно было снять, он оживился, много смеялся и шутил...

Вскоре небольшая лента «Прогулка Владимира Ильича в Кремле» была смонтирована, и ее начали показывать в рабочих клубах и кинематографах.

Спасовцы, которые сумели к тому времени создать кредитное товарищество, узнали о кинокартине с живым Лениным не сразу: в лесном и глухом их крае стояла уже поздняя осень.

Поредели, стали легче верхи лесов, и через них просвечивало тяжелое серое небо. Лишь кряжистые дубы прочно держали сухую листву, не уступая ее и порывам ветра.

Колеи на дорогах залиты водой, и в колеях — тоже серое небо.

Две подводы тянулись по дороге. На одной — трое, и на другой столько же. Василий, Петр, Алена, Анисим Иванович, Тихонович, Петровна...

Проехали по шаткому мостику, стали подниматься в гору... В сумрачном, сыром воздухе слышно было, как хлюпала и булькала под копытами жидкая грязь, иногда потрескивали под колесами ветки, накиданные каким-то добрым человеком...

Петр, правивший на первой подводе, умело объезжал ямы и колдобины, полные воды: несколько дней с перерывами шли дожди...

Вдруг заднее колесо соскользнуло в выбоину, телега накренилась, а сидевшие в ней еле удержались...

— Но! Но! Но!

Зря понукал, зря дергал вожжи Петр. Как ни надрывалась лошадь — повозка ни с места.

Первым соскочил Петр, помог сойти Алене... Выбрал для нее не такое уж топкое место, сначала попробовав грязь носком сапога... Соскочил и Василий... Мужчины подошли к задку и, ухватившись за него, стали вызволять телегу из колдобины.

— Господи! — вздохнула Петровна.— Это же мы еще Погорелое не проехали!

— Не проехали...— подтвердил Тихонович.

— Стало быть, еще десять верст!

— Хоть двадцать,— спокойно откликнулся Тихонович.— Хоть полсотни...

— Опоздаем! — вздохнул Анисим Иванович.

И не успел он хлестнуть коня — совершенно неожиданно и все в две-три секунды, когда не успеешь и опомниться: приглушенный испугом вскрик Алены, увидевшей у сосны двух мужиков, тех самых; яростное предупреждение Петра: «Василий!»; сухой треск выстрелов; падающий в кусты Петр...

Алена очнулась только тогда, когда, припав к лежащему на боку Петру, не помня, как очутилась возле него, не сразу поняла, что он еще жив: и дышал, и

смотрел на нее виновато и с тоской человека, теряющего последние силы...

Всегда — и днем, и ночью, и когда Петр был рядом, и особенно, когда уезжал,— Алена жила в предчувствии, что с ним рано или поздно должно что-нибуть случиться.

Вот и случилось!..

Василий же, не помня себя от ярости, стрелял куда-то в лес, страшным голосом, приплетая матерщину, кричал, чтобы эти трусы, эти негодяи выходили двое на одного... Никто, конечно, не вышел, а Василий продолжал вызывать их, видно, считая, что не могут же не ответить они на его оскорбления, на его поносные слова...

...Поняв, что бандиты скрылись и вряд ли вернутся, спасовцы погнали лошадей в город, в больницу. Пока устраивали раненого, говорили с врачом, стемнело. Алена осталась с Петром; остальные тоже хотели остаться, но Алена настояла: пусть едут, посмотрят картину и потом им расскажут. А то как же так — зря ехали? Они заторопились к кинематографу, боясь, что кончится и последний сеанс. Но оказалось, что ленту крутили с утра до вечера почти без перерыва: народ все подходил и подходил... И сказали, что будут показывать и ночью — для приехавших из дальних волостей или поздно прослышавших о кино с живым Лениным.

Здание кинематографа стояло на главной площади города. Всего лишь двухэтажное, оно в центре было украшено огромным полукругом, что разительно приподнимало его над другими. На полукруге совсем недавно выделялись всего три буквы: «Арс». Теперь над ними надписали: «Красный».

Площадь перед кинематографом была запружена подводами. Коновязей не хватало, и лошадей привязали к фонарному столбу, к стоякам, державшим щит для рекламы, на котором последние месяцы вывешивали лишь плакаты...

Спасовцы поднялись на второй этаж, двери в зал были распахнуты, в них, вытянув шеи, привстав на цыпочки, стояли в полной тишине люди.

Где-то совсем неподалеку ровно стрекотал аппа-

рат, и над головами сидящих проносился через весь зал призрачный, но сильиый, даже пронзительный голубоватый свет...

На экране улыбался человек в кепке на затылке и в тройке с чуть сморщенной жилеткой. Он ходил по дорожке, что-то говорил товарищу с портфелем под мышкой...

— Живой... Рядом...— выдохнул кто-то в передиих рядах.

Ленин остаиовился и, снова улыбаясь, прищурив глаз, посмотрел в зал на съехавшихся со всех волостей. Кто-то отчаянно-радостно зааплодировал, и за ним — сразу весь зал.

А живой Ленин что-то весело говорил Боич-Бруевичу и с интересом все смотрел в зал, будто вглядываясь в этих людей.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ

Шел первый год революции.

На стене кабинета Леиина в Кремле — огромная карта. Владимир Ильич, подняв голову, долго смотрел иа эту карту. Привычные с детства очертания морей, голубые жилки рек, иавсегда врезавшееся в память расположение малеиьких и больших кружочков городов...

Россия, роди及! Что делают с тобой! Немцы... Белые... Американцы... А здесь англичане... Здесь, здесь, здесь — сплошь враги... Флажки всех цветов попирали карту советской земли.

Леиин почти вплотную подошел к карте и, угрюмый, сосредоточеиный, молча переставил ближе к Москве один флажок, второй, третий...

Потом он отошел от карты, снова посмотрел.

— Устоим?

И обернулся к Свердлову, Дзержинскому, Калииину. Михаил Иваиович погладил бородку, отошел в сторону. Феликс Эдмундович стоял, по-прежиему невозмутимо изучая лииии фронтов. Яков Михайлович — одна рука в кармаие кожанки, другая заложена за ее борт — заметил:

— Не знаю: было ли хуже... Нет, пожалуй...

Ленин покачал головой, соглашаясь, и, глядя на товарищей, сказал:

— А будет еще тяжелей. Месяц, два, два с половиной.— Слова отскакивали одно от другого: «Месяц! Два! Два с половиной!»

Наверное, мысль, что положение может быть еще более отчаянным, приходила в голову не одному Ленину, но обычно вслед за ней, как утешение, невольно являлась и другая, что это, возможно, и не совсем так... Еще все может повернуться... Измениться... Сейчас высказанная с такой прямотой Лениным, она рассеивала какие-либо иллюзии.

Никаких иллюзий!

Все молчали.

— Военные здесь? — спросил наконец Ленин.

— Собираются, Владимир Ильич,— сказал Свердлов и добавил, посмотрев на часы: — Еще есть несколько минут.

— Сейчас начнем. Я буду настаивать на мобилизации всех сил на фронт,— продолжал Ленин.— Мы об этом твердим, произносим длинные, крикливые речи, но делаем далеко не все!

Ленин знал, что по многим причинам — отчасти уже ясным и сейчас — возможность помочь обороне используется не до конца: десятки рабочих, умеющих руководить боевыми операциями, и сотни рядовых остаются в тылу в то время, как фронты трещат, не хватает сил удерживать города, где вспыхивают контрреволюционные мятежи.

Позднее к Ленину приедут питерцы и с ними Чугурин. Чугурин сообщит Владимиру Ильичу, что Питер может дать фронту вдесятеро больше рабочих, чем дает. Вдесятеро! Подумать только! Неужели это так? Хорошо же тогда поставлено дело! Но и как замечательно, что о судьбе страны заботятся не только ЦК и Совнарком, но и преданные делу коммунисты.

Ленин питал слабость к таким людям, как Иван Дмитриевич Чугурин,— самородкам из народа. Старый сормовский рабочий, революционер, ученик партийной школы в Лонжюмо, хороший организатор, он от природы был наделен талантом и той сметкой, какой, пожалуй, отличаются только русские самородки.

Это он, его ученик и товарищ, 3 апреля 1917 года

вручил ему иа Фннляндском вокзале партийный билет.

Иван Дмитриевич Чугурии...

— Конечно же, мы можем дать фронту больше, чем даем,— вернулся к разговору Ленин.— Далее, Яков Мнхайлович...

— Военные комиссариаты,— подсказал Свердлов.

— Военные комиссариаты,— согласился Владимир Ильич.— Что именно делают оии для фронта?

И Леиин быстро пометил у себя в бумагах. Потом вдруг мельком взгляиул на лииии фронтов. Что-то опять привлекло его внимаиие, и он подошел к карте.

— Вот же еще...— обнаружив погрешность, Ленин хладнокровио перенес забытый флажок ближе к Москве.

Все тягостно молчалн.

Калинин, в раздумчивости приблизившнйся к столу Ленниа, что-то увидел на нем и, наклонившись, стал с интересом рассматрнвать. Потом ои взглянул на Ленина. Потом опять иа стол.

На столе лежал словарь, раскрытый на вкладке, изображавшей государственные гербы стран мира.

— Яков Мнхайловнч,— тнхо сказал Калинин,— посмотрите...

Свердлов взглянул иа книгу, удивился и спроснл Ленина, садящегося за стол:

— Гербами интересуетесь, Владимнр Ильич? Геральдикой?

— В иекотором роде — да, Яков Михайлович.

Мысль о гербе, вернее, печати с гербом Советского государства, возиикла давно, еще до переезда правнтельства в Москву, и вызвана была жестокой практической иеобходимостью. Советские учреждения испытывали большие затрудиения в работе: иовых бланков ие было, не было и печатн, да и для подделок докумеитов создавалнсь все условия...

О печати с гербом говорили, спорнлн, однако сейчас оказалось, что Леини имеет в внду собствеино герб, герб иового государства.

Улыбнулся Калнчин, потрогал бородку. Дзержинскнй заметнл:

— Мы — государство. Герб иам необходим.

— Я просил товарищей ускорить работу...— И, по-

молчав, Владимир Ильич добавил: — Какой он все же будет, наш герб?

Но дверь открылась, и вошел секретарь.

— Владимир Ильич,— доложил он,— товарищи собрались.

— Да, да... Просите военных,— сказал Ленин.

В тот день Ленин не пошел обедать домой. Он позвонил Надежде Константиновне в Наркомпрос, Марии Ильиничне в «Правду», чтобы не ждали его с обедом, и домашней работнице, чтобы не брала его порцию из совнаркомовской столовой. А сам отправился туда, захватив с собой знакомого, которого хотел «подкормить».

Быстро шагал по бесконечным коридорам, лестницам и переходам озабоченный Ленин. Он не заметил даже, что еще ни слова не сказал своему спутнику. «Ближайшие недели все решат...» Потом, кончая с этой мыслью, произнес «да!» и стал расспрашивать товарища, как тот живет, как здоровье, как семья...

В темной столовой, рядом с кухней, он сел за некрашеный деревянный стол, вынул из кармана автоматическую ручку и вдвое сложенный лист бумаги.

Не сразу заметив перед собой женщину в косынке, работницу столовой, он поздоровался и попросил:

— Поделите, пожалуйста, мой обед,— и указал на товарища, который сидел рядом.— Сопротивление бесполезно,— предупредил он его.— Сейчас, Иван Васильевич, нам принесут.

А пока разгладил лист бумаги и, напрягая зрение, стал набрасывать обращение к питерским рабочим. Двадцатого мая, сидя на заседании Совнаркома, он уже писал им:

«...Товарищи-рабочие! Помните, что положение революции критическое. Помните, что спасти революцию можете *только вы;* больше некому.

Десятки тысяч отборных, передовых, преданных социализму рабочих, неспособных поддаться на взятку и на хищение, способных создать железную силу против кулаков, спекулянтов, мародеров, взяточников, дезорганизаторов,— вот что необходимо.

Вот что необходимо настоятельно и неотложно.

Вот без чего голод, безработица и гибель револю-

ции неизбежны». Сейчас Ленин снова обращался к питерцам:

«Дорогие товарищи!»

Он успел набросать несколько абзацев до того, как принесли селедочный суп.

Съев его, Ленин снова взялся за ручку:

«Революция в опасности. Спасти ее может только *массовый* поход питерских рабочих. Оружия и денег мы им дадим сколько угодно».

Вечером в тихом переулке на Арбате в окнах небольших старинных особняков едва мерцал свет: горели коптилки, кое-где лампы. Жили просторно, уплотнение, вводившееся Советской властью, еще не коснулось этих домов: одно-два окна освещены, а три-четыре рядом — темные.

В огромном кабинете художника при свете керосиновой лампы тускло отсвечивало золото переплетов дорогих книг, толстых рам темных картин, замысловатых бра... На одной из стен висела карта России с линиями фронтов, отмеченными флажками.

Сам хозяин в шелковом стеганом халате, по всей видимости, работы какой-нибудь трудолюбивой монашки, сидел за столом и листал альбом с марками, когда в кабинет вошла Мария Андреевна, жена художника, и, постояв у двери, спросила:

— Не работается, Никита?

Художник кивнул, полистал альбом и наконец поднялся.

Уже несколько дней раздумывал он о гербе Советской республики. Герб...

В пятнадцатом веке по настоянию жены великого князя Ивана III Софьи Палеолог государственным гербом России стал двуглавый орел, герб Византии. Почти полтысячи лет олицетворял он собою Россию. Его изображение было и на знаменах великого Суворова, и на знаменах русских армий, громивших турецких захватчиков в Болгарии и Молдавии. Но двуглавый орел реял и над карателями, усмирявшими крестьянские восстания, и над войсками, разгонявшими демонстрации рабочих. Он стал символом самодержавия.

Сотни лет складывалась геральдика старых госу-

дарств: орел, корона, скипетр, меч, копье... Каждый атрибут — выражение характера и политики. Но как выразить характер и политику нового, еще не виданного государства? Какая геральдика у рабочих и у крестьян? Станок? Плуг? Что должно быть в рисунке герба? Гвозди?.. Молоток?..

Да и понадобится ли герб вообще? Кто знает — месяц, другой, и, может быть, все будет кончено...

Каждый день подходил художник к карте и переставлял флажки все ближе и ближе к первопрестольной, к Москве...

Мария Андреевна тяжело вздохнула: она понимала состояние мужа.

— Чаю хочешь, Никита? — заботливо спросила она.

Никита Павлович не ответил.

— Мария Андреевна,— послышался из-за двери грубоватый голос домашней работницы.— Крант опять не работает. Воды не будет.

— «Крант не работает»... «Крант не работает»...— с каким-то удовольствием повторил художник.— Испорченный «крант» в герб не вставишь... И заводскую трубу без дыма, и взорванный мост... Луша,— позвал он.

Луша явилась с веником в руке.

— Значит, «крант» не работает, Луша? — спросил художник.

— Да я уж извелась с ним, Никита Павлович! То не открыть, то не закрыть! Как конь с заминкой.

Думая о своем, художник смотрел на Лушу.

Заметив пристальный взгляд хозяина, Луша оглядела себя и, не найдя никаких погрешностей в одежде спросила:

— Чегой-то вы на меня смотрите?

— Вот думаю, Луша, не всадить ли тебя в герб? — и художник поднял руку Луши, в которой она держала веник.— Символическая фигура! Н-да...— и добавил после паузы: — «Крант», значит, не работает...

— Мария Андреевна,— вдруг предложила Луша,— а что, если сходить за этим усатым?

— Каким «усатым»?

— Да вот что чинил у нас посуду? Паял, лудил... Вы еще обещали ему ботиночки отдать... Парнишке его...

— Это ты про Ивана Григорьевича — «усатый»? — рассмеялась Мария Андреевна.— Конечно, конечно! Надо за ним сходить... Только попроси его побыстрей.

Разговор шел о рабочем-токаре Иване Григорьевиче Терентьеве, жившем неподалеку в старом деревянном доме на Плющихе. Он паял у Верстовских посуду, «починял» водопровод, делал крючки для тяжелых картин, занимался и более тонкой работой, укрепляя колесики рояля, ремонтируя замысловатые замочки и ручки к старым шкатулкам красного дерева. Исправлял и налаживал Иван Григорьевич и сложные игрушки немецкой и французской работы, привезенные художником из поездок по Европе. Насколько помнит Никита Павлович, отец Ивана Григорьевича, Григорий Николаевич, тоже был мастером и тоже часто являлся по просьбе его родителей что-нибудь починить, припаять, поправить...

— А вы ботиночки приготовьте,— давала наказ Луша.— А то ведь обидно: работал, работал, а про ботиночки потом и забыли. А у него дети... Человек бедный...

Мария Андреевна всегда улыбалась, когда Луша из самых лучших побуждений входила в роль хозяйки.

— Приготовлю, Луша... Иди, пожалуйста, побыстрее,— поторопила ее Мария Андреевна и вышла вместе с Лушей.

А художник продолжал расхаживать по кабинету.

— «Крант не работает»...— повторял он про себя.— «Крант не работает»... Да-а... «Ботиночки...» «Человек бедный...»

Вскоре Мария Андреевна вернулась с ботинками.

— Вот... Как ты думаешь, прилично давать такие? — спросила она с сомнением.

Никита Павлович мельком взглянул на ботинки и сказал:

— Великолепные штиблеты! Особенно для восемнадцатого года.

Он взял их и поставил на видное место на полу, чтобы не забыть.

На этот раз появление Ивана Григорьевича в доме художника вызвало подлинный переполох.

Никита Павлович, наклонившись над столом, перебирал рисунки гербов разных стран мира, когда в кабинет быстро вошла испуганная, растерянная Мария Андреевна:

— Никита!.. Никита!..

— Что ты? Успокойся... Обыск, что ль? Ну пусть ищут! — безмятежно проговорил художник, привыкший к обычаям революционного времени.

— Иван Григорьевич!..— объявила Мария Андреевна, пораженная чем-то.— Возвращаюсь с улицы и вижу...

Вслед за этим послышался голос самого Ивана Григорьевича Терентьева:

— Мария Андреевна, а пакли у вас не будет? — Иван Григорьевич с испачканными маслом руками, предусмотрительно держа их на весу, показался в дверях.— Здравствуйте, Никита Павлович!

— Здравствуйте...— ответил художник и, взглянув на вошедшего, оторопел. Перед ним стоял военный, перетянутый ремнями, с пистолетом на боку. Правда, новое положение не смогло изменить его неторопливой, если можно так назвать, вдумчивой походки, манеры говорить спокойно и тихо. Большие, свисавшие книзу усы делали его лицо добродушным, каким-то домашним. Из кармана гимнастерки торчала железная расческа.

Иван Григорьевич и вел себя как мастеровой, несмотря на свое разительное превращение.

— Так я говорю,— продолжал он, пока художник и его жена, удивленные, молчали,— насчет пакли. Пакля у вас есть? Краску я захватил, в банке у меня всегда стоит на разный случай. А вот пакли в ящичке не оказалось. Я только с работы, извиняюсь — теперь со службы — пришел, тут Луша... А то бы меня не застали: кручусь целые сутки. Ну вот... Пришла Луша, я за ящичек и к вам.

Иван Григорьевич говорил и все как бы извинялся за то, что так огорошил хороших людей и внес переполох в солидный дом.

Хозяева молчали.

— Так как же насчет пакли, Мария Андреевна? — напомнил Иван Григорьевич.— Ведь я уже там начал...

— Да, да... Сейчас...

Мария Андреевна вышла.

— Как живете, Никита Павлович? — осведомился Терентьев.

— Благодарю вас... Вы кто же теперь будете, Иван Григорьевич?

— Я? Да в некотором роде военком... Военный комиссар, так сказать.

— Так! — воскликнул художник.— Завтра с вами встретимся — а вы уже генерал на белом коне! То есть...— На глаза Никите Павловичу попались ботинки и, устыдившись прежних намерений — так они теперь были смешны,— он ногой подвинул ботинки в сторону, чтобы их не заметил Терентьев.— То есть не генералом: теперь они не в почете, а самым главным красным комиссаром...

— Вряд ли, Никита Павлович, вряд ли...— Терентьев улыбался.

— Ну и как? Трудновато, наверное, приходится?

— Очень трудно, Никита Павлович. Но не плошаем... На днях идем к Ленину,— почтительно проговорил Терентьев.

— К Ленину?

— Докладывать,— бодро продолжал Терентьев,— как мы выполняем его наказы.

Никита Павлович приподнял брови.

— Какие именно?

— Создать Красную Армию, Никита Павлович... По указанию Ленина спешно формируем для фронта новые части. Формируем и вооружаем.

— Ну и как?

— Честно скажу, Никита Павлович: не стыдно идти. Есть о чем доложить,— в голосе Терентьева — гордость.

— К Ленину...— снова, теперь с бо́льшим значением, повторил художник.— К Ленину...

В этот момент и вошла Мария Андреевна, неся в руках клок пакли. Водопроводные краны ремонтировали уже не раз, и в доме образовался запас прокладок, пакли, гаек...

— Вот, Иван Григорьевич...

— Замечательная пакля,— похвалил Терентьев.— Я сейчас, быстренько...

И пока военный комиссар Терентьев починял «крант», взбудораженный художник то шагал из угла

в угол, то подходил к столу и, склонившись над прямоугольниками ватмана, набрасывал на них круги, овалы, фигуры женщин со знаменами... Эпоха была действительно необыкновенной, и таким же должен быть герб!

Исчеркав один ватман, Никита Павлович принимался за другой. Но, вспомнив, что на кухне военком Терентьев чинит ему кран, испытывая какое-то любопытство, шел к нему и смотрел... Водопроводом Иван Григорьевич занимался, наверное, с такой же любовью, как и новыми своими делами.

Когда кран был починен, Никита Павлович пригласил Терентьева в кабинет и, рассказав о поручении и своих затруднениях, попросил:

— Иван Григорьевич! Вы будете у Ленина. Попытайтесь потом передать мне свои впечатления. Как представляются Ленину наши перспективы, чем мы будем жить, в какой атмосфере?.. Понимаете? Настроение!

— Попытаюсь... Впрочем, Никита Павлович...— Терентьев встал.— Неужели мы сами не понимаем? Поверьте мне: я мирный человек, токарь, мастеровой, ненавижу войну, но вот что сейчас главное! — Терентьев со стуком положил на стол свой пистолет.

— Вы считаете? — спросил Никита Павлович.

Иван Григорьевич, осторожно повертев пистолет в руках, сунул его в кобуру.

— Сила и оружие... Сила и оружие...— проговорил Никита Павлович.— Это ведь во все времена... Вот герб города Киева, семнадцатый век...— Художник подал Ивану Григорьевичу рисунок.— Кто там изображен?

— Святой... Ангел...— всмотревшись, ответил Иван Григорьевич.

— Верно: святой, ангел. А в руках?

— Щит и меч...

— Щит и меч! — воскликнул художник.

— Значит, Никита Павлович, и ангел не может без меча... Идти надо,— сказал Иван Григорьевич после паузы.— Дела. До свидания, Никита Павлович.

Повернувшись, Иван Григорьевич задел ногой злополучные ботинки.

И хозяин и гость остановили на них свои взгляды.

— Извините, Иван Григорьевич...— чувствуя не-

ловкость, сказал художник.— Это ведь те самые ботинки... Мы тогда пообещали и забыли... Простите, может быть... годятся сыну и теперь?

Иван Григорьевич смотрел на ботинки и молчал.

— Теперь... Теперь,— тихо проговорил он наконец,— некому их носить... Бежал на фронт и через месяц погиб.

В эту ночь Никита Павлович долго не мог заснуть.

В уютных, овеянных усадебной тишиной улочках и переулках старого Арбата было тихо, но это — обманчивая, ненадежная тишина: где-нибудь неподалеку могли и грабить кого-нибудь и убивать.

В углу под дубовым паркетом мышь торопливо и упорно грызла балку. Никита Павлович подумал, что надо бы пригласить плотника Николая Егоровича осмотреть пол... Но не стал ли теперь Николай Егорович тоже каким-нибудь большим начальником, комиссаром? Впрочем, плотника, кажется, взяли на фронт.

Война касалась всех. В мировую у Никиты Павловича погиб брат офицер... Всегда были войны, и веками лилась кровь. И вот теперь он, Никита Павлович Верстовский, должен герб нового государства подчинить идее меча или пистолета.

Утро принесло с собой облегчение и даже радость.

Солнце!

Как ни мучительна, ни беспросветна ночь — утром всегда встает солнце. Как это много для человека, его свет!

В гербе нового государства должно быть радующее людей изображение солнца с лучами... Внизу! А по бокам — колосья пшеницы: символ жизни и плодородия...

Солнечный, радостный герб Советской республики уже начинал жить во всем существе художника, кажется, настоящий, единственно возможный...

Не присаживаясь, лишь склонившись над столом, Никита Павлович быстро набросал на куске ватмана полукруг солнца с лучами, того самого, которое так первобытно поразило и обрадовало его в это утро, а по обе стороны от него, овалом — колосья пшеницы...

«Вот же основа... Вот!» — говорил он сам себе, все

еще не веря, что он нашел то, что должно отличить герб нового государства от гербов, существовавших столетия.

Но, вспомнив о ночных размышлениях, вспомнив «ангела, который не может без меча», художник погрустнел. «Надо — так надо!»

Резкими, короткими движениями Никита Павлович наметил на листе контуры меча.

Теплым летним днем Иван Григорьевич Терентьев и его ближайший помощник по работе Донцов шли в Кремль.

Небо над Москвой было безоблачным, очень чистым, свежим в своей яркой высокой голубизне, радовавшей глаз. В церквах звонили. Густой медный гул плыл над прихотливо разбросанными невысокими домами, деревьями, множеством пестрых храмов.

Военная выправка так и не пристала к Ивану Григорьевичу, хотя он служил в царской армии, был на фронте. И говорил он по-прежнему без ноток, не дай бог, приказа, спокойно и мягко.

Донцов, намного моложе своего начальника, в армии служил всего полгода, но, глядя на его молодцеватую выправку, на сшитые не без щегольства галифе и гимнастерку, можно было подумать, что он чуть ли не родился в военной форме.

И Иван Григорьевич и Донцов, как ни волновались и ни были озабочены предстоящим разговором, в глубине души считали, что им есть о чем рассказать Ленину.

На каменном мосту, перекинутом от Кутафьей к Троицкой башне над когда-то протекавшей здесь рекой Неглинкой, Терентьев и Донцов остановились. Отсюда Ленин был совсем близко... Вот за этими воротами — дорожка мимо казарм прямо к подъезду Совнаркома... А до встречи — двадцать минут, можно постоять...

Под ними глянцевитой зеленью сверкал Александровский сад. Слабый ветерок колыхал ветки, и листья переливались на солнечном свету неярким мягким блеском. Мимо них, к Ленину, поднимались от Кутафьей башни рабочие, крестьянские ходоки, служащие. Терентьев слышал их говор, и ему казалось, что

все оии идут к вождю докладывать о делах иа заводах, в деревиях, в советских учреждеииях...

— Хорошо,— сказал ои и запрокииул голову.

Почти над самой головой, иад темио-зелеиой кровлей Троицкой башни нависал тяжелый орел. В одной когтистой лапе — держава, в другой — скипетр... Две головы с разверстыми клювами...

Тереитьев ие столько видел его сейчас, сколько помиил: иа вывесках государствеииых учреждений, на важиых бумагах, иа моиетах, даже иа вывесках аптек — еще так иедавно везде был этот хищиый орел.

И тотчас же Иваи Григорьевич вспомиил о художнике и сказал:

— Слышь, Петя, а у иас будет свой герб...

— Какой же, Иван Григорьевич? — спросил Донцов и посмотрел на орла.

— Не зиаю... Красивый, должио быть... Пойдем, пора...

Леиии поднялся из-за стола, за которым он что-то быстро писал, и вышел иавстречу иемиого сковаиным от волнеиия посетителям.

— Прошу вас, прошу вас!.. Воеиком — вы? — живо обратился Владимир Ильич к Доицову с его подчеркнуто отмеииой выправкой.

— Нет, товарищ Лении! — отчекаиил Доицов, щелкнув каблуками.— Военком — товарищ Терентьев,— и широким жестом представил воеикома.

Тереитьев тоже приставил ногу, вытяиулся.

— Садитесь,— предложил Ленин и весело улыбнулся.— Не угадал! — сказал он, четко разделяя слоги.— Интуицией, видите ли, хотел блеснуть!

У посетителей спало иапряжеиие, оии перегляиулись, как бы подбадривая друг друга, а Владимир Ильич попросил рассказать, как идет оргаиизация иовых частей Красиой Армии. Лицо у Леииив было утомленным, нездорового, сероватого оттеика, в мелких морщинках. Теперь, когда ои приготовился слушать, это стало особеиио заметно.

Иваи Григорьевич откашлялся и, стараясь сделать приятное Владимиру Ильичу, порадовать успехами, иачал:

— Наш военкомат, Владимир Ильич, призыв ваш

старается выполнить, как и надлежит быть. Существовали у нас отряды Красной гвардии... Из тех отрядов наш военкомат сформировал воинские части и подразделения.

— Регулярные,— уточнил Донцов.

— Да, регулярные части и подразделения,— поправку Иван Григорьевич принял как должное и продолжал: — Размещены они в казармах. Казармы, правда, старорежимные, но мы, что могли, сделали — подновили, подкрасили, побелили и так далее.

— В каждой, товарищ Ленин, организовали красный уголок,— пользуясь паузой, вставил свое слово Донцов,— что отличает нашу советскую казарму от царской.

Иван Григорьевич в знак того, что это действительно так, кивнул, а Донцов, восприняв это как одобрение, уже вдохновенно, четко и громко продолжал, явно гордясь успехами и делами военкомата, упиваясь возможностью показать и себя:

— Докладываю вам, товарищ Ленин, что наш военкомат, кроме этого, формирует новые полки, а именно: Варшавский красный полк,— чеканил Донцов каждое слово,— Лодзинский красный полк, Краковский красный полк.

Иван Григорьевич, не спускавший глаз с Ленина, улыбнулся, заметив, с каким интересом и удовлетворением слушал Председатель Совета Народных Комиссаров четкий доклад его помощника.

— Дела у вас идут,— сказал радостно Владимир Ильич,— но откуда, если не секрет, берете и, самое главное, будете брать оружие и обмундирование? Это же тысячи шинелей, тысячи сапог, тысячи винтовок.

— Да, товарищ Ленин! Тысячи! — подтвердил Донцов.— Но можем доложить вам, товарищ Ленин, у нас обмундирования хватит!

— Любопытно! — все больше заинтересовываясь, сказал Ленин и подался к Донцову.— Фронт задыхается от нехватки оружия и обмундирования.

— В нашем районе, товарищ Ленин,— с подъемом продолжал Донцов,— дислоцирована большая военновещевая фабрика с огромными запасами.

— Ого! — удивился Владимир Ильич.— Так, так... Продолжайте...

— Оружие ремонтируем на механических заводах,

которых в районе насчитывается, товарищ Ленин, порядка шести.

Донцов кончил, а Ленин все словно вслушивался в его слова. И вдруг проговорил, недоумевая:

— Феодальные уделы... Местничество...

Как показалось посетителям, Ленин на время ушел в себя. Потом, что-то решив, сказал:

— И это, видно, не только у вас... Так?

Ни Донцов, ни Терентьев не ответили.

— Получается, товарищи, нетерпимое положение... Но, простите! Продолжайте, товарищ Донцов.

Иван Григорьевич и Донцов сразу насторожились, в еще неясной, но уже ощутимой тревоге посмотрели друг на друга. И молчали.

— Простите, товарищ Донцов... Продолжайте, пожалуйста...— напомнил Ленин.

Донцов как-то сразу вдруг утратил свою выправку и подтянутость и уже без прежнего подъема продолжал докладывать о делах военкомата, на которые он еще не мог посмотреть другими глазами.

Едва Донцов кончил, Ленин ударил пальцами по столу:

— Да, действительно получается, товарищи, нетерпимое положение. Не-тер-пи-мое!

Он встал:

— Вдумайтесь, оглянитесь вокруг, товарищи! — в его голосе был призыв, горячее желание, чтобы и слушатели поняли то, что ясно уже многим.— Оторвитесь от своей улицы, своего цеха, своих районных достижений!

Владимир Ильич подошел к посетителям:

— На нас прут со всех сторон, из всех щелей, а вы завод используете только для себя, фабрику — для себя. «Мы и они!» «Свои и чужие!» Нет их, своих и чужих! Есть единое государство, жизнь которого в опасности! Каждый человек, каждая винтовка должны делать общее дело, а вы думаете только о своем районе. Не-ет! — решительно и жестко произнес Ленин.— С местничеством надо кончать, иначе мы слетим!

Ивану Григорьевичу вдруг вспомнился художиик.

«И о чем только мы спорим? Очень все ясно, Никита Павлович: задушат, если не отобьемся! Одна забота: больше винтовок фронту, больше патронов, больше людей! Какой уж тут герб!»

И хотя, со слов Никиты Павловича, сама идея герба исходила от Ленина, она казалась сейчас несвоевременной...

Ленин позвонил Свердлову и сказал, что считает необходимым объявить борьбу местничеству.

Позже, когда он с возмущением узнает от Чугурина, что оппозиция питерской части ЦК бережет для «себя», «для Питера» кадры рабочих, умеющих руководить военными операциями, и тысячи рядовых, что Питер может дать фронту, вдесятеро больше, чем дает, Ленин быстро набросает текст телеграммы для передачи по прямому проводу:

«Петроград Смольный Зиновьеву:

Сейчас получились известия, что Алексеев на Кубани, имея до 60 тысяч, идет на нас, осуществляя план соединенного натиска чехословаков, англичан и алексеевских казаков. Ввиду этого и ввиду заявления приехавших сюда питерских рабочих, Каюрова, Чугурина и других, что Питер мог бы дать вдесятеро больше, если бы не оппозиция питерской части Цека,— ввиду этого я категорически и ультимативно настаиваю на прекращении всякой оппозиции и на высылке из Питера вдесятеро большего числа рабочих. Имению таково требование Цека партии.

Категорически предупреждаю, что положение Республики опасное и что питерцы, задерживая посылку рабочих из Питера на чешский флот, возьмут на себя ответственность за возможную гибель всего дела.

Ленин.»

Потом, добавив, чтобы вернули эту бумагу с пометкой, в котором часу она передана в Смольный, отдаст телеграмму для отправки.

То, что в таком масштабе проявилось в дальнейшем, было ясно уже сейчас...

Терентьев притих. «Никита Павлович... Никита Павлович ...— мысленно попенял и его и себя.— О чем только мы спорим...»

Владимир Ильич подошел к Ивану Григорьевичу и Донцову, сидевшим в креслах с озабоченным видом, и предложил:

— Вы многое делаете, а должны сделать еще больше. Запасы военно-вещевой фабрики — отдать фрон-

ту, нужды района — удовлетворять с помощью мелких предприятий.

— Владимир Ильич...— пытался что-то возразить Донцов.

— Будет, Петя, будет — остановил его Иван Григорьевич.

— Да, товарищ Донцов,— сказал Ленин,— необходимо отдать фронту. Война не на жизнь, а на смерть!

— Есть, товарищ Ленин,— решительно сказал Иван Григорьевич и хотел даже приложить руку к козырьку, но, вспомнив, что он без фуражки, вовремя сдержался.

Каждый день телеграф и газеты на серой бумаге приносили известия одно катастрофичнее другого. Вражеское кольцо вокруг Советской России сжималось все уже и уже.

Немцы свирепствовали на Украине, англичане занимали Север... Часть Сибири, Урал, некоторые волжские города — в руках чехословацких мятежников и белогвардейцев... Что будет завтра, через день, через два?

В своем уютном доме художник мучительно раздумывает над судьбами родины. Читает... Вытащит из шкафа один из томов истории, другой и листает — нет, такого еще не было...

Работая над гербом, в паузах-раздумьях художник рисует плакаты. На плакатах у него изображены свобода в виде красивой женщины в легком полупрозрачном одеянии; удав с несколькими головами, из раскрытых пастей которых устрашающе торчат жала: кровавая гидра империализма...

Художник переставляет из стороны в сторону ватман с рисунком герба, смотрит, поправляет детали, что-то переделывает. И снова смотрит.

«Нет, кажется, все верно...»

Немцы заняли Крым. Турки идут помогать меньшевикам Грузии... Каждый день с болью сердца Никита Павлович переставлял флажки на карте.

«Так,— думал художник, смотря на свой рисунок герба с мечом.— Конечно, только так...»

На ватмане рождался герб нового в истории государства. К снопам хлеба, обрамлявшим солнце, при-

бавилось изображение земного шара в его лучах. Но главенствовал все же остро отточенный меч...

Ранним вечером, стоя в дверях, жена позвала:

— Никита...

Художник, работавший за столом, повернул голову и увидел Ивана Григорьевича Терентьева.

Никита Павлович бросился к гостю:

— Ну, Иван Григорьевич, рассказывайте! Как? Что? Ах, если бы сейчас по рюмке вина...

Жена закрыла дверь, оставила их вдвоем.

Терентьев тягостно молчал, не садился.

— Иван Григорьевич! Садитесь, рассказывайте! Были у Ленина?

— Был...

Терентьев тяжело опустился в кресло.

— Что рассказывать, Никита Павлович? Какая война идет! А мы с Петей Донцовым больше думали о славе своего района... А на что слава, если республики не останется?

Терентьев стал рассказывать о беседе с Владимиром Ильичем, о том, как они провалились с Петей Донцовым в тартарары, о решении Ленина. О том, что каждая винтовка, каждый пистолет должны стрелять во врага...

Терентьев говорил, а художник все больше мрачнел.

— Жаль,— сказал он наконец, думая о гербе.— Очень жаль...

— Что жаль? — спросил Терентьев.

Художник не ответил, а озабоченный военком не стал переспрашивать и лишь махнул рукой. Никита Павлович, хотя и ввел в рисунок герба меч, в глубине души все ждал какого-то чуда...

— Значит, меч? — сделал вывод художник.

Он взял ватман и, зная, что делать придется все заново, черным жирным карандашом набросал через весь герб большой, остро отточенный меч, как бы перечеркивающий и солнце, и земной шар с серпом и молотом на нем.

— Вот так... Переделаю и отдам...

Вопрос о государственной печати и гербе уже не раз обсуждался Советским правительством, и проекту

художннка, рнсунку, который он передал на рассмотрение, предстояли еще многие испытания. Но Верстовскнй не знал об этом...

Ннкита Павлович сидел в одной нз комнат Совнаркома, н ему не хотелось сразу уходнть отсюда. Он завязал шнуркн папкн, оклееиной холстом, завязал все три, хотя обычно у него хватало терпения на два, а то н на одии. В папке — много рисуиков, эскнзов герба, но теперь она кажется ему опустевшей.

Комната проходная. Вот появляется н нсчезает военный в выгоревшей гимнастерке и обмотках иа длнниых худых ногах... Сосредоточенный, проходнт служащнй с портфелем... Женщниа в пеисне несет какую-то бумагу... Да, Верстовскому не хочется уходить отсюда. Теперь он тоже причастеи к этому миру, к делу, которым заняты здесь все...

Вот, вндит Верстовский, по комнате в сопровожденни молодой женщины, от одной двери к другой, стремительно проходнт человек. Он рассеянно слушает, что говорит ему женщииа, и кивает. Но это, пожалуй, не рассеянность. Нет! Слушая, он думает н о другом, более важиом.

— Пятница... Очередиая пятница... Выступление на заводе...

— Конечно... Конечио... Обязательно буду...

Человек этот кажется Верстовскому знакомым. Художинк всматривается.

«Ленин? Неужели...»

Теперь он вндит его сиачала сбоку, а потом — со спины. Художинку хорошо известны малочисленные в то время портреты Лениа, ио прнзиать вождя в этом человеке художиик иикак ие решается. И дело не только в старой тройке. Какое осунувшееся, пожалуй, даже нзможденное лнцо! Какого оно серого цвета! И как выразнтелен на нем блеск глаз! Живописцы хорошо знают: чем спокойнее, нейтральнее фон, тем ярче детали в цвете.

От сознаиия, что это и есть Ленин, художнику становится тревожио.

За Леннным и его спутницей уже закрылась дверь, а Никнта Павловнч все еще виднт блеск глаз, выражение серого, осунувшегося лнца человека, который слушает, воспрнинмает, не упуская деталей, но думает о другом, более значительиом.

Никита Павлович слышит, как кто-то из служащих Совнаркома говорит, все еще смотря на дверь, за которой скрылся Ленин:

— Ночей не спит...

Он представляет себе Ленина дома. Лежит, не может уснуть. Думает — все ли им сделано? Что можно сделать еще для спасения революции?

И все, чему Никита Павлович только что радовался, все, что давало удовлетворенное честолюбие, сознание исполненного долга, наслаждение плодом творческого труда,— все ушло куда-то на второй план.

«Каково сейчас Ленину...»

Сунув папку под мышку, Никита Павлович побрел домой. На площадях и улицах Кремля навалены бревна, ящики от патронов, ворота, какие-то повозки. Под ногами художника — осколки кирпича, обрывки бумаг...

Сейчас он даже не думал о том, сколько ему придется ждать решения.

Но ждал он недолго.

Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич, управляющий делами Совнаркома, пропустил художника вперед и привычно закрыл за собою дверь. В кабинете кроме Ленина Никита Павлович увидел Дзержинского, Свердлова, еще нескольких человек, как будто знакомых ему, но которых сейчас и сразу он от волнения не в состоянии был как следует рассмотреть.

Разговор шел о военных делах. Снова сдан город...

При появлении художника и Бонч-Бруевича Ленин, слушавший Свердлова, повернул голову.

Художник удивился: Ленин — совсем другой, чем в тот раз. Лицо — еще более серое и осунувшееся, попрежнему блестят глаза, и все-таки оно совсем-совсем другое. Этот другой Ленин, непохожий на того, которого видел Никита Павлович в одной из комнат Совнаркома, встал и поздоровался с художником. Не успел Никита Павлович поклониться всем остальным, как Ленин живо спросил, заметив в руках Бонч-Бруевича рисунок:

— Что это?.. Герб!.. Интересно посмотреть...

В его сильном, звучном, рождавшемся где-то глубоко голосе слышалось почти ребячье любопытство.



К рассказу «Трудный день».



К рассказу «Вторая осень».

Впечатлеиие это усиливала легкая картавинка. И «герб», и «иитересио», и «посмотреть» были сказаны так, как их произиосят иекоторые дети — мягко и чуть проглатывая звук «р». Детское было и в его еле заметной улыбке, предвосхищавшей радость и иаслаждеиие.

Боич-Бруевич положил тяжелый лист иа стол перед Лениным. Владимир Ильич тотчас быстро иаклоиился над рисуиком герба.

— Товарищи! — сказал Лении, вскииув голову.— Яков Михайлович, Феликс Эдмундович... Смотрите! Первый советский герб!

Все окружили Владимира Ильича и рассматривали рисуиок. Наступила тишииа. Стало слышио, как по площади перед здаиием Совиаркома, цокая подковами сапог по булыжиой мостовой, прошли кремлевские курсанты, как в коридоре — через дверь — работает телеграф; еле различимое, доиосилось гудеиие церковных колоколов.

На столе перед Лениным и членами правительства лежал рисуиок герба Советской республики. Графически он был сделаи великолепио: ясио, как-то звоико. Восходящее свежее солнце сияло лучами на яркокрасиом фоие. В его лучах — земной шар, а иа нем гордо вырисовывались серп и молот. И солнце, и серп с молотом обрамлены сиопами хлеба. Но остро отточенный меч, лезвие которого сверкало в лучах солица, перечеркивал все это. Меч как бы главенствовал иад миром.

— Интересио,— сказал Владимир Ильич.— Идея есть... Но вот это?..— И Леиии, в чем-то усомнившись, машинальио взял чериый карандаш.

Художиик сразу насторожился.

Сколько раз вот так люди, далекие от искусства, ио от которых зависела судьба произведеиия, брали толстый чериый или сииий караидаш и заиосили его иад рисуиками и плакатами, требуя исправить или перекроить на их собствеиный доморощенный лад и вкус! Случайно подиятые историей и судьбой иаверх, они считали себя иепогрешимыми — им виднее, как и что иадо делать, что иужио и что ие иужно, что хорошо и что плохо.

Но Лении ведь так ие может! Ои иаверияка хочет что-то поправить к лучшему. Коиечио же, меч!

— Владимир Ильич,— опережая Леиниа, вмешался художиик.— Владимир Ильич, я поспешил: меч должеи быть больше н выразительиее! Он должеи устрашать!

— Меч? Устрашать? Неужелн вам иравится война сама по себе? — Ленин с удивлеиием посмотрел иа художиика.

— Что вы, что вы!

Ленин снова стал рассматривать рисунок.

— Идея есть, но зачем же меч? — продолжал Леиин, обращаясь к товарнщам, к художиику, как бы рассуждая вместе с иими...— Мы бьемся, мы воюем н будем воевать, пока ие закрепим диктатуру пролетарната и ие выгоним вон из иаших пределов и белогвардейцев н нитервеитов, ио это не зиачит, что войиа, военщниа, военное иасилие будут когда-иибудь главенствовать у иас. Как, Феликс Эдмуидович, сменили бы меч на орало?

— Конечио же, дайте только условия.

— Вот, вот,— подхватил Леиин.— Завоевання нам ие нужны. Завоевательная политика нам совершеиио чужда; мы не нападаем, а отбиваемся, н меч не иаша эмблема.

Владимир Ильнч посмотрел на стол, словио искал там подтверждения своей мысли, и продолжал развнвать ее:

— Социализм восторжествует во всех странах — это иесомненно. Братство народов будет провозглашеио и осуществлеио во всем мире, н меч не иаша эмблема... А посему из герба нашего социалнстнческого государства мы должиы удалить меч.

И Леинн с чериым караидашом в руке наклоиился над гербом и решительно перечеркнул великолепио иарисованный меч.

— Но, кажется,— обращаясь к художнику, сказал Леиин,— мы грубо вторглись в сферу нскусства. Сколько вы работалн иад рисуиком?

— Миого, Владимир Ильич,— ответил Никнта Павлович.

— Вот видите! А мы в одиу миииуту,— и Леиии сделал в воздухе крест.— Плохо? — в упор спроснл ои художника.

— Нет, нет, Владнмир Ильич. Это очень, очень хорошо! — с чувством, которого и ие подозревал в себе,

проговорил Никита Павлович.— Вы даже не знаете, как это хорошо! Мир без войны!

— Я не знаю? — удивленный, Ленин рассмеялся.— Почему же я не знаю?

— Я не то хотел сказать...— смутился художник.— Трудно себе представить, Владимир Ильич, как было бы чудесно жить в мире, где уничтожена сама возможность насилия и завоевания.

— Чудесно,— подтвердил Ленин и напомнил: — Но есть, насколько мне известно, и другая точка зрения: меч в гербе необходим. Ну что ж, попробуем еще раз переубедить товарищей. Владимир Дмитриевич,— сейчас Ленин говорил уже Бонч-Бруевичу,— вносите вопрос в повестку дня Совнаркома. Посмотрим, обсудим...

Заседание Совета Народных Комиссаров под председательством Ленина после горячих споров утвердило исправленный проект герба. Это было, пожалуй, в один из самых тяжелых и трагических периодов, какие только выпадали на долю Советской власти. И в такое время люди в Кремле выкинули меч из эмблемы! Художнику казалось, что они даже не поняли всей значительности совершенного ими.

Седьмого ноября тысяча девятьсот восемнадцатого года, в первую годовщину революции художник увидел на площадях Москвы, на ее зданиях полотнища с изображением герба Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. Мирно светило благодатное солнце, в его лучах рельефно выступали серп и молот, а над ними, между снопами пшеницы, окаймлявшими землю и солнце, сверкала маленькая звездочка, которая светит всем людям труда.

Никита Павлович улыбнулся, вспомнив, как он работал над изображением меча.

ТРУДНЫЙ ДЕНЬ

В этот день Ленин уже дважды выступал в соседнем районе, был очень утомлен и голоден.

Но ему еще предстояло третье, последнее и, пожалуй, самое трудное выступление — перед рабочими.

По пути на завод Ленину не раз встречались очереди, то молчаливые, то возбужденно-шумные, возле которых шныряли подозрительные личности. Четвертый день не выдавали хлеба, но очереди стояли и стояли...

Откуда-то слева из-за Москвы-реки тянуло дымом и гарью. Видимо, накануне где-нибудь поблизости был пожар. Скорее всего — дело рук провокаторов, которым иногда удавалось поджигать предприятия и склады...

Ленин ехал, а дым не отставал и не отставал от него. Улицы были малолюдны, и эти замершие, казалось, очереди, этот дым и гарь создавали впечатление наступающей катастрофы.

Неподалеку от Москвы-реки Ленин попросил остановить машину и прошел к высокому берегу. Отсюда вся в солнечном свете и резких тенях ему открывалась панорама Москвы. На той стороне, вдали, был виден Кремль с белым столпом Ивана Великого, тускло блестевшим золотой главой. Река была неподвижна.

Ленин сунул руки в карманы пальто, поднял голову и смотрел, все еще чувствуя запах гари и дыма. Огромный город... Голодные люди...

Взглянув на часы, он пошел обратно. Под ноги ему попалось донышко бутылки, и острые зубья торчали кверху. Ленин носком ботинка перевернул донышко и вогнал его в землю, чтобы кто-нибудь не поранился.

Молча сел в автомобиль.

Шофер, объезжая рытвины на мостовой и лужи — недавно прошел дождь,— вел и вел машину, в которой сидел суровый Ленин в темном пальто и кепке.

Дым не отставал.

Очереди попадались все так же часто.

Народ на заводском дворе начал собираться задолго до приезда Ленина. И это не были спокойные, уравновешенные люди... Голод, пожары, дикие слухи, сулившие испытания одно страшнее другого, провокации многочисленных врагов ожесточали даже людей, умудренных жизненным опытом. И многие на заводском дворе были взбудоражены и наэлектризованы до предела. Брось кто спичку — и будет взрыв.

Возбужденно разговаривая, пробивались люди в заводскую столовую, где должен был выступать Ленин.

Но некоторые держались в сторонке, поближе к грязному дощатому забору, к складскому кирпичному зданию, курили, что-то высматривая и прикидывая. Ходили не спеша, руки в карманах. Что они прятали там?

Один из таких оказался рядом с усталой женщиной в платке. Глаза ее были погасшими, в руке она держала пустую кошелку.

— Булыжники — вот они...— услышала она и обернулась назад, к забору. Но сказавший это уже протискался дальше, и женщина увидела лишь его широкую спину, туго обтянутую выцветшей старой шинелью с разошедшейся складкой. Это был известный на заводе дебошир Костька Подобедов. Невдалеке от него прошел Борис Беленький. Он был эсером. Беленький, в новом военном костюме, прищурив глаза, привставал на цыпочки и следил за Костькой, шнырявшим в толпе.

Женщина с пустой кошелкой и потухшими глазами, безучастная ко многому происходящему здесь, на Подобедова и Беленького смотрела с интересом: затевают что-то... Может быть, это даст выход ее отчаянию?

— Камнями, что ль, хотят? — подумала она вслух.— А тут самой камень на шею и в реку! Все одно — конец!

— Опомнись, Анна! — урезонивали ее соседки.

— Очнись! Что говоришь-то!

— Совсем ума лишилась!

— А что?! Что? — не сдавалась Анна.— И лишишься! Как жить?! Как жить с детьми?!

Отчаявшись добыть хлеб в Москве, Анна третьего дня, захватив свои кофты и мужнины рубашки, поехала выменивать их на продукты. Не успела она отъехать от Москвы и двадцати верст, как заградиловка все у нее отняла, а ее, Анну, люди из заградиловки обозвали мешочницей. Анна поспешила уйти, а то еще, чего доброго, попала бы за решетку.

— Пойдем, пойдем,— потащили товарки Анну к столовой.— Может, уже приехал...

Человек в кожаной куртке, по всей видимости, кто-

то из нового заводского начальства, стоял на подмостках в столовой и пытался успокоить людей:

— Тише, товарищи! Не поддавайтесь провокации эсеров и меньшевиков!

— Про хлеб скажи! — кричали ему из столовой и со двора в распахнутые настежь двери.

— Когда хлеб будет?

— Говори прямо! Не крути!

— Отвечай!

— Товарищи! Товарищи! — пытался утихомирить людей человек в куртке и протягивал вперед руки, успокаивая и упрашивая: — Хлеб на днях будет... Не оставит Советская власть рабочих людей без хлеба... Хлеб будет! Тише, товарищи!

— Когда будет?! — кричали ему.

— Говори: когда?!

— На днях хлеб будет... Завтра...— и человек в кожаной куртке подался назад, подальше от этих людей, продолжая вытянутыми вперед руками упрашивать быть поспокойнее и потише.

— А кто вчера говорил, что хлеб будет завтра?! — понеслось из столовой и со двора.

— Слышали!

— Завтраками кормите!

— Идольское комиссарство! Народ обманывают!

Конечно, он не хотел никого обманывать, и обещание это вырвалось у него, он бросил его как последнее средство утихомирить народ, но стало еще шумнее, беспокойнее и тревожнее.

Человек в кожаной куртке, наверное сам не сознавая того, испуганный, продолжал потихоньку пятиться.

И вот, когда он отошел почти к самой стене, вдруг увидел, что в темном углу стоял Ленин и двое заводских коммунистов.

— Вы кончили? — спросил Ленин человека в кожаной куртке, сдержанно, почти даже сухо здороваясь с ним.

Но человек в куртке радостно улыбался: он видел в Ленине спасение.

— Владимир Ильич... Здравствуйте! Пожалуйста... Прошу вас! — человек в куртке указал на самый край помоста.

Теперь, чувствуя себя более смело за иадежиой стеиой, он подошел ближе к заводским.

— Товарищи! — объявил он.— Слово имеет председатель Совета Народных Комиссаров Владимир Ильич Леиии!

Шум ие стих. Женщины, зная, что другого случая, иаверное, не представится, старались высказать иаболевшее и кричали:

— Четвертый день хлеба иету!

— Дети голодают...

Те, кто пытался спровоцировать рабочих, сейчас особеино старались: сорвать выступлеиие Лениuа лучше всего было вначале. Шум усилился. В двери столовой рванулась толпа подозрительиых людей... Заводские коммунисты устремились за ними.

В шуме послышались откровенио враждебиые выкрики эсеров и их подручных.

Леиии, ие обращая иикакого внимаиия иа шум и выкрики, внешне совершеиио спокойный, не торопясь снял калоши, аккуратно поставил их рядышком. Потом он снял пальто и поискал глазами, куда бы его лучше пристроить. На одной стеие гвоздика не оказалось, он пошел к другой, держа пальто за воротиик Отыскав там гвоздь, ои повесил иа иего пальто и кепку. Все это ои совершал очеиь деловито. Можио было поразиться его выдержке.

Шум в столовой стихал.

Все так же неторопливо пригладив иа затылке волосы, Леиин подошел к самому краю помоста и, быстро окииув взглядом столовую, сказал:

— Товарищи! — И через мгиовеиие, когда совсем стало тихо, четко, громко заявил: — Хлеба в Москве нет. И завтра его не будет. Не иадо иас убаюкивать обещаниями.

Последнее отиосилось к человеку в кожаиой куртке, и все в столовой посмотрели иа него.

Виимаиие собравшихся: измучеиных и голодиых рабочих, которые легко могли поддаться иа провокацию; явиых и замаскированных врагов — какой-то своей частью сейчас было уже иаправлеио иа этого человека, говорившего так неразумно.

Леиии стал объяснять:

— Что иужио сделать, чтобы хлеб у иас был? Организовать продовольствеиные отряды, отремоитиро-

вать вагоны и паровозы, поехать в хлебные губернии. Хлеба имеется достаточное количество до нового урожая в губерниях, окружающих столицы, но он весь запрятан кулаками. Его там много больше, чем могут потребить жители этих губерний. Но хлеб нам легко не отдадут. Можно предположить, что меньшевики и эсеры, голоса которых только что здесь раздавались, постараются помочь кулакам осложнить дело.

Меньшевики и эсеры действительно кричали здесь... Верно... Слова оратора выявляли для всех реально существовавшее, но до тех пор бывшее как бы в тени.

Прошли всего лишь какие-нибудь две-три минуты, и самый больной, острый вопрос прояснился: кого слушать не надо (болтунов и разного рода успокоителей), кто может оказаться прямым врагом в борьбе с голодом (кулаки, плюс эсеры, плюс меньшевики), что конкретно нужно делать, чтобы хлеб в Москве был (организовать продотряды).

Теперь Ленин мог совершенно спокойно говорить хоть час, хоть два.

Но он говорил меньше, минут тридцать — сорок. Стенографисток с Лениным не было. Никто выступления его не записывал. Лишь корреспондент газеты составлял коротенький отчет. Бурлила неведомая эпоха, и казалось, такие, как Ленин, теперь будут являться часто и что великих людей сейчас не так уж мало...

Ленину приходилось напрягать голос, чтобы его услышали в задних рядах. Он говорил отчетливо, только чуть картавил. Отчетливо... Но странно! При этом казалось, что слово последующее незаметно, тайно рождалось и подготавливалось где-то в предыдущей фразе, накрепко связано с ней.

Увидим или не увидим новый мир, говорил Ленин, зависит от всех нас, от того, насколько каждый из нас научится понимать необходимость этого нового мира и научится работать для него. Он говорил и о международном положении, и тяжелом положении в стране, но та мысль была основной, и он несколько раз возвращался к ней, все время обогащая и обогащая ее. Наступление прекрасного будущего зависело не от воли какого-то особого человека или божества, а от нас всех.

Ленину долго и шумно аплодировали.

Анна стояла притихшая.

Она не могла сейчас дать себе ясного отчета в происшедшем, но понимала, что случилось что-то необычное. Ведь хлеба сегодня в Москве как не было, так и нет, но и той безысходности, которая мучительно подавляла ее, тоже теперь нет. Анна знала — хлеб будет.

Когда вечером Владимир Ильич вернулся с завода в Совнарком, женщина — работник секретариата спросила его:

— Вам удалось пообедать, Владимир Ильич?

— Нет, не удалось.

— Ничего не ели?

Ленин промолчал и прошел в свой кабинет.

Говорят, хлеба в Кремле в тот день не было.

МОСТ

В темноте слышно было, как трещал лед, как с шумом сталкивались льдины и журчала вода. Шла весна. Пахло прелыми листьями и теплой, нагретой землей. Мы ехали в районный центр.

— Мост не снесло? — спросил я, вслушиваясь в тяжелую работу воды и льдин, со скрежетом наезжавших друг на друга, с треском ломавшихся в куски.— Сколько мостов сносит в такую пору...

— Этот не снесет,— ответил шофер.— Это советский мост.

— Какой?

— Советский. Вы не бывали в наших местах?

— Нет,— ответил я.

И тогда старый шофер поведал мне историю, которая изложена в этом рассказе.

Никита Попов сидел на телеге на заплатанных мешках с рожью. Ехал на мельницу. Рыжая бежала спокойно и плавно, не убыстряя шага при спуске с горы, не натуживаясь при подъеме. Никита привязал вожжи к передку и, вполне положившись на лошадь, курил самокрутку, изредка сплевывая то вправо, то влево.

На много верст вокруг золотилось под солнцем сухое жесткое жнивье. Желтое пространство по обе стороны от Никиты пересекалось зелеными — с кустами и пышными деревцами — оврагами, спускавшимися к речке.

Две самокрутки выкурил Никита, догорала уже третья, остаток ее висел, приклеившись к нижней губе, а Никита все ехал и ехал, и вокруг было все жнивье да жнивье, овраги да кусты.

Никита был не в духе и нехотя думал о своих делах. «Полушубок с овчин справить, валенки тож к зиме подшить... Макаровым вожжей больше не давать: брали, в дегте вымазали да так и отдали — все руки замарал».

Никита выдрал из-под мешков пук соломы и, сплюнув окурок, принялся вытирать руки.

Дорога шла круто под горку, к узенькой, едва поблескивавшей из-за кустов речке. Рыжая зафыркала, но продолжала бежать все так же спокойно.

Вскоре показался и мостик, еще новенький, белевший перилами на фоне зелени и голубой воды. Был этот мостик настолько шаток, что дрожал, прогибался даже тогда, когда по нему проезжала не очень тяжело груженная телега. Уж что-что, а это Никита знал: не раз ездил по мостику. Строили его две волости, границей которых служила речка, каждая сторона считала мост не своим делом, и, наверное, поэтому получился он таким хлипким.

Никиту снова потянуло закурить, но солнце так разморило его, что не хотелось двигаться и лезть в карман за кисетом.

И пока в его голове решалось: курить и, значит, подниматься с мешков, чтобы достать кисет, или не курить до мельницы и продолжать сидеть,— он потрогал свою бородку, жесткую, как щетка для чистки лошади. «Закурю»,— решил он и уже привстал и наклонился, чтобы удобнее было достать кисет, но услышал позади себя шум мотора и повернул голову.

В облаке легкой пыли далеко от Никиты показался автомобиль.

«Разъездились!» — недовольно подумал Никита и, дернув левую вожжу, свернул на жнивье. Очень ему хотелось посмотреть, как автомобиль будет проезжать

по этому мостику. И Никита остановил лошадь. Он поднялся, сел лицом к автомобилю, катившему по дороге, и, не отрывая от него взора, стал медленно сворачивать самокрутку.

Автомобиль приближался, и теперь можно было рассмотреть, что мучнистая пыль была не впереди, а сзади него, она выбивалась из-под колес и тянулась за машиной. Вскоре Никита рассмотрел и пассажиров. За рулем сидел молодой шофер с простым, открытым лицом, в военном костюме из грубой шерстяной материи. Сзади него кто-то в штатском, рыжеватый, видно, не очень высокого роста. Его лицо показалось Никите знакомым.

«В волость начальство,— решил Никита.— А я тут еще остановился, незнамо зачем... Может, того, проехать?»

Но было уже поздно: замедлив ход, автомобиль приближался к Никите.

Шофер привстал, чтобы рассмотреть мост. Посмотрел-посмотрел и остановил машину возле телеги. Человек в штатском, сощурившись, тоже смотрел на мост.

— Что? — спросил он.— Не проедем?

Шофер пожал плечами и вышел из автомобиля.

Видно, ездоки были издалека. Шофер потоптался на месте, разминая ноги, а затем направился к мосту.

— Посмотрю,— сказал он штатскому.

Тот кивнул головой и тоже поднялся. Вышел из машины.

— Товарищ,— обратился он к Никите,— а как, по-вашему, проедем или не проедем?

Никита не спеша вынул самокрутку изо рта, сбил с нее ногтем пепел и не сразу ответил:

— А черт ее знает... Проедем-не проедем: мост-то, извиняюсь за выражение, советский!

Считая разговор оконченным, он опять сунул самокрутку в рот и задымил, стараясь всем своим видом показать, что все это не очень интересует его. Но ответ Никиты неожиданно рассмешил человека в штатском, и он заразительно рассмеялся, повторяя:

— «А черт ее знает. Мост-то, извиняюсь за выражение, советский!» Слышите, товарищ Егоров,— обратился он к шоферу.— «Мост-то советский!..»

— Слышал,— озабоченно ответил тот, подходя к

штатскому.— Машина проехать может, но настил-то мы им наверняка разворошим, Владимир Ильич.

Владимир Ильич!

Никита медленно, чтобы не заметили, поднял глаза и, стараясь увидеть что-то новое, всмотрелся в лицо штатского.

«Рыжеватый, глаза щурит... Ульянов-Ленин! — догадался Никита, вспомнив овальный портрет, где была именно такая подпись: «Ульянов-Ленин».— Батюшки! Ленин! — И сейчас же от испуга слово за словом стал проверять себя: — Ну да, советский... Советская власть строила... Правильно. А вот что в стороне стою и вроде как надсмехаюсь — нехорошо!»

Никите казалось, что Ленин, который, прищурясь, смотрел на него, разбирает его по косточкам. Вот сейчас доберется до того, почему он здесь стоит,— и пропал!

Но Владимир Ильич все еще улыбался.

— Интересно, интересно,— проговорил он.— Что же это за власть такая? Как это она осмелилась так плохо строить?

Вопрос был обращен к Никите, и он хотел уже пожать плечами в ответ, но Ленин повернулся и неизвестно кому сказал:

— Что за власть? Уж не мы ли с вами?

Шофер, все еще приглядывавшийся к мосту, взглянул на Ленина и, точно слова не касались его, стал смотреть на мост, что-то соображая.

«Значит, ко мне»,— подумал Никита и хотел сделать вид, что к нему это и подавно не относится, но что-то помешало ему, и он сказал:

— Да уж не знаю. Только мост, как холодец, трясется.

— Ну да, советский,— подсказал Ленин и, опять рассмеявшись, подсел на телегу к Никите.— Значит, говорите, в советское еще не все верят?

Никита кашлянул и в замешательстве проговорил:

— То есть... как сказать... сомневаются, конечно...

— Сомневаются? — переспросил Ленин.

— Сомневаются,— подтвердил Никита.

— Ну, в первый год советской власти сомневаться еще можно. А вот пройдет лет этак пять, десять... «Это советский»,— с гордостью будут говорить, то есть лучший, отличный. Да, да. Вы не согласны?

— Я-то? Нет, почему? — ответил Никита, думая: «Поедет или не поедет?»

— Так как, Владимир Ильич? — спросил шофер.— Машину разворачивать?

Никита ждал.

— Придется, товарищ Егоров, объезжать,— сказал Ленин после паузы.— Да, да, объезжать... Настил портить никому не позволено. Ни-ко-му!

— А брод-то далеко? — спросил шофер Никиту.

— Далеко,— ответил Никита.

— Все равно объезжать,— повторил Ленин.

Ленин и шофер сели в автомобиль, поблагодарили Никиту и уехали. Никита Попов долго смотрел вслед удалявшемуся автомобилю.

«Да-а,— думал он.— «Настил портить никому не позволено. Ни-ко-му!» Так не каждый может...»

И теперь уже с восхищением проводил взглядом скрывшийся за пыльной завесой автомобиль.

— Вот какую историю рассказывают в здешних местах,— заключил старый шофер.— Давно уже нет прежнего моста, построен новый. И с тех пор мост на этой реке зовут Советским.

Мы проехали по мосту, он не вздрогнул, не шелохнулся, твердо, незыблемо стоя под напором тяжелых льдин и шумной, бурливой весенней воды.

ЗА ВСЕХ НАС

Совнарком...

Степан Васюков представлял его себе другим: толпы в коридорах, суета — куда-то спешащие мужики, рабочие, красноармейцы и матросы, и над ними густой синий дым, шум, возгласы, окрики... В общем, как на картинке «Смольный в Октябре», которая висит у него дома на стене.

А оказалось совсем не так.

В Совнаркоме было тихо, малолюдно, светло и чисто. Никто никуда не бежал, слышно было, как в какой-то комнате, неподалеку от Васюкова, быстро сту-

чала пишущая машинка. Ее дробный стук прерывался паузами, и, казалось, тот, кто писал, думает о чем-то важном — сейчас решит вопрос и пойдет стучать дальше.

«Порядок у них...» — подумал Васюков.

Не зная, куда деть себя, он притулился у стены. Заметив на своих хромовых праздничных сапогах следы грязи, Степан подумал рассеянно, что дороги в его волости безобразны и не скоро с ними справишься. Грязь же, как клей: очищал, очищал сапоги по приезде в Москву, вытирал у входа в здание Совнаркома, а все равно следы остались...

Постепенно подходил народ. В длинном коридоре Совета Народных Комиссаров становилось многолюдней и шумнее. Несколько оправившись от смущения, Васюков стал разглядывать собравшихся — простые люди, такие же, как и он сам. Тогда Васюков отошел от стены и с деланно независимым видом зашагал по коридору. Председатель волисполкома, он был, как ему казалось, не последним здесь. Что же, у него неплохие дела в волости: кооперативы, кредитное товарищество в Озерках, паровая мельница в Красникове, школы работают. Есть такая, где каждую неделю спектакли ставят. Недавно в том же Красникове поставили... как это... ну где поется: «Павлик, Павлик, занимайся, даром время не теряй...»

Невольно он стал пришедших сравнивать с собой. Все это уже степенные отцы семейства, в сапогах, в рубашках навыпуск... У некоторых — пояса с кистями... Всех их роднила извечная привычка обходиться самым малым: есть в чем ходить — и слава богу! Им и в голову не приходило обращать внимание на свои заплатанные локти, на пуговицы разных цветов и размеров, на ветхость пиджаков.

Он здесь был, пожалуй, самым молодым и боевым и, конечно же, как ему думалось, не хуже, если уж не лучше, других.

И когда мимо Васюкова, явно не разглядев его через очки с дужками, перевязанными нитками, прошел Волков, член правления Муравьевского товарищества соседней волости, Степан не поздоровался с ним, не окликнул.

«Он первым должен».

Дома, в волости, Васюков никогда не здоровался

первым, он снисходил до этого только в уезде и губернии, и то лишь встречаясь со своими начальниками. Авторитет его как начальства, здоровайся он первым, отчетливо представлялось Васюкову, по кусочкам, по частичкам должен быть разнесен в этих рукопожатиях, вежливых наклонах головы и других знаках внимания к людям. Какой уж там авторитет, если он начнет всем кланяться направо и налево!

Нет! Так нельзя...

Больше того, вежливость казалась Васюкову до какой-то степени признаком слабости. Он видел, как вежливо здоровались учителя. Поп, этот пережиток проклятого прошлого и классовый враг, учтиво кланяется молодым и старым. Знает, что жила слаба... А чего ему, Васюкову, кланяться каждому встречному, пожимать всем руки? Нет, он свой авторитет не уронит.

«Однако долго...»

Он посмотрел на стенные часы. До начала совещания осталось только четыре минуты. К удивлению примешались беспокойство и волнение. Разговор предстоял о кооперации и об электрификации сельского хозяйства — верных путях в коммунизм. Васюков мог кое-что рассказать о делах в своей волости, и рассказать с гордостью.

Васюков снова посмотрел на часы — оставалось еще три минуты. Потом вдруг подумал, что, быть может, стоит у себя, в волостном Совете, ковры постелить. Все равно в амбаре гниют. Как конфисковали у помещиков, бросили в амбар, так и лежат. Веяло чем-то классово враждебным от этих ковров с за́мками и оленями, с цветами и полуголыми женщинами. Васюков никогда и не вспоминал о коврах. А вот, оказывается, могут пригодиться. Решив, что с ними делать, с коврами, он подумал, что нужно будет Поле — уборщице выдать аршин полотна на фартук, а то ходит в черном, сшитом из какой-то старой юбки...

Вдруг говор и шум стихли, послышались легкое поскрипывание штиблет и голос, мягко выговаривающий букву «р». Степан Васюков быстро обернулся и в двух-трех шагах от себя увидел Ленина. Он шел, разговаривая с высоким, сутулым человеком в очках, в коротком пальто, видно посетителем, которого он провожал из своего кабинета.

Васюков остановился, вслушиваясь.

Ленин представлялся ему немножко выше, ну а вообще — такой, как на портретах... Все правильно!

Вождь мирового пролетариата, сам Ленин, прошел мимо него, Васюкова, и пола черного пиджака Ленина коснулась Васюкова. Вот Ленин — рядом, обычный, такой, как все!

А Владимир Ильич взглянул на часы и, что-то решив, махнул рукой и сказал:

— До свидания. Заходите, Василий Николаевич. Заходите, но помните,— Ленин повысил голос и, разделяя слова, продолжал: — Без полного признания Северцевым своих ошибок у нас с вами ничего не выйдет. Вопрос государственный, и половинчатости здесь быть не может,— Ленин крепко пожал руку спутника, словно подтверждая свое решение, повернулся и пошел назад.

Неожиданно увидев кого-то, Владимир Ильич свернул в сторону.

— А-а, это вы, товарищ Волков,— весело сказал Владимир Ильич.— Заходите, пожалуйста, заходите, сейчас мы вас будем ругать. Боитесь, батенька?

Говоря так, Ленин — Степан это видел ясно — первый протянул руку Волкову. Кому? Члену правления Муравьевского товарищества. Кто? Ленин, вождь мирового пролетариата. Он крепко жал ладонь Волкову, пока не кончил говорить и не обратился ко всем:

— Заходите, товарищи.

Владимир Ильич быстро прошел вперед по коридору, распахнул дверь кабинета, обитую клеенкой, и пригласил:

— Располагайтесь.

В кабинете с видом на Кремль все было по-деловому просто и удобно, очень скромно. Строгий порядок в нем как-то настораживал, заставлял подтягиваться. Простота обстановки роднила с тем, кто здесь работал, но сознание того, что ты находишься в кабинете Ленина, заставляло искать в ней что-то особенное.

Степан Васюков сел неподалеку от рабочего стола Владимира Ильича в глубокое мягкое черное кресло. Он был немного растерян: Ленин сам провожал своих посетителей из кабинета, первым протягивал руку зна-

комым, даже если они всего-навсего — члены правления товарищества.

Владимир Ильич, спросив у каждого имя и фамилию, называл теперь их, неизменно прибавляя:

— Ну, а что вы нам скажете?

Совещание он вел энергично, направляя внимание выступавших от одного важного вопроса к другому. Так ведут людей вброд по бурной реке — от камешка к камешку, на тот берег, к цели.

— Мы пустили мельницу, которая обслуживает пять сел,— сообщал выступавший.

— Хорошо! — отмечал Ленин и спрашивал: — Что говорят крестьяне соседних деревень?

— Завидуют, Владимир Ильич. Хотят тоже строить.

— Хотят? Вы пустили мельницу, объединившись в кооператив. А у соседей он есть?

— Нет, Владимир Ильич.

— Как же без кооператива они будут ее строить? Пойдут на поклон к кулакам? Понимают ли они смысл и силу кооперации? Есть у них люди, которые смогут ее создать?

И выступавший, который еще минуту назад считал, что эти дела его не касаются, мало того, гордился тем, что у них лучше, чем у соседей, вдруг чувствовал себя ответственным за всех и начинал подробно излагать свои соображения о создании кооперации в соседних селах.

И хотя Ленин не всегда говорил приятное, даже более того — кое-кого распекал за нерадивость и неповоротливость, Степан не видел человека среди пятнадцати — двадцати присутствующих, который был бы не согласен с Лениным. Всем становилось очевидно, что он прав и что иначе нельзя.

Разговор перешел к строительству электростанций, добыче торфа. Владимир Ильич с увлечением рассказывал о новом гидравлическом способе, разработанном инженером Классоном.

— Интересно,— прервав рассказ, обратился Ленин к слушателям,— кто из вас видел кинокартину об этом?

Все молчали.

— Есть специальная кинокартина о гидравлическом способе добычи торфа,— разъяснял Ленин, на-

деясь, что, быть может, кто-нибудь все-таки видел ее.

Нет, о такой кинокартине даже не слыхали.

— Гм, гм,— недовольно произнес Ленин и, стукнув карандашом по столу, что-то отметил у себя в блокноте.

Он порывисто, с силой вздохнул и спросил:

— Вы хотели, товарищ Васюков?

Степан, который в эту минуту думал о себе, о своей работе, не ожидал вопроса.

— Да... Я...

— Пожалуйста, товарищ Васюков,— Владимир Ильич приготовился внимательно слушать председателя волисполкома и чуть подался в его сторону.

Степан встал. Ему, вдохновленному близостью Ленина, его замечаниями, хотелось сказать что-то необычное, такое, чтобы все здесь присутствующие и прежде всего сам Владимир Ильич увидели бы в нем борца за общее дело, человека, готового, если нужно, отдать за революцию жизнь. Васюков был уверен, что все выступавшие здесь до него говорили хотя и дельно, но как-то все-таки буднично, мелко, без масштаба, и он хотел за всех восполнить этот досадный промах, чтобы Ленин имел правильное представление о товарищах с мест.

Пока Степан, собираясь с мыслями, расправлял под ремнем рубашку, Владимир Ильич спросил:

— Устали, товарищи? Скоро кончим. Пожалуйста,— обратился он к Васюкову.

— Товарищи! — громко произнес Васюков, словно выступал с трибуны у себя на митинге перед односельчанами.— Теперь, когда близка победа мировой революции, товарищи, мы должны...

Ленин, который внимательно смотрел на Васюкова, словно что-то ожидая от него, опустил голову. Неудовольствие и усталость проступили на его лице.

У Васюкова, от которого не ускользнула перемена в лице Владимира Ильича, что-то больно сжалось внутри: не оправдал доверия, обманул ожидания Ленина! Степан чувствовал, что говорит не так, но не мог иначе. Просто не умел... Бывший пастушонок и солдат, он все получил от новой власти, чувствовал себя участником большого, невиданного дела. И ему казалось, что и говорить об этом невиданном можно только особыми, значительными и даже не всегда по-

нятными словами, которые он слышал на митингах и собраниях. И в манере говорить давала себя знать привычка выступать на митингах — громко, агитируя несознательных, проклиная врагов, то есть буржуазию и империалистов... Степан решил поскорее перейти к рассказу о конкретных делах, до боли в душе жалея, что ему так и не удалось и теперь уже, видимо, не удастся сказать Ленину о том великом и необыкновенном, чему он так предан.

— Болотный торф, который спокон веков окружает наше село, скоро будет гореть в топках машин...— продолжал Васюков уже более тихо.— Свет рассеет вековой мрак, и тогда всем будет видать нашу новую жизнь на основе культуры и коммунизма.

— Кстати, о культуре и коммунизме,— заметил Ленин.— Простите, товарищ Васюков. Насколько я вас понял, вы хлопочете о том, чтобы электрический свет залил наши деревни и села?

— Да, товарищ Ленин! — с готовностью и горячо подтвердил Васюков.— А в дальнейшем — и в мировом масштабе, товарищ Ленин!

— И даже в мировом масштабе! — повторил Ленин.— Отлично.

— Мы создадим новую жизнь, которой еще никогда не было в мире и которую переймут у нас пролетарии всех стран,— с чувством продолжал Васюков.

— «Новая жизнь...» — глухо повторил Ленин,— «переймут пролетарии...» Отлично! А скажите, пожалуйста, товарищ Васюков, это не в вашей волости пытались разграбить картинную галерею в усадьбе Мурашевых?

— Картинки-то? — живо откликнулся Васюков.— У нас, товарищ Ленин.

— И наверное, не без вашего прямого содействия, товарищ Васюков?

— Да ведь на картинках, товарищ Ленин, генералы да графья во всем своем обмундировании, голые, извиняюсь, бабы в самом нахальном виде... Учитель ко мне сунулся было с защитой: какие-то, говорит, краски в них, но я ему сбить себя не дал: прошлому конец! Все взорвем, все...

Неожиданно Ленин встал.

— Что вы собираетесь освещать электричеством, товарищ Васюков? — сурово и жестко спросил он.—

Свое варварство? Как истребляете художественные ценности народа? Или как мы строим новую жизнь?! Да еще в мировом масштабе?!

Васюкова все это как-то оглушило, хотя он был не робким и не терялся в трудные минуты жизни. Ои посмотрел иа собравшихся, на Волкова. Тот, слушая своего соседа по волости, делал вид, что со вниманием рассматривает пол.

— Товарищ Леиин... Я же добра хочу...— растерянно проговорил Васюков.

— Знаю! — твердо сказал Ленин.— Иначе нам бы с вами иезачем было встречаться, товарищ Васюков. Но культура России досоциалистической — тоже добро. Да еще какой ценности! Портреты геиералов и графов, голые, как вы говорите, жеищины — работа великих художииков Репина и Маковского, Брюллова и Тициаиа, создавших неповторимые по своей ценности произведения искусства. Вот в чем дело! Бейте генералов, но сохраните ироду Репина! — помолчав, Владимир Ильич закоичил более спокойно: — Извините, что прервал, товарищ Васюков. Продолжайте, пожалуйста.

Васюков молчал. Он никак не мог прийти в себя, чтобы хоть что-иибудь сказать, и смотрел то на Волкова, то на соседей, то на Ленина.

Наконец он откашлялся с каким-то усердием и продолжал рассказывать о людях и делах своей волости. Владимир Ильич иа протяжении всего дальиейшего выступления Васюкова бросил ему только одну реплику:

— Хорошие у вас работники, товарищ Васюков. Очень иинициативные и толковые. Учитесь у них.

Вскоре, как и обещал Ленин, совещание закоичилось. Товарищи с мест расходились. Васюков в коридоре обращался то к одному, то к другому, ища у них сочувствия и поддержки.

— Товарищи, братцы,— говорил ои,— ведь я же всей душой...

— Подумал бы, что городишь,— мягко заметил ему Волков.

— Так ведь я...— пробовал оправдаться Васюков.— Я тоже за мировую революцию!

— «Я... Я...» — повторил Волков.— Отличился грибовский председатель!

— Никита Иванович! — взмолился Васюков.— Да поймите же вы меня!..

От разговора с Васюковым у Ленина осталось неприятное, тревожное чувство. «Понимает ли этот Васюков, что мы строим, за что боремся?»

Несколько мгновений Владимир Ильич, нахмурив брови, озабоченно смотрел вперед и не мог приняться за очередные дела, краткий перечень которых лежал перед ним. «Много ли в деревнях таких, как Васюков? Как им помочь? Какой урон нанесет ломка старого мира культурным ценностям, разбросанным по всей стране, по самым глухим ее местам? Что можно сегодня же сделать для их спасения?» Лицо Ленина будто вдруг похудело, осунулось.

Наконец он посмотрел на заметки о неотложных делах и взял ручку.

Сколько их! В конце прошлого года с трибуны VIII Всероссийского съезда Советов был провозглашен план восстановления и преобразования народного хозяйства новой России... Теперь этим нужно было заниматься каждый день, каждый час. Троцкисты все еще пытались проводить политику «огосударствления» и «перетряхивания профсоюзов»... По троцкистам нужно ударить со всей силой, разоблачить, оставив их «голыми», чтобы каждый видел их существо, знал подлинную цену им и их лозунгам... И этот Кронштадтский мятеж, новая попытка контрреволюции свергнуть Советскую власть! К тому же весной разразился продовольственный, топливный, транспортный кризис...

Минут через десять — пятнадцать, едва Владимир Ильич успел написать несколько важных и срочных записок, ответить на звонки и кое-куда позвонить, вошел Луначарский.

Протянув Ленину мягкую и приятно теплую руку, Анатолий Васильевич, которого Владимир Ильич както упрекнул за опоздание, сказал с улыбкой:

— Вижу — заняты, но являюсь к вам в назначенное время.

У Луначарского веселым был не только голос, не только весь он сам, но, казалось, даже пенсне его поблескивало весело.

Владимир Ильич любил в Луначарском эту неист-

ребимую веселость, любил даже долю какой-то беззаботности в нем; в беззаботности ему, Ленину, было начисто отказано.

— Представьте себе,— ответил Владимир Ильич, заканчивая записку,— что лучше помешать, явившись вовремя, чем заставлять себя ждать, как прошлый раз, высокочтимый Анатолий Васильевич! Этим меня вы не проймете! — и Ленин улыбнулся.— Садитесь, пожалуйста.

Луначарский мягко опустился в черное кожаное кресло слева от Ленина.

— Коротко о своих делах,— попросил Ленин.

— Книги для деревни будут, Владимир Ильич,— сказал Луначарский.— Рад вам об этом сообщить.

— А я рад слышать,— с иронией подхватил Ленин.— Наконец-то! Пришлите мне на просмотр лучшие, на ваш взгляд, издания.

— Непременно, Владимир Ильич,— Луначарский сделал паузу и сказал печально: — Художник Вершков и скульптор Аникин просят дать визу на выезд в Америку.

— Так! — недовольно воскликнул Ленин.— В Советской России, конечно, свободно творить нельзя,— продолжал он, копируя кого-то с издевкой,— революция подавляет личность художника, и прочее, и прочее! Пусть едут,— сказал он неожиданно.

— Мы так мало пресекаем, мы терпим разных язычников и изуверов от искусства...

— Вы сами их частенько защищаете, Анатолий Васильевич! — строго перебил Ленин.— Сами!

— Не всех левых защищаю, и не все левое, Владимир Ильич! — запротестовал Луначарский.

— Ну, ну! — примирительно сказал Владимир Ильич.— Допустим... Далее!

— Мы мало пресекаем, многое терпим,— продолжал Луначарский,— и все же, когда во имя революции что-то запрещаем,— кричат: где же свобода?

— Пусть едут,— повторил Ленин,— а мы будем продолжать свое.

— Бесспорно, Владимир Ильич, принцип laissez faire, laissez passer[1],— конечно же не может быть провозглашен нашим политическим лозунгом.

---

[1] Пусть идет само по себе *(франц.)*.

И Луначарский, непринужденно и свободно облокотившись о спинку кресла, засунул большой палец руки под жилет.

— Нужно, необходимо дать положительную программу! Вот в чем суть! «Как только кляп будет вынут изо рта пролетариата, мы немедленно всунем его в рот капиталистов».

— Это кто? — спросил Ленин.

— Бланки... Идеологии буржуа, их культуре мы положим конец, но что будем говорить сами? Что утверждать? И будем ли утверждать?

— Совершенно верно! — воскликнул Владимир Ильич.— По представлению некоторых, мы просто нигилисты, да еще с топором в руках! — И, вспомнив недавнее выступление Васюкова, он с ожесточением произнес: — Нужно дать программу! И как можно скорее. Это самое трудное.

— Нас часто спрашивают: «Что такое наше искусство? Нечто совсем новое, выросшее, как трава на пепелище и на развалинах, или у него есть связи с искусством прошлого? Какие? В чем тогда его принципиальное отличие от искусств всех предыдущих эпох?» Десятки других вопросов!

— Ну? — прищурив глаз, спросил Владимир Ильич.— А вы вместо того, чтобы написать популярную брошюру и ответить на эти вопросы, издаете сборником старые статьи?

— Что делать, Владимир Ильич? Брошюра — это две-три недели. А где их взять?

— Да...— тихо произнес Ленин.— Великий фактор времени... Из часа двух не сделаешь.

Несколько секунд Владимир Ильич молчал, раздумывая.

— Да, великий фактор времени,— повторил Ленин и, показалось, с ноткой печали.— Продолжайте, Анатолий Васильевич.

— Владимир Ильич, а что вы думали сейчас о времени? — несмотря на то что беседа и так затягивалась, Луначарский все же решил не упустить случая, поговорить с Лениным об этой философской и житейской категории.

— Время? — повторил Владимир Ильич, повернув голову к Луначарскому.

Тот, не отрывая взгляда от Ленина, ждал. Близо-

рукие, с узкими щелками глаза его пытливо, напряженно смотрели в лицо собеседника, который сейчас скажет так кратко и так много.

В эту минуту в кабинет и вошел секретарь.

— Владимир Ильич,— сказал он,— ничего не могу поделать: товарищ Васюков просит вас принять его на три минуты. Уже два раза подходил ко мне, говорит, что без этого не может уехать.

— Васюков? — повторил Ленин и недовольно кашлянул: — Гм... гм...

— Говорит, что его не так поняли,— продолжал секретарь.— Он тоже за мировую революцию, и ему обидно...

— Обидно? — Ленин быстро повернулся к Луначарскому, живо сказал: — Да, товарищ Васюков за революцию и коммунизм, но картинную галерею хотел отдать на разгром. А там — Репин, Маковский, Брюллов! Все, говорит, на слом! Хорош гусь? Да еще утверждает, что это и есть коммунизм и пример для мирового пролетариата. А?!

— Вы его отчитали — и дело с концом! — решительно проговорил Луначарский, сверкнув стеклами пенсне.— Вы не можете всех принимать дважды. И так у вас бесконечно отнимают время всякими мелочами, просьбами, чепуховыми вопросами! Обидно до невозможности!

— Значит, не принимать? — спросил Ленин.

— Конечно же! Бестолковщина, нерадивость да и бесцеремонность некоторых крадут у вас время, за которое можно сделать так много! А вы иногда потакаете им.

— Ага! — воскликнул Ленин.— Выговариваете мне, Анатолий Васильевич?

— Как видите, Владимир Ильич. Нельзя быть равнодушным к расхищению ваших сил и возможностей.

Да, это было так. Сколько раз Владимиру Ильичу приходилось растрачивать силы и время, казалось, на сущие пустяки, мелочные раздоры, ведомственные дрязги. А бестолковщина, когда простое дело превращали в проблему? А нерадивость, когда приходилось о выполнении указаний напоминать дважды, трижды, четырежды, а дело тем не менее не двигалось с места? А вопросы, которые могли быть решены на ме-

стах — в уездах, губерниях,— и почему-то все-таки не решалнсь?

Но иельзя было отмахнуться от этих дел, ие разобравшись: за личным и, казалось бы, иа первый взгляд мелким иногда стояло общественное и большое. И главиое — а что, еслн действительио человека зря обндели? Кто может и должеи помочь ему? Пусть это будет в одном случае из ста — все равио, разве можно вот так отмахиуться от всех мелких дел, бесконечных в своем потоке?

Кроме того, каждый человек, входивший в кабиет, за чем бы ои ни шел, приносил сюда живое дыханне жнзии, так или иначе тесиее связывал его, Председателя Совета Народных Комиссаров, с миллиоиамн граждан новой России...

Владимир Ильнч посмотрел иа листок с кратким перечнем дел иа сегодня, сказал секретарю:

— Передайте товарищу Васюкову, что я его приму,— ои подумал.— Примерио через полчаса. Извииитесь, что ие могу иазначить точное время, объясиите, что приму в просвете между делами.

Секретарь ушел, кивнув головой, а Луиачарский встал в иетерпении и досаде.

— Ах, Владимнр Ильич, Владимир Ильич,— заговорил ои с беспокойством, шагая по кабниету.— Не бережете вы себя. Вы — иаше общее достояиие и не имеете права так расточать свон силы.

— Неверно! — резко бросил Леиии.— Все иеверио! Ерунда! Да-с! Не расточаю, а, иадеюсь, трачу силы с пользой. И я человек, а ие «общее достояиие».— Он помолчал и продолжал: — Мы строим иовое общество нз того материала, какой достался нам от прежнего. Не все чистенькие, ие все умиеиькне! С вами одиим, с Чичериным н Красниым коммунизма не построишь! Да, да! А Васюков — это... Сотин за ннм, таких, как он! И их иужио завоевывать! Учить! Каждого каждый день. Иначе мы не победим!

Луначарскнй подиял руки: сдаюсь, сдаюсь...

— Но,— возразил он тут же,— мие горько, что вам приходится тратнть время так неразумио,— и Луначарский подумал, что вот, иапрнмер, из-за этого Васюкова не удалось пофилософствовать с Леииным иа такую интересную тему, как время.

— Да...— сказал Ленин.— Неразумио... А вы, вы-

ходит,— продолжал он другим тоном, весело сверкая озорными глазами,— вы, Анатолий Васильевич Луначарский, нарком и писатель, передовой, мыслящий человек, меня лелеете и бережете?

Владимир Ильич сделал едва заметную паузу.

— Анатолий Васильевич, батенька мой, а когда, скажите на милость, я вам направил письмо с заданием для ВФКО [1]?

— Это о чем, Владимир Ильич? — спросил Луначарский, чувствуя какой-то подвох и стараясь вспомнить об этом письме.

— Не хотелось мне сегодня заниматься нравоучениями, но уж, извините, сами виноваты! — произнес Ленин, что-то отыскивая в своих бумагах.— Так когда, Анатолий Васильевич? Не помните? Хорошо! — воскликнул Владимир Ильич.— Отлично! — Он наконец нашел нужный ему листок.— Я просил широко поставить пропаганду гидравлического способа добычи торфа через кино. И особенно в Петрограде, Иваново-Вознесенске и других местах торфодобывания. На торфе стоим, а жжем уголь!

— А-а... Да, да! — вспомнил Луначарский.

— Так! Когда же это было? — Ленин, заглянув в бумажку, сказал: — Двадцать восьмого дня, октября месяца тысяча девятьсот двадцатого года от рождества Христова. И что же? — Владимир Ильич резко повернул голову к Анатолию Васильевичу.

— Мы, кажется, затянули это дело, Владимир Ильич...— виновато сказал Луначарский.

— «Затянули»! — с ударением повторил Ленин.— Проходит три месяца. В январе двадцать первого года я прошу о том же: о пропаганде гидравлического способа добычи торфа. И что же?

Ленин весь подался к Луначарскому.

— Да, Владимир Ильич, моя вина...

— «Моя вина»! Отлично! Проходит еще три месяца, в апреле я прошу вас о том же. Через некоторое время напоминаю еще раз. Я ничего не преувеличил?

— Нет, Владимир Ильич...

— Не переврал?

— Нет...

— Ну, а как сейчас с этим делом, дорогой нарком?

[1] Всероссийский фотокиноотдел Наркомпроса РСФСР.

— Плохо, Владимир Ильич.

— Так...

Ленин, выжидая, помолчал и спросил:

— Ну, милейший Анатолий Васильевич, что вы скажете теперь?

— Черт знает что! — Луначарский махнул рукой. Глуховатым, порывистым голосом Анатолий Васильевич ругал себя: — Просто стыдно! Я проваливаюсь сквозь землю! В тартарары! Я даже не могу извиниться перед вами и просить прощения. Стыд! Позор!

Владимир Ильич, что-то помечая у себя в бумагах, наблюдал за Луначарским.

— Так должен я с вами работать или не должен? — спросил Ленин, занимаясь своим делом.— Должен, батенька мой, должен тратить время даже на вас, философа и наркома!

Владимир Ильич поднял голову и внимательно посмотрел на Луначарского: ну что он там? как?

Смущенный, Анатолий Васильевич стоял у книжного шкафа не лицом и не спиной к Ленину, а как-то боком, полуотвернувшись от него, и, не замечая того, легонько барабанил длинными пальцами по стеклу.

— Но раз я должен с вами работать,— продолжал Ленин полусерьезно-полушутливо,— то я вас и накажу примерно. Вот стойте так и мучайтесь. Пусть вас грызет ваша собственная совесть.— И Ленин подчеркнуто демонстративно быстрым движением раскрыл словарь Брокгауза и Эфрона и, найдя там нужное слово, стал что-то писать.

Луначарский стоял по-прежнему.

И когда Ленин решил продолжить с ним разговор о делах Наркомпроса и тем самым как бы дать понять, что инцидент исчерпан, вспыхнула лампочка: кто-то звонил по телефону. Некстати! Владимир Ильич снял трубку.

— Слушаю... Да...— сказал он.— Здравствуйте...— Потом Ленин долго слушал и наконец спросил: — Что делать? А как вы сами полагаете, что нужно делать? Не знаете? Ага! Вы над этим думали полгода и ничего не решили, а мне предлагаете дать ответ сию минуту? Нет, товарищ Смолянский! Расскажите мне лично и подробно, и, может быть, только после этого я смогу вам что-нибудь посоветовать. До свидания.

Ленин положил трубку и сказал сердито:

— Рецептов требуют! Все еще думают, что они есть на все случаи жизни! — и, повернувшись в сторону Луначарского, воскликнул: — Анатолий Васильевич!

Подойдя к Анатолию Васильевичу и дружески улыбаясь, Ленин дотронулся до его плеча. Тот повернулся, лицо его было совершенно преображено.

— Вы знаете, Владимир Ильич, о чем я сию минуту думал? — спросил Луначарский тоном, который предвещал нечто необычайное.

— Догадываюсь, Анатолий Васильевич,— улыбнувшись, ответил Ленин, уверенный, что Луначарский продолжал казнить самого себя или думать о делах, за которые получил нагоняй.

— Это же конфликт! — провозгласил Луначарский.— Конфликт нашего времени! — И вдруг, захваченный какой-то мыслью, чрезвычайно обрадовавшей его, живо и горячо воскликнул: — Советский человек, осознающий долг больше, глубже всех, и люди, которых он подтягивает до своего уровня! Это тема для большой, интересной и оригинальной драмы! Обязательно напишу! Гениальная и новая тема! Драма и счастье идущего впереди. Великолепная вещь! Построена на совершенно новых, принципиально новых положениях!

Владимир Ильич, который вначале немного даже оторопел, вдруг громко и заразительно рассмеялся, откинувшись назад и заложив большие пальцы рук за проймы жилета, словно стремясь выскочить, освободиться от пут, тесноты пиджака.

— Ну и Анатолий Васильевич! — сказал он, все еще продолжая смеяться.— Значит, конфликт? Даже успели обдумать драму? «Новая тема... Новые принципы...» А я-то!.. Я-то...— Ленин продолжал смеяться уже над самим собой.— А сколько актов? — вдруг спросил он.

— Актов пять, Владимир Ильич. Действие происходит в Москве.

— А действующих лиц?

— Десять — двенадцать, Владимир Ильич. Что еще надо? Шекспир лопнет от досады!

— Непременно лопнет! Нет, художник в вас превыше всего... Пишите, Анатолий Васильевич, свою драму обязательно! — уже совершенно серьезно закончил

Ленин. И вдруг добавил тихо: — Обидно только, что они у вас... не первоклассны. Шекспир все-таки, хотя и лопнет...

Анатолий Васильевич вскинул брови и развел руками: мол, что поделаешь!

А Ленин уже сел за стол: новые дела...

Уходя, Луначарский взглянул на Владимира Ильича, на окна, на стол, заваленный бумагами и книгами, за которым с утра до поздней ночи работал Ленин, и подумал: «Писать в свое удовольствие? А вы будете трудиться для всех? У каждого есть страсти и отдушина от забот. Только у вас страсть и отдушина — сами дела. Мы делим время и силы между обязанностями и чем-то еще, вы ничего не делите, вы весь в одном... Писать драму...»

Анатолий Васильевич чуть заметно грустно улыбнулся, зная, что все-таки он будет ее писать. Будет...

Закончив разговор с Луначарским, Владимир Ильич нашел листок с кратким перечнем дел на сегодня... Да, рабочий день уже подходит к концу, а два серьезных дела так и остались на бумаге: пришлось дольше, чем можно было, объясняться с Луначарским, а сейчас необходимо еще раз поговорить с Васюковым. И так с каждым человеком, каждый день, на многие годы начавшейся культурной революции. Для того чтобы построить новое общество, нужно прежде всего перевоспитать людей в духе этого общества.

Луначарский и Васюков... Какие разные люди! Но в меру своих сил они делают одно общее дело. Да, рабочий день на исходе... Этими двумя вопросами придется заняться ночью, после заседания Совнаркома и работы над статьей... Часа, так, в два...

Ленин отложил в сторону листок и, вызвав секретаря, попросил пригласить товарища Васюкова, председателя Грибовского волисполкома.

ЕЛЬ

Темно-синий мощный «роллс-ройс», на колесах с тонкими проволочными спицами, с обычной скоростью — тридцать-сорок километров в час ехал по уз-

кому Серпуховскому шоссе, слегка подпрыгивая и покачиваясь на неровностях, хотя Степан Казимирович Гиль, хорошо изучивший путь от Москвы до Горок, старательно объезжал выбоины.

Ленин сидел рядом и спокойно смотрел на дорогу.

Машина рвалась вперед, и казалось, с каждой минутой дела Совнаркома оставались все дальше и дальше, все дальше и дальше... Путь от Кремля до Горок занимал ровно час. Горки означали отдых.

Но дела и заботы тянулись за Лениным. Некоторые, правда, постепенно отставали, но от других Ленин никак не мог отрешиться.

Ленин работал, как сердце, все время.

Работал днем, иногда просыпался ночью, вставал с постели и звонил по телефону, неожиданно обрывал отдых на прогулке: только что оформилась новая мысль, которая зародилась давно,— в случайном разговоре, просмотренной заметке, телеграмме, в речи на заседании Совнаркома...

В Горках можно было работать меньше и даже совсем не работать. Один день в неделю. Но то, что называлось «неработой», не могло быть полным отдыхом. В часы, самые безмятежные, вдали от Кремля, от усадьбы Горки, где-нибудь в поле под стрекот кузнечиков или в полной тишине, вдруг яснее становилось то, о чем думалось днем, неделю, год или пять лет назад. Иногда — десять... Да, ему уже пятьдесят, и десять лет не такой уж большой срок... Мозг какой-то своей частичкой продолжал работать и в такие часы.

И все-таки Горки — отдых.

Один вид большого дома в старом парке над рекой Пахрой приносил радость, освобождал от усталости. Природа, разум и труд, соединившись в согласии, создали великолепный ансамбль: светлый дом с колоннами и двумя маленькими флигелями по бокам, аллеи вековых деревьев с беседками и простыми скамейками — все было приспособлено для отдыха и было по-настоящему красиво.

Горки — великолепный отдых!

...А машина мчалась вперед, и перед Владимиром Ильичем развертывались знакомые, но всегда приятные и всегда чем-то новые пейзажи.

За Сабуровом — Орехово, за ним — Апарники, по-

том Петровское... Промелькнет березник, небольшой сосновый бор, и почти сразу — поворот налево.

Поворот собственно уже и есть въезд, начало Горок. Прямая аллея из берез и сосен через несколько минут приведет в парк, а потом к дому.

Откинувшись на спинку сиденья, Владимир Ильич отдыхал, всем существом принимая сверкание летнего дня, отблеск солнца на листьях берез, радуясь ромашкам и клеверу, подымающейся ржи, спокойному и глубокому синему небу.

Когда автомобиль остановился у дома, Владимир Ильич к себе не пошел.

Из машины сразу в дом — преступление!

Сунув руки в карманы брюк, Владимир Ильич, как обычно, зашагал по аллеям. Хорошо! Он дышал глубоко; свежий, чистый воздух наполнял грудь; под высокими сводами аллей было тепло, но не жарко и совершенно тихо.

Незаметно, как часто бывало, он оказался на своей любимой аллее. От балюстрады дома через ряды серебристых елей, лиственниц, туй, уютно ограничивавших мир, она приводила на площадку с белой беседкой, откуда окрестности распахивались на десятки верст. Перед Владимиром Ильичем был пруд, Пахра, деревня Горки; окна в резных наличниках смотрели прямо на него. За деревней — просторы и просторы, а вдали отлично, как всегда в ясные дни, виден город Подольск (двадцать верст!), где одно время жил младший брат Дмитрий.

Какой простор и широта! Благодать...

Ленин опустился на скамью, Гиль, управившись с машиной, сел рядом.

У Владимира Ильича всегда было о чем поговорить с любым человеком, даже с тем, с кем только что проехал целый час в машине. Расспросив шофера, приходится ли ему, когда он едет порожняком, подвозить попутчиков и кем они в большинстве своем оказываются, Владимир Ильич вдруг умолк...

Сначала он смотрел не шевелясь, потом, вглядываясь, подался вперед, сильнее сощурил глаза. Ему все не верилось, что это может быть... Нет, этого не может быть! Нет, нет!

Наконец, словно проверяя себя, спросил:

— Посмотрите, Гиль, где же другая ель?

В самом конце аллеи, завершая ее, десятки лет стояли, возвышаясь над рядами деревьев, две огромные ели.

Владимир Ильич заметил их с первого приезда в Горки. Мощь, высота, стройность этих великанов не могли не привлечь его внимания.

— Вот это деревья! — не раз говорил он, восхищаясь.— Просто чудо!

Теперь стояла лишь одна ель...

Быстро поднявшись, Владимир Ильич направился в конец аллеи.

Отдых кончился...

— В прошлый приезд стояли оба дерева,— сказал Гиль, шагавший рядом.

Ленин быстро шел вперед.

Дерево было спилено, казалось, несколько часов назад. На траве, на дорожке еще валялись свежие опилки, щепа (подрубали, чтобы ель упала в нужном направлении), и срез пня тоже был свежим, совершенно чистым, он не успел даже обветриться и подсохнуть. От него шел сильный запах смолы и спирта.

Как часто бывало, от возмущения и горечи Ленин с минуту не мог говорить и молча стоял, словно у могилы друга.

— Кто это посмел сделать? — наконец проговорил он.— Это же варварство! Надо выяснить, чьих рук это дело. Мы этого так не оставим.

Распоряжение срубить ель, как вскоре выяснилось, отдал заведующий санаторием Горки, которому ель показалась засохшей и ненужной. Владимир Ильич, узнав об этом, просил немедленно составить протокол по всей форме.

Об отдыхе уже не могло быть и речи.

Ленин ушел к себе и, дождавшись протокола, приступил к работе.

Суровый, сосредоточенный, он быстро писал, и на бумагу строчка за строчкой ложились слова:

«Протоколом тт. Беленького, Иванычева и Габалина установлено, что по распоряжению заведующего санаторием тов. Вевера срублена 14 июня 1920 г. в парке санатория совершенно здоровая ель.

За допущение такой порчи советского имущества

предписываю подвергнуть т. Вевера, заведующего санаторием при советском имении Горки,

аресту на 1 месяц.

Приговор привести в исполнение Подольскому уездному исполкому, причем

(1) если будет обнаружено, что т. Вевер взысканиям раньше не подвергался, то по истечении недели ареста освободить его условно с предупреждением, что в случае нового допущения неправильной рубки парка, аллей, леса или иной порчи советского имущества он будет не только подвергнут, сверх нового наказания, аресту на 3 недели, но и удален с занимаемой должности».

Почти без помарок, без остановок Владимир Ильич продолжал писать, предусмотрев, казалось, все — и меру наказания, и свое собственное незнание, подвергался ли или не подвергался виновный раньше взысканиям, и возможное в связи с этим послабление. Ручка бежала дальше:

«(2) Срок для приведения приговора в исполнение определить Уисполкому — по соглашению с Уземотделом или правлением Совхозов так, чтобы сельские работы и хозяйство ни малейшего ущерба не потерпели.

Поручаю т. Беленькому объявить это постановление т. Веверу и его помощникам, взяв с них подписку, что им это объявлено и сообщено, что следующее подобное нарушение повлечет наказание всех служащих и рабочих, а не только заведующего.

Уисполкому поручаю донести мне о назначенном им сроке для отбытия ареста и о самом отбытии.

14.VI.1920. Председатель Совета Труда и Обороны

В. Ульянов (Ленин)».

На следующий день, гуляя по парку, Ленин избегал аллеи, где от красавца дерева остался только пень. И в очередной приезд в Горки Владимир Ильич обходил это место.

Двадцать второго июня у Владимира Ильича был обычный рабочий день. Ленин готовился к заседанию Политбюро ЦК РКП(б), где среди прочих вопросов должны быть обсуждены тезисы и проект резолюции о Туркестанской республике.

Работа над проектом постановления подходила к концу. Ленин дописывал на листке последние пункты.

Перечитав написанное, Ленин отложил листок в сторону — дело сделано. Одно из доброй сотни. Какое следующее?

...Второй конгресс Коминтерна... Тезисы по национальному и колониальному вопросам... Задачи конгресса... Когда взяться за тезисы и доклад?.. Пилсудский до сих пор хозяйничает в Белоруссии... Продовольственный вопрос в Москве и Петрограде...

Все это пронеслось за мгновение, которое потребовалось, чтобы отложить листок в сторону и раскрыть папку с почтой. Обычный ворох неотложных дел... Владимир Ильич быстро перелистал бумаги, как бы заглядывая вперед: с чем ему сегодня придется иметь дело? И вдруг заметил подпись: «Заведующий санаторией Горки...»

«Ель! — вспомнил Ленин и, придерживая бумаги, чтобы не рассыпались, вынул из середины письмо заведующего.— Неужели еще оправдывается?»

В письме на имя Председателя Совета Народных Комиссаров заведующий санаторием Горки объяснял свой поступок. Очевидно, какое-то ходатайство заведующий направил Подольскому уездному исполкому: последний не привел предписание Ленина в исполнение. Ждал...

Владимиру Ильичу стало ясно, что ни заведующий, ни товарищи из Подольского исполкома не поняли — ничегошеньки не поняли — о чем идет речь. И рассуждали они примерно так: «Из-за одной какой-то елки человека, да еще коммуниста, месяц держать под арестом!»

«Держать! Месяц! А если нужно — и больше!»

Простить, дать волю — многое загубят, многое уничтожат, сведут леса, испоганят природу, испохабят красоту. И зачем тогда все?

Подольский исполком, все исполкомы, губкомы и предстоящий конгресс Коминтерна, и союз рабочих всех стран, и обеспечение победы в войне с белополяками, и забота о хлебе для Москвы и Питера — все, что ни делалось, все в конце концов для мира и красоты на земле, для людей. И он — лишь чернорабочий в этой многотрудной, всепоглощающей борьбе на десятилетия...

Ни заведующий, ни товарищи из Подольского исполкома, будь их там тысячи, не могут восстановить навсегда утраченной красоты — плода труда людского и многих лет жизни русской природы.

«Не прощать!»

И Ленин взял лист бумаги и написал телефонограмму в Подольский уездный исполком:

«22.VI.1920 г.

Рассмотрев еще раз мое постановление о т. Вевере в связи с его добавочными объяснениями, сообщаю, что мое постановление оставлено мной в силе и подлежит исполнению».

И подпись «Предсовнаркома Ленин» выглядела особенно решительной.

НЕВЫПОЛНЕННЫЙ ДОЛГ

Стоял веселый солнечный день. От широкой, поросшей буйной и высокой травой Китайгородской стены до Большого театра и бывшего магазина Мюра и Мерилиза вся площадь была заполнена народом. На зданиях висели красные полотнища, кое у кого в петличках пиджаков виднелись красные бантики, легкий ветерок шевелил кумач знамен...

Провожали красноармейцев и добровольцев, отправлявшихся на фронт. Белополяки ворвались в Западную Белоруссию и Украину, заключили союз с Петлюрой и, перейдя в наступление, подходили к Киеву.

Вокруг сквера у запущенного, обшарпанного здания Большого театра были построены красноармейские части, пришедшие сюда со своими знаменами и оркестром.

Ближе к Малому театру собрались добровольцы.

Вместе с красноармейцами они должны были остановить врага.

Добровольцы отправлялись на фронт наспех, в пути вооружаясь, в пути обмундировываясь, и нередко на передовую прибывали в своих зипунах, пиджаках, изношенных шинелях, сохранившихся со времен мировой войны.

На митинг, перед отправкой на фронт, должен был приехать Владимир Ильич Ленин. И люди, стоявшие в разных концах площади, иногда поднимались на цыпочки, чтобы посмотреть — не появился ли? Взоры их обращались к высокой дощатой, наспех сооруженной трибуне между двумя театрами, на которую вела крутая лестница из свежего теса.

Но Ленина еще не было...

У трибуны стоял на тяжелом деревянном штативе старый киноаппарат — аккуратный металлический ящичек с тубусом объектива и ручкой. Возле кинокамеры ходил высокий человек в черном пальто, длинном и узком,— оператор Федотов. Он ходил, прикидывая, каким планом, с какого места лучше всего снимать Владимира Ильича. Оператору было о чем подумать. Кассета его заряжена единственным и последним куском пленки, который хранился в киноотделе Моссовета как неприкосновенный фонд для чрезвычайного события. И вот это событие наступило. Кроме того, у оператора не было длиннофокусного объектива, а это значило, что снимать Ленина нужно с очень близкого расстояния, с двух-трех метров.

Федотов представил себе Ленина, взошедшего на трибуну, отмерил от нее метра два и установил аппарат.

Едва оператор успел это сделать, как приехал Владимир Ильич и быстро поднялся на трибуну. Припав к аппарату, оператор навел на фокус. В кинокамере появилось ясное и четкое изображение человека, который снял кепку и в порыве наклонился вниз, к добровольцам и красноармейцам.

— Товарищи! — громко сказал Владимир Ильич.

Федотов сам не заметил, как начал крутить ручку.

— Вы знаете,— продолжал Ленин,— что польские помещики и капиталисты, подстрекаемые Антантой, навязали нам новую войну. Помните, товарищи, что с польскими крестьянами и рабочими у нас нет ссор, мы польскую независимость и польскую народную республику признавали и признаем.

Ленин говорил о том, что поведение бойцов на фронте должно доказать, что они — солдаты рабоче-крестьянской республики и идут к польскому народу не как угнетатели, а как освободители.

Федотов снимал небольшими кусками наиболее

выразительные, характерные жесты Ленина, в перерыве между съемками смотрел на людей, густо заполнивших площадь, и выбирал общие планы, необходимые для перебивок. Нужен был и план с верхней точки. Оператор поднялся на несколько ступенек трибуны и осмотрел площадь от «Метрополя» до сквера с фонтаном, от трибуны до Китайгородской стены. Взоры всех были обращены к Ленину.

Когда Владимир Ильич, зажав кепку в правой руке, резко взмахнул ею и наклонился с трибуны к народу, Федотов опять завертел ручку и только теперь заметил, как немилосердно трещал его старый аппарат. Оператор подумал: вот сейчас Ленин, недовольный, повернется к нему...

Первое, что хотел сделать Федотов,— прекратить съемку. Но он знал, что это его долг — стоять здесь и снимать. «А в том, что трещит аппарат, я не виноват: другого нет».

Потом ему пришла мысль отодвинуться от трибуны подальше, тогда треск и шум не так сильно мешали бы оратору. Но в этом случае не удастся снять Ленина крупным планом — пропадет живая игра его глаз, губ.

«Нет, нельзя ни прекращать съемки, ни отодвигаться. Нужно стоять здесь. Здесь — и снимать!»

И Федотов снимал. Он закусил губу и, поддерживая старый аппарат, продолжал крутить ручку.

«Черт бы подрал эту мельницу!» — ругался он про себя, боясь встретиться глазами с Лениным. Но это случилось. Владимир Ильич взглянул в его сторону. Взглянул ли он случайно или нарочно, но оператору показалось, что с недовольным видом.

«Мешаю...»

Но и сейчас отступать от трибуны или прекращать съемку Федотов не мог. Он продолжал снимать, зло сжимая ручку трещавшего аппарата.

Ленин взглянул на него еще раз. И опять, как казалось оператору, взглянул недовольно. Федотов, делая паузы, продолжал снимать. «Что я могу сделать?» — подбадривал он сам себя.— Мне ведь нужно снимать». Он видел, как люди, пришедшие сюда перед отправкой на фронт, получали от Ленина то, что было так необходимо в этот момент. Владимир Ильич был источником мужества, стойкости, решительности.

Именно эти черты хотелось запечатлеть Федотову в образе руководителя Советской республики. Они дали бы, казалось оператору, наиболее точный портрет вождя и современникам и потомкам.

И Федотов продолжал делать свое дело.

Но здесь случилось самое страшное, чего так боялся оператор: пленка кончилась. Он сделал еще несколько оборотов ручки. «Да, холостой ход, крутить легче, и пустой механизм трещит по-особенному металлически сухо... Все!»

Федотов вздохнул и, раздумывая, успокаивая себя, решил, что все-таки ему удалось выполнить свой долг: наиболее интересные моменты речи он снял. Снял как раз те, которые ему хотелось снять; люди увидят Ленина — сурового, Ленина — решительного, Ленина — беспощадного к врагам... Вот таким, каким видели его эти красноармейцы и добровольцы.

Вскоре Владимир Ильич кончил свое выступление, и Федотов почувствовал себя даже счастливым: уж если он что и недоснял, то совсем маленькую толику, совсем крохотную!

Под шум аплодисментов, под мощные звуки «Интернационала» Владимир Ильич спустился с трибуны и направился в сторону оператора.

«Ну вот, сейчас мне и попадет...»

Проходя мимо Федотова, Ленин посмотрел на киноаппарат и, словно что-то вспомнив, улыбнулся оператору.

Тот приободрился и сказал:

— Извините, Владимир Ильич... Я вам мешал говорить... Уж очень старая камера...

Ленин остановился, выслушал, с интересом взглянул на аппарат.

— Ничего, ничего... Не волнуйтесь,— сказал он.— Каждый должен делать свое дело...

Владимир Ильич одобрительно взглянул на Федотова и неожиданно, разделяя слова, не без озорства, повторил, проходя дальше:

— Каждый должен делать свое дело!

Но через минуту, что-то заметив, Ленин снова остановился, хотя и спешил куда-то. Федотов, заинтересованный, сделал несколько шагов в сторону и увидел девочку лет четырех. На ней было распахнутое пальтецо, старенькое платьице с выцветшими, когда-

то веселыми цветочками. Волосы ее были тщательно уложены поровну в каждую сторону. У рта девочка держала не совсем чистый кулачок и, явно не представляя себе, что здесь происходит, без особого интереса смотрела на всех поочередно с одинаковым вниманием. Посмотрела на военного, проходившего мимо, на парня в пиджаке, шел мимо Ленин — посмотрела на Ленина.

Владимир Ильич наклонился к ней и погладил ее мягкие волосы.

Федотов, едва заметив, как Ленин подошел к девочке, по профессиональной привычке бросился к аппарату. И сейчас же остановился: в кассете нет ни метра пленки.

Девочка, которая не отпускала кулачка ото рта и все время озиралась по сторонам, сейчас подняла голову. Увидев склонившегося над ней Ленина, она доверчиво улыбнулась. Владимир Ильич тоже улыбнулся. Девочка засмеялась и, разжав кулачок, потрогала пуговицу на пиджаке Владимира Ильича. Тот снова погладил девочку по голове и, улыбнувшись, пошел дальше.

А Федотов в досаде и негодовании на самого себя даже взмахнул кулаком. Ведь так недавно он считал, что честно выполнил свой долг!

«Грозный, решительный, суровый»! — повторял он свои слова, только минуту назад, казалось, полностью исчерпывавшие образ Ленина.— А где вот это? Где?»

РАЗГОВОР В ЛЕСУ

Двое беседовали.

Один — седой старик, с десятилетнего возраста трудившийся на земле и сейчас, на восьмом десятке, подходивший к концу своего пути на ней,— не верил в возможность справедливости в этом мире, другой — Ленин — долго, но безуспешно доказывал, что она непременно будет.

Встретились они случайно.

В субботу, в конце рабочего дня, разложив на столе карту Московской губернии, Владимир Ильич раз-

глядывал ее, выбирая мало знакомое ему предместье или уголок Подмосковья.

Ни шофер, Степан Казимирович Гиль, уроженец Петербурга, ни сам Владимир Ильич не знали как следует окрестностей. И хорошо было в субботу отправляться наугад за пятьдесят — шестьдесят верст от шумной, пыльной столицы и, бродя по лесу, отдыхать, открывая для себя красоту все новых и новых мест.

В этот раз Владимир Ильич добрался до одной станции на северо-западе от Москвы.

Оставив машину и шофера, он незаметно для себя с ружьем за плечами углубился в лес.

Ленин чувствовал себя прекрасно. Дела шли в общем неплохо. Разгромлены Колчак, Деникин... Разрабатывается план электрификации... Советская власть укрепляется повсеместно... А всего несколько лет назад о ней никто в мире, кроме нескольких человек, не имел понятия. Да и сам Ленин, скитаясь по Европе в годы эмиграции, не мог полностью представить того, что сегодня уже существует наяву, хотя любил мечтать и умел фантазировать.

Дела идут...

И вот он снова в лесу. Как всегда, природа не требовала ничего, кроме любви к себе, а он давно любил ее, дружил с самого раннего детства, и поэтому ему было так легко и хорошо с ней...

...Сухая, звонкая осень.

Дубы стали коричневыми, хорошо прожаренными на солнце. Березы — темно-желтыми. Осина пестрела ярче всех чистым насыщенным оранжево-красным цветом. Некоторые деревца ее успели оголиться, обнажив тонкие сучья. Хотя было совершенно безветренно, тихо, листья на них трепетали и крутились, словно привязанные на нитках.

Трава усыпана опавшими листьями. Быстрее всех чернели листья хлипких осин. Они словно штампом выбиты из покореженного на пожаре, сожженного кровельного железа. Сухие, высушенные до хруста листья берез и редкие листья дубов топорщились, похожие на лодки, на корабли, затейливые и непонятные суда, которые унесет ветер.

Пахло сеном, и от сухой, прокаленной листвы — солнцем.

На небольшой полянке Владимир Ильич увидел старика лет семидесяти — семидесяти пяти. С большой плетушкой-корзинкой в жилистой с коричневыми крапинками руке старик собирал грибы. Он легко наклонялся, шуршал сухой листвой, что-то тихо и спокойно бормоча себе под нос.

Владимир Ильич подошел поближе и поздоровался:

— Здравствуйте, дедушка!

Старик, сидевший на корточках, обернулся и, не очень хорошо слыша, сначала взглянул в одну сторону, в другую и только потом увидел Ленина. Приставив руку козырьком к глазам, защищая их от солнца, старик внимательно осмотрел Владимира Ильича:

— Здравствуй, милок!

— Довольно удачно, я вижу! — проговорил Владимир Ильич, заглянув в плетушку, до краев наполненную крепкими, отборными боровиками, и подсаживаясь к старику на траву.— И поздно выбрались, и большой улов!

— Обычно,— ответил старик, тоже взглянул на грибы.

— А я думал, ребятишки поутру все обчищают,— продолжал Ленин.

— Ребятишки не могут все обчистить. Да и никто не может все обчистить,— уверенно, но мягко возразил старик, доставая из кармана штанов кисет.— Угощайтесь,— развязав, он протянул его Ленину.

— Благодарю, некурящий.

— Это хорошо,— заметил старик.

— Махорка? Самосад? — поинтересовался Ленин, указав на кисет.

— Самосад,— ответил старик, начиная свертывать цигарку.— Махорку и по престольным праздникам не видим.— И он вздохнул.

Владимир Ильич терпеливо ждал. Он снял ружье и прислонил его к молоденькой осинке.

Старик вынул из кисета кусок напильника, желтовато-зеленый трут и кремень.

— Хотите спички? — предложил Владимир Ильич, доставая коробок.

Старик взглянул на Ленина, на коробок, сказал:

— Благодарствую.— И ловкими, точными удара-

ми начал высекать искру, чиркая напильником о кремень.

А Владимир Ильич внимательно, с большим любопытством и горечью следил за этим процессом.

Когда задымился трут и старик, подув на него, наконец прикурил, Владимир Ильич предложил, протягивая старику коробок:

— Ну, а теперь все же возьмите, дедушка. Не вам, так хозяйкам пригодится.

Старик взял коробок, посмотрел, много ли там спичек, и положил в кисет.

— Спасибо тебе, милок.

Владимир Ильич кивнул и спросил:

— Так почему ребятишки не могут все обчистить и никто не может все обчистить?

— Известно — разные люди разное видят.— Старик затянулся.— Идет впереди Сашка, мой внучок, я — за ним по стежке. Куда уж глазастый и специалист по грибам, а и он находит, и я нахожу, только в разных местах. Он-то смотрит с аршина, а я — с двух. Разница!

— Очень точно! — воскликнул Владимир Ильич.— Очень!

— Значит, из Москвы? — не отвечая на лестное для себя замечание, поинтересовался старик, с нескрываемым любопытством присматриваясь к случайному встречному.

— Из Москвы.

— На охоту, значит, в наши места? Так... Так... Места отменные.

— Места отличные,— согласился Владимир Ильич.— А как живете?

— Да как сказать? — Старик затянулся, помолчал и продолжал неторопливо:— Сказать, чтоб очень хорошо, нельзя.— Он еще помолчал и добавил, разводя руками: — В надеждах...

— На что? На лучшую жизнь? — подхватил Владимир Ильич.— А придет она? Как скоро? Что у вас говорят? Как думают?

— Да все ли, милок, думают? Живут себе, пока живется.

— Ну, а все-таки?

— Думают, что будет! А как же! — В тоне старика послышалась ирония.— Филька Рязапкин кричит нам

с красной трибуны, что завтра вступим в светлое царство мирового коммунизма и деньгами будем печки топить. Я, по правде, милок, и в церковь стал реже заглядывать. Зачем?

— Так! — снова подхватил Владимир Ильич.— В церковь реже заглядываете, а деньги небось не подумали выбросить? — Он рассмеялся.

— Денег мало,— сказал старик,— но теми, что есть, не бросаемся.

— Еще бы!

Владимир Ильич улыбнулся и решительно проговорил:

— Завтра, дедушка, в коммунизм не вступим. Нет, с лаптями, с онучами,— Владимир Ильич кивнул на лапти старика,— туда не дойти. С сохой тоже, даже с плугом — нет...— И поинтересовался: — А у вас чем пашут?

— В общем-то плугом. Но и сошки еще есть.

— И это — под Москвой! — Ленин покачал головой.— Сколько дворов в деревне?

— Тридцать семь, тридцать осьмой на той неделе сгорел.

— Так. А лошадей?

— Два десятка.

— Керосин и лучина?

— Они самые. Летом — что, а зимой вот! — И старик помотал головой.

— Больница, библиотека есть?

— Где там! — старик махнул рукой.

— И работаете еще на кулачков? А?

— Бывает...

— Вот видите! Так что товарищ Рязанкин не совсем прав. Поднять промышленность, транспорт, наладить торговлю, электрифицировать страну — вот что еще надо сделать на пути к коммунизму... И будет еще трудно, и жертвы понадобятся немалые, и борьба предстоит суровая. Но мы победим! Победим непременно!

— Горькие слова говоришь...— заметил старик.— Игра такая есть, шахматы называется... Знаешь небось?

— Знаком, дедушка.

— Так вот, там одни ходят прямо, а другие — зигзагом, как молния, или как бы из-за угла. Вот ты ми-

лок, ходишь прямо, а Филька Рязапкин — зигзагом. Его речи, как валерьянка,— успокаивают, а сил не прибавляют.

— Похоже, похоже,— одобрил Владимир Ильич.— А вы вот что сделайте: как только товарищ Рязапкин начнет свою речь о царстве коммунизма, вы ему заметьте: «Ты нас не агитируй, а с нами начни строить больницу, кооперацию!» Меньше фраз, больше дела!

— Да, милок, верно,— взглянув с уважением на этого рыжеватого человека в мятой кепке, заметил старик.

— Вот тогда получится. Непременно выйдет,— продолжал уверенно Ленин.

— Хотелось бы...— сказал старик.— Хотелось бы.— И посмотрел прямо перед собой.

Солнце уже клонилось к закату, сильнее сдвинулись тени, теплый осенний день угасал. Застыл прозрачный воздух, перестала трепетать даже осина, спокойно отдыхала земля.

— Ну, так как? — спросил Ленин, с прищуром глядя на старика.— Будет у нас хорошая жизнь, как, по-вашему, дедушка?

— Должна быть, как не быть...

Владимир Ильич улыбнулся:

— Не верите?

— Восьмой десяток лет на земле, а и сам не видел и от дедов-прадедов не слыхал, чтоб справедливость была,— начал старик свою повесть.

Владимир Ильич снял кепку, пригладил волосы на затылке, снова надел. Сел поудобнее.

— Зайцы-то у тебя не убегут? — осведомился старик, кивнув на лес.

— Нет, нет, мои не убегут.

Ленин приготовился слушать.

— Так что ж... Вот говорят,— продолжал старик,— люди жили миллионы лет до нас. Так, что ль, или врут для красного словца?

— Жили,— подтвердил Ленин.

— Жили,— установил старик.— И, думаю, жить хотели тоже хорошо.

— Несомненно,— одобряя, подтвердил Владимир Ильич.

— Хотели, а ведь не получалось. Почему же теперь получится?

Ленин вслушался, повторил медленно:

— «Не получалось... Почему же теперь получится?» Отличный вопрос! Совершенно справедливый и логичный! «Не получалось... Почему же теперь получится?!»

— Уж больно много всего видел я на своем веку. Живу на земле восьмой десяток,— неторопливо продолжал старик,— не все знаю, что было раньше, но и при мне, милок, чего только не делали, чтоб жить лучше.

— А что именно? — живо спросил Владимир Ильич, подаваясь к старику.

Старик послюнявил палец, загасил малюсенький окурок и, растерев его, выпотрошил остатки табака в кисет, потом затянул его и продолжал:

— Ведь я, милок, еще в крепостное время жил. Помню все. Бунтовали мужики, роптали, хотели послаблений, видишь ли... Потом волю объявили.

— Лучше стало?

— Как сказать... Помню, бабка моя в святую Киево-Печерскую обитель паломничала и меня с собой брала. Это, милок, восемьсот верст своими ногами, а пища — вода из колодца да подаяние. Мать ходила, старуха моя также... Две дочери паломничали... Тоже вот хорошей жизни хотели... Справедливости! Все было...

— И что же? — спросил Владимир Ильич и вскинул голову.

— Бабка моя умирала легко: сподобилась, как и все в роду, побывала у святых угодников...

— Так!

— В пятом годе, милок, помещику своему петуха под крышу пустили. Именьице, конечно, разграбили. Мол, знай, что и у нас сила есть. Вздохнули было, обрадовались, а потом к нему же на поклон ходили. Бунтовали, жгли, а толку?

Владимир Ильич недовольно кашлянул.

— А в осьмом году учитель наш с графом Львом Толстым переписку вел и к смирению призывал. В девятом призывал... В десятом... Хороший человек, рубашку готов последнюю бедняку отдать, последний кусок хлеба... Но разве у него власть?.. В четырнадцатом, в империалистическую, убили у меня сына. Вроде как за отечество, за нашу жизнь, а лучше она не ста-

ла. А доктор у нас в соседнем селе был! Справедливейший человек! К больному за тридцать верст пешком ходил в любую погоду. Ему бы законы писать! Да вот не случилось.

Старик глубоко вздохнул.

— Были, были хорошие люди, да власть не у них. Вот в чем беда!

Слегка передвинулись, удлинились тени. По земле, насыщенной ароматом сухой листвы и цветов, пробежал первый вечерний холодок. На поляну выскочил заяц, замер, какой-то оторопелый и съежившийся. Старик едва успел указать Владимиру Ильичу, который сидел к зайцу боком: «Гляднь-ка», как тот прыснул в кусты, из кустов в лес. Только ветви чуть качнулись.

— Упустил,— произнес старик с сожалением.— Говорил я тебе! А зайчишка ничего был!

Владимир Ильич посмотрел вслед и чуть заметно улыбнулся:

— Да, прямо на ружье бежал. Сейчас он ходит по лесу и рассказывает всем, какой глупый охотник сидит на поляне. А?

— Неретивый охотник — не беда! Главное, чтоб человек был.— Старику явно нравился этот случайный собеседник.— Вот ведь как выходит в жизни, милок...— проговорил он, возвращаясь к прерванному разговору.— Чего только не делали, а не получалось. Хотя все правильные слова говорили: монахи, учитель, доктор, барин наш Бенедиктов, вечная память ему...— Старик стал снова закуривать.

— Спрашивается, почему получится теперь? Могу вам ответить, дедушка,— решительно сказал Владимир Ильич.— Не все, что делали, пошло прахом. Не знаю, как паломничество в Киево-Печерскую лавру, сильно сомневаюсь, что оно продвинуло нас вперед,— Владимир Ильич улыбнулся.— Но вот выступления народа даже в стародавние времена, а тем более в пятом году — продвинули.

Старик внимательно слушал, дымил, забывая стряхивать пепел, а Ленин простыми словами рассказывал ему, что вся история человечества есть непрерывная борьба за счастье, за справедливость на земле.

Старик курил и слушал. Ему была чем-то удиви-

тельна, хотя в общем и понятна, прозрачная речь случайного встречного, да и сам он, простой, обходительный, с интересом беседовавший с ним, как никто за многие годы, нравился старику.

— Так, так, так,— заинтересованно проговорил он, озабоченно поглаживая бороду. Во всем многообразии событий прошлого, казавшихся ему случайными, теперь начала открываться какая-то незримая прочная связь.— Значит, не зря?

— Не зря,— подтвердил Владимир Ильич.

— Вот ведь как! — удивляясь, воскликнул старик. Он подумал и спросил: — Допустим, не зря. А дальше?

— А дальше, дедушка, Октябрьская революция, и власть оказалась в наших руках. Потому-то теперь и получится. Рабочие и крестьяне стали хозяевами своей жизни. Установление справедливости на земле теперь зависит от всех нас. Вы не согласны?

Против ожидания старик нахмурился и стал смотреть на траву. Стукая пальцем по плетушке, он молчал, не желая, видимо, спорить и тем самым доставлять неудовольствие хорошему человеку.

— Вы не согласны?

Старик развел руками: ну как сказать...

— С чем же вы не согласны? — допытывался Ленин.

— Слова правильные... Все верно... Я всей душой — за. Землю — мужикам, заводы — рабочим, войне — конец. Советская власть — власть трудового народа... Только смотри, во что они превращаются, слова твои: стоит какой-нибудь начальничек в галифе с Черное море и ради Советской власти требует, вишь, продразверстку у вдовы. «Мы, говорит, тебя в бараний рог согнем, а заставим служить Советской власти и мировой голытьбе!» Разговаривают со своим же братом-мужиком и наганами размахивают. А слова? Слова, милок, верные: «Советская власть... Революция... Коммуния...»

Старик говорил спокойно, привычно покорно, и в словах его и тоне слышался отзвук веков, опыт поколений, с чем умирали его отцы, деды и прадеды: терпи!

— Вот так-то, милок... Дорвались до власти и всё — себе. А слова говорят верные, насобачились...

Старик посмотрел на своего случайного собеседника и не узнал его: кровь отхлынула от лица, морщины под глазами разгладились, а в глазах — гнев, который он всеми силами сдерживал. Он даже не мог говорить.

Наконец Ленин достал из кармана записную книжку и маленький карандашик, не сразу нашел чистую страницу, тихо, но требовательно спросил:

— Фамилии их!..

Старик притих. Плохо, что своим спором он довел хорошего человека до такого состояния. Не сразу мог сказать:

— Денисов.

— Имя?

— Григорий Петрович...

«Расследовать, проверить и, если правда, расстрелять»,— подумал Ленин, и карандаш его врезался глубоко в бумагу. А на соседнем листке запись была сделана без нажима, легко, крылатым летящим почерком. Сейчас как будто и почерк изменился. «Расстрелять на виду у всех!»

— Кто еще?! — спросил снова.

— Костюков... Секретарь Совета...

— А Рязапкин? С ними? Против них?

— Он за светлое царство коммунизма и мировую революцию... Где ему! — И старик безнадежно и снисходительно махнул рукой.— С трибуны не слазит...

Записав название волости, Ленин спрятал книжечку и карандаш и сказал, что виновные, по расследовании, будут строго наказаны, отданы под суд.

Лицо его по-прежнему было бледным.

Старик вздохнул, чувствуя себя неловко... В спасении полез было за кисетом, но раздумал: и так за эту беседу он слишком часто прикладывался к табаку. Молчал: поддакнуть — совесть не позволяла. Спорить? Но и так человек огорчен до предела. Утешать не мог. Оставалось — ждать.

— Предстанут перед судом,— повторил Ленин.

Старик молчал. Пусть хоть с человека эта бледность схлынет, в себя придет.

— Ну да, да,— невнятно проговорил он потом, все еще чувствуя себя вроде как виноватым.— Жаловаться будете...

А в тоне его слышалось: «Бесполезно!»

Ленин знал, что старик думал:

«Конечно, это хорошо... Бесполезно, в общем, но приятно — правды хочешь, справедливости...»

— Жаловаться буду. И не бесполезно,— сказал Ленин.

— Жаловались и мы,— осторожно заметил старик.— Писали...— И, взглянув на собеседника, махнул рукой: какой там! Вот так и у тебя, мол, добрый человек...

Владимир Ильич молчал.

Старик ему явно не верил. Смотря в сторону, думал про свое — так было, так есть, так будет...

— Говорят, Ленин какой-то у нас управляет,— вдруг сказал старик.— Вот если бы он, тот Ленин, такой, как ты, был, если бы тебе власть. Вот тогда бы — да.

Владимир Ильич недовольный опустил голову. Упоминание собственного имени как какого-то особенного, хотя и случайно выраженное, претило ему. Посуровевший, он резко повернулся к старику:

— Почему же это невозможно?

Старик не уловил перемены в собеседнике.

— Известно, милок,— сказал он,— Не бывало еще, чтобы хорошие люди у власти стояли. Может, случалось когда, да редко... Раз в тысячу лет, как чудо.

Ленин отозвался недовольным покашливанием.

Машину он нашел в условленном месте. Его уже ждали. Гиль два раза ходил за ним, но, видя, что Ленин оживленно разговаривает с крестьянином, возвращался, не желая мешать.

Ленин на машине ехать отказался, решил пройти пешком.

До деревни, где остановились на ночлег, было версты три, от силы четыре... Там их ждал сеновал и ужин, захваченный из дома: бутерброды и чай. Рано утром они встанут и отправятся в Москву, на работу.

Владимир Ильич пошел по дороге, а Гиль медленно ехал впереди, стараясь не выпускать Ленина из виду: Гиль был единственным из охраны Ильича. Правда, Владимир Ильич носил в кармане маленький пистолет — раз требуют, нужно, конечно... враги

есть враги...— но обращался с ним крайне неуважительно.

Пройдя версты полторы-две по торной дороге с разбросанными по ней клочьями сена, Ленин подсел на телегу к пареньку-вознице. Одно колесо телеги стучало, другое скрипело.

Солнце закатилось. Заметно посвежело.

Паренек, как взглянул тогда на прохожего, спросившего разрешения подсесть к нему на телегу, так, ответив «ага», с тех пор и сидел неподвижно и молча. Ленин тоже молчал.

Подвода ехала медленно, и это равномерное поскрипывание и постукивание усиливало чувство медлительности и покоя... Скрип... Стук... Скрип... Стук... Скрип... Стук...

Так можно было ехать бесконечно. Вскоре подвода взобралась на горку.

На гребне откоса, спускавшегося к реке, показались небольшие амбары. Осевшие от старости, покривившиеся, с остатками резных фигур на коньках крыш, они казались строениями древнего посада. На том берегу чернел лес, от реки поднимался туман...

Телега ехала, стукала и скрипела, старые, добротной рубки, амбары, кружа, проплывали мимо него на фоне тумана и черного высокого леса. Владимир Ильич хотел вспомнить строки из «Слова о полку Игореве», но сколько ни старался — не мог припомнить ни одной. Он пожалел, что у него с университетских лет не было времени еще раз прочесть это чудо. А теперь он вряд ли заглянет в поэму, скорее всего никогда уже больше не перечитает ее...

Деревню проехали, лошадь побежала под горку, колеса прогрохотали по мостку, потом телега медленно снова начала взбираться вверх. Скрип-стук... Скрип-стук — все реже и реже...

Справа, в густом темном бору, еле заметно белели кресты. Ленин, повернувшись, всмотрелся.

— Могильник,— сказал паренек.— А вон там курган,— указал кнутовищем влево.

Ленин посмотрел влево и различил небольшой курган с березками на вершине.

— Что это за курган? — поинтересовался он.

— А кто его знает, он давно тут...— ответил паренек.— С прежних времен...

Ленин подумал, что примерно так все это выглядело века назад, еще при татарах... И вдруг понял, что, спрашивая паренька, размышляя о чем-то еще, он по-прежнему все время, неотступно думал об одном и том же: о разговоре со стариком. После веков несправедливости: татарского ига, гнета крепостного права, эксплуатации капиталиста — диктат невежд с красными бантами! Нетерпимо!.. Укреплять Советы... Правят Советы... Советы! Хорошо бы взять и проверить, как они работают в двух-трех волостях, уездах, под носом у Совнаркома, ЦК...

И опять стало досадно, что старик, который долго не проживет, не поверил ему и умрет с убеждением, что справедливости на земле не было, нет и не будет... А скажи, что он и есть Ленин, старик, пожалуй, увидел бы в этом совпадении чудо, которое, по его словам, бывает раз в тысячу лет... Но справедливость, вера в будущее, наши успехи должны быть обеспечены всей системой власти, ее природой, принципом ее устройства, а не чудесами, не исключительными личностями... Советская власть не чудо одного человека...

И Владимир Ильич вдруг особенно остро ощутил, что мечта его — самая главная, которая легко вбирала все остальные,— это не быть никаким чудом, никаким «особенным» человеком; чтобы так, как он, и еще гораздо лучше — непременно лучше! — могли работать все или хотя бы многие руководители. Это — главное из главных, что обеспечит успех новому типу власти, новому типу государства.

После ужина в избе, небольшой прогулки по тихой уже деревне городские гости стали располагаться на сеновале.

И, засыпая на пахучем, мягком сене, Ленин еще раз подумал, что успех дела, конечно же, в том, чтобы не быть никаким «особенным» и чтобы другие могли работать гораздо лучше — непременно лучше! — чем может он.

ОГОНЕК ВДАЛЕКЕ

ПОВЕСТЬ

1. РОССИЯ, ГОД ДВАДЦАТЫЙ...

Гибкое пламя с возрастающей силой рвалось в синее беззвездное небо. Пламя гудело, увлекая за собой искры и мелкие головешки, и те падали на дорогу, на полянку, усеянную маргаритками, на деревья парка, в озеро.

Горел большой двухэтажный помещичий дом на отшибе от села. Вспыхивали и в несколько минут истлевали ветви старых лип, с двух сторон примыкавших к дому.

Шум пожара был слышен далеко окрест.

Занялось в самую глухую пору — часа в три. В деревнях и селе, где ударили в колокол, сразу определили: «Фомино!» Ничто другое, кроме бывшего поместья Фомина, пустовавшего после выселения владельцев, не могло гореть так жарко.

Кто махнул рукой, кто побежал смотреть.

Не менее сотни лет стоял в липовом парке над озером этот усадебный дом с флигелем для прислуги и множеством служб. Несколько поколений дворян Фоминых тенями прошли через его покои, оставив по себе добрые и недобрые воспоминания и тяжелые мраморные надгробия в почетном месте в ограде сельской церкви.

Большинство прибежавших в былые времена никогда не поднималось на высокое резное крыльцо, не переступало порога этого дома, где, по рассказам, вдоль стен стояла дубовая мебель, а на самих стенах висели темные портреты предков Фомина. Знали, что любили угощаться там куропатками и свежими леща-

ми, жареными грибами и всевозможной лесной ягодой, которую, так же как и куропаток, лещей и грибы, несли хозяйке желавшие заработать на ситец и обувь. Говорят, водку там не пили, а только коньяки и вина. Стоял там рояль, и летом, когда были открыты окна, можно было слышать его, проезжая по дороге мимо усадьбы.

Сейчас этот дом горел, и с ним навсегда, казалось, сгорало прошлое.

Никто не пытался тушить пожар.

Подожженный изнутри, дом горел долго и с достоинством. Сколько дерева уже пожрало жадное, порхавшее с бревна на бревно пламя, а ни потолки, ни стропила не рушились. В реве пожара все время слышался сухой, отрывистый треск.

— Патроны! — злобно сказал крестьянин, наспех напяливший на себя рваный полушубок.

— Ага! — подхватил рябой в солдатской шинели.— Припасли где-нибудь на чердаке против нашего брата! А вот использовать не удалось. Гады!

— Не достанет сюда? — испуганно осведомилась молодка рядом с рябым.

— Кто знает... Саданет какой-нибудь ящичек пуда в два, а потом разбирайся...

— Бабы, отойдите! — закричала молодка.— Патроны рвутся!

Федор Васильевич Покровский, безотрывно смотревший на пламя, которое завораживало взгляд, нехотя повернул голову:

— Никаких там патронов нет. Дом из дубовых бревен. Бревна сухие — вот и трещат.

Рябой недобро покосился на Федора Васильевича, в летнем пальто и очках, спросил:

— А ты откуда знаешь?

— Кто-нибудь же должен знать.

Рябой что-то пробурчал и спросил соседа:

— Это кто ж такой?

Ответил сам Федор Васильевич:

— Если вам угодно, я специалист по энергетике,— и поклонился с подчеркнутой учтивостью.— Из Москвы.

— Это все за нашим хлебом?

— За вашим, за вашим...— подтвердил Федор Васильевич, с печалью глядя на охваченный огнем дом.

Ои все еще стоял. Ветра ие было, и гудевшее пламя по-прежиему взметывалось столбом вверх.

Федор Васильевич поклоиился не желавшему сдаваться дому, как живому существу, н пошел. Ослепленный огнем, ои первые минуты иичего ие видел, неувереиио шагал, помня только, что в этой сторoие ворота, а за ними дорога.

Ои зиал, что усадьбы горели в пятом году, в семиадцатом, восемиадцатом; с нимн горели художествеииые и культуриые цеииости, без которых России уже ие бывать прежней Россией.

Оказывается, усадьбы горят н в двадцатом, реже будут гореть и дальше, и, иавериое, до тех пор, пока на земле ие остаиется ничего от старого.

На мосту Федор Васнльевич остаиовился и посмотрел назад. Небо над парком было багрово-красиым, искры летели высоко вверх и гасли.

Но дом стоял.

«Не зиал,— с горечью подумал Федор Васильевич.— Искры от домов дубовых летят выше, чем от домов сосиовых... Не зиал...» Ои хотел уже идти дальше, как увидел крестьяиина в рваиом полушубке. Подождал и зашагал рядом. Сиачала молчал, потом всетаки спроснл:

— Зачем же поджигали? Школу можио было открыть!

— Ясиое дело, можио было... И какую! А вот ие выходит...

— Почему не выходит?

Крестьянни в полушубке развел руками: это, мол, свыше простого желаиия...

— А кто поджег?

Крестьяиии сиисходительно улыбнулся:

— Спрашнваете... Охотников много...

Больше Федору Васильевичу ие хотелось говорить. К счастью, крестьяиии в полушубке молчал, вздыхая о чем-то.

Когда Покровскнй вернулся на сеиовал, где устроился переиочевать у иекоего Битюкова, то ии десяти фунтов мукн, ин двух оставшихся рубашек не нашел... Эти рубашкн ои хотел пустнть утром в обмеи, ради чего н остался иочевать. Хозяиии, хотя Федор Васильевич и иичего не требовал, клялся, что зиать иичего ие знает.

Рано утром Федор Васильевич добрался до станции железной дороги.

Люди с мешками за спинами стаскивали друг друга с подножек вагонов и с крыш. С буферов падали на шпалы... Ругань и страшеннейший по своему цинизму мат заполнил собою все — от заплеванного и усыпанного шелухою семечек перрона до неба, которое вот-вот должно было содрогнуться...

Всем своим существом, ничем не защищенным от этого хаоса и власти грубой силы, Федор Васильевич остро чувствовал: время не его... Когда еще собирался в дорогу, знал, что берется не за свое дело и вряд ли преуспеет в нем, но все же нужно было попытаться помочь больной жене. Теперь, после всего увиденного, становилось ясно, что наступили времена, при которых такие, как он, жить не могут.

Чтобы стать здесь равноправным, надо было выключить в сознании и душе все, кроме одного: «Выжить! Любой ценой!» Федор Васильевич понимал это и потому не мог поступать, как другие.

Не зная, что делать, Федор Васильевич потолкался по перрону, все время чувствуя, как нелепо он выглядит в этом своем неистребимом стремлении сохранить человеческое достоинство. Он уже хотел где-нибудь присесть и отдохнуть, как толпа случайно втолкнула его в вагон. Но это оказался «настоящий» пассажирский поезд, и Федора Васильевича, как не имеющего билета, недалеко от Москвы высадили, обозвав буржуйской мордой.

Федор Васильевич решил добираться до Москвы пешком и на попутных подводах — не может быть, чтобы в русском народе разом иссякла доброта.

В совершенно незнакомых селах и деревнях ему почтительно кланялись, большей частью женщины и дети. Федор Васильевич отвечал и с болью думал, что со временем и это будет уничтожено — великолепный обычай привечать человека.

Жаль! Бесконечно жаль...

Но революция устраивалась не для него и не для таких, как он, Покровский, а вот народу, из которого он вышел и о чем никогда не забывал, революция, видимо, нужна. Земелька-то теперь у мужиков! Своя! Для них открылись двери школ и даже университетов... Что-то было в этой революции!..

Доброта людская, где только могла, помогала ему: делилась хлебом, подавала кружку свежей воды. И чем больше она давала о себе знать, тем острее становилась боль Федора Васильевича: «И это будет разрушено... И это уничтожат...»

Никогда бы Феде Покровскому не выбиться в люди, если бы не эта людская доброта, один из устоев жизни народной. Сын потомственных крестьян, он окончил в своем селе церковно-приходскую школу, проходив в нее три зимы — в осени и весны помогал родителям по хозяйству. Он навсегда остался бы в селе, если бы не отец Александр, батюшка местной церкви. Заметив в смышленом мальчике незаурядные способности, отец Александр уговорил родителей Феди послать его в городскую школу, а потом сам хлопотал о его приеме в гимназию, ездил в уезд, писал...

Иногда Федора Васильевича, хотя он и не просил, подвозили случайные попутчики на телегах. Расставаясь, давали советы, желали всего хорошего.

С одним из таких добрых людей по ошибке заехал он в сторону от шоссе, откуда стал виден город Подольск.

Нищему деревня не крюк, и Федор Васильевич ничуть не пожалел, что случай забросил его сюда. До Подольска не менее двадцати верст, однако в этот сухой и звонкий летний день он был все же виден.

Где-то недалеко от Горок Федор Васильевич расстался с крестьянином, постоял, любуясь видом далекого города, и зашагал обратно к шоссе.

Совершенно неожиданно на торной дороге Федор Васильевич увидел по-домашнему одетого мужчину и мальчика, свернувших с луга. Они оказались впереди, Покровский сзади. Когда мужчина повернулся к мальчику, Федор Васильевич вдруг узнал в нем Ленина, вспомнил, что сегодня воскресенье, подумал, что, видимо, неподалеку дом, где отдыхает Ленин.

Вот бы высказать ему сейчас все, что он думает об этой советской власти! Но как ни заманчиво это было, встречаться сейчас с Лениным Федору Васильевичу не хотелось: и вид не тот, и состояние не то. У Ленина может сложиться о нем совершенно неправильное представление: какое-то угнетенное существо.

Владимира Ильича он как-то видел на одном из собраний. Много знал об этом человеке: из какой тот

семьи, где учился, в каких странах бывал, что поставил целью своей жизни. Знал, и не мог не отдать ему должного: «На что замахнулся!» Конечно, что из этого выйдет, никому не известно, но цель великая... Федор Васильевич допускал, что и самому Ленину, когда он остается наедине с собой, наверное, подчас становилось страшно! Он ведь всего лишь человек, пусть и необыкновенный. Всего лишь смертный человек, с сердцем и нервами.

Шел раздумывая...

Неподалеку от Покровских в старом двухэтажном доме жила семья наборщика Ладыгина, которой жена Федора Васильевича, врач-терапевт, иногда оказывала медицинскую помощь. И сам Ладыгин, и его мать были люди хворые: и у того и у другого — порок сердца.

Наборщик этот, Василий Семенович, как-то зашел к Покровским.

Типографских рабочих Покровский наряду с машинистами, механиками считал народом мозговитым, интересным. Разговорились.

Осторожно присев на кресло, Ладыгин рассказал, что недавно он и его товарищи напечатали брошюру Кржижановского об электрификации. В России будет свет! Печатали в типографии, которая не работала, не отапливалась. Печатную машину вертели руками...

Печатали потому, что просил Ленин. Не приказал, не дал распоряжения, а просто попросил.

«Что притягивало к нему людей? Даже тех, которые никогда не видели и никогда не увидят его? В чем его сила, в чем отличие от других?» — продолжал раздумывать Федор Васильевич.

2. СРЕДИ ПОЛЕЙ, СРЕДИ ЛЕСОВ

Солнце подбиралось к зениту. Густые тени становились короче, зеленые просторы — светлее и ровней.

Ленин — в кепке, старом костюме — шел по дороге, прорезанной четкими колеями от колес.

Позади Ленина брел Вася, девятилетний сынишка одного из рабочих, недавно переехавшего в совхоз «Горки». Ленин расспрашивал мальчика о его родителях, любимых занятиях и книжках, о месте, откуда

приехал. Но беседа в самых неожиданных местах прерывалась: Вася частенько убегал то в одну сторону, то в другую, гоняясь за бабочками, которые вспархивали с полевых цветов.

Над дорогой неумолчно заливались жаворонки. Владимир Ильич остановился и, запрокинув крупную литую голову, заслонясь ладонью вытянутой руки от бьющего в глаза света, пытался увидеть хотя бы одного из них. Но, как и в детстве и как всегда, это оказывалось невозможным, пока жаворонок не повисал в воздухе, быстро-быстро трепеща крылышками, становившимися похожими на веера. В ожидании этого мгновения Ленин все смотрел и смотрел в небо.

— Не видно, Владимир Ильич? — спросил Вася.

— Не видно, Вася...

— Вот и я никак не пойму...— сказал мальчик с огорчением.— Очень уж быстрые...

— Попробуй тут не быть быстрым...

Владимир Ильич зашагал дальше, Вася снова стал посматривать по сторонам: не зазевается ли где на ромашке или бутоне клевера бабочка с ярко-желтыми крылышками, похожая на анютины глазки?

Из-за леса выползло белое облачко — настоящая рыба с длинным хвостом,— стало медленно карабкаться вверх. Ленин шел и следил за этим облачком, которое подымалось все выше и выше, постепенно теряя первоначальную форму.

Опустив голову, Владимир Ильич увидел нищего. Он неторопливо шел ему навстречу, а не доходя несколько шагов, остановился в молчаливом и покорном ожидании.

Федор Васильевич, который тоже видел старика, замедлил шаги...

Даже в летний зной нищие одеты не по погоде. На этом был старый, не раз чиненный армячишко, перехваченный веревкой, лапти, за спиной — тощий мешок, в руках — палка. Все свое носил с собой.

Когда Владимир Ильич приблизился, нищий широко перекрестился и, наклонив седую голову, протянул руку:

— Сынок, ради господа нашего Иисуса Христа...

Федор Васильевич смотрел напряженно.

Ленин порылся во внутреннем кармане пиджака и протянул старику бумажку.

Нищий еще ниже склонил голову:

— Спасибо, сынок...

«Хорошо! — порадовался Федор Васильевич.— Никогда нельзя быть уверенным, что даже идеальный строй, даже придуманный тобою, избавляет от сострадания к ближнему, от личной помощи ему... Легче всего передоверить все закону, отгородиться им от жизни... Хорошо!..»

Выпрямившись, нищий пошел по дороге, опираясь на отлакированную ладонями ореховую палку, блестевшую на солнце. Ленин тоже двинулся дальше.

Все знали, что он тратит свою жизнь, как сказал известный писатель, на безграничную любовь к трудовому народу, и лишь немногие, очень близкие к нему, догадывались, что он не жалеет ее и «на тайное, глубоко скрытое в душе чувство сострадания к людям». Милостыня была воплощением этого чувства, и то, что оно оказалось явным, предметным, заставило Ленина, яростно ненавидевшего нищенство, страдать.

— Владимир Ильич,— услышал он голос Васи,— а я недавно прогнал нищенку...

Владимир Ильич остановился и, положив руку на голову мальчика, с нежностью погладил ее.

— Почему же ты ее прогнал?

— Ну так...— уклончиво ответил Вася.— Зачем они ходят и просят?..

— Наверное, потому, Вася, что есть хотят.

Мальчик хмыкнул.

— А я думал, что вы ему не подадите,— признался Вася.

— Почему же?

Вася наморщил лоб, подумал и ответил с гордостью:

— Ведь вы же для всех...

— Гм... А как по-твоему, Вася, из кого состоят «все»?

— Из человеков... Из людей,— поправился Вася.

— В том-то и дело: «из человеков».

Мальчик задумался было, но, увидев бабочку, побежал за ней. Где ему было разобраться в неясном ощущении, что тот Ленин, который вырастал из рассказов отца, разговоров старших, уроков в школе, и тот, который был сейчас перед ним, как бы два разных Ленина. Один Ленин — вождь мирового пролетариата,

выступает против буржуев, другой — гуляет с ним и подает нищему ради Христа.

Нищий направился в деревню...

Стародавняя Россия пылила по этим дорогам, давала о себе знать дымком из трубы невидного отсюда дома, колодезным журавлем, торчавшим из-за пригорка, жаворонками и этой древней, вечной, как мир, просьбой «ради господа нашего Иисуса Христа!». И связаны они на всю жизнь — судьба родины и его, Ленина.

Крепкий, насыщенный неисчерпаемой энергией, волей, кипучими жизненными силами, Ленин, однако, не раз думал, что он всего лишь человек, смертный. Умер Марк Тимофеевич [1], умер Свердлов, и он умрет. Он понимал, что не успеет сделать всего, но хотя бы вот это — чтобы некому было подавать...

Он великолепно знал, верил, что дело, которому посвятил жизнь, обеспечено. Идеи когда-то небольшой группки его единомышленников теперь исповедуют десятки и сотни тысяч трудящихся в России и во всем разбуженном революцией мире; в партии — блистательные имена умных и преданных делу руководителей, равных которым, пожалуй, не найдешь ни в одной другой партии мира.

Дело обеспечено, но хотелось увидеть его осуществленным хотя бы в своей основе...

В нескольких шагах от дороги, у опушки, Ленин увидел колокольчики, клевер, иван-да-марью, ромашки и стал собирать: было бы великолепно набрать букет для дома! Ленин не любил садовых цветов: в них что-то искусственное, безжизненное, как говорили иногда крестьяне — лебезное. Почти не передаваемое никаким другим литературным, слово это как бы одним своим звучанием определяло смысл... Садовые — все это не то, а вот полевые! Они растут сами по себе, без ухода, часто наперекор лихим стихиям, природным бедствиям и обстоятельствам... Растут и цветут, ничего не требуя от людей, на радость им.

Ближе к опушке ромашки и колокольчики пошли все выше и выше, наверное, потому, что меньше видели света и сильнее тянулись к солнцу...

[1] Марк Тимофеевич Елизаров — муж Анны Ильиничны Ульяновой. Был народным комиссаром путей сообщения, возглавлял Комиссариат по делам страхования.

— Владимир Ильич! Владимир Ильич! — послышалось вдруг.— Смотрите, какую бабочку я поймал!

К Ленину бежал Вася, зажав что-то в ладошках, а потому больше обычного качаясь из стороны в сторону.

— Смотрите, Владимир Ильич!

Вася осторожно, боясь, что сокровище упорхнет, приоткрыл ладошки. Ленин нагнулся и приложил глаз к щелочке.

— Красивая? — нетерпеливо спросил Вася, ожидая восторгов и похвал в свой адрес.

— Подожди, подожди...— Владимир Ильич, как ни старался, ничего не мог увидеть.— Приоткрой ладони пошире...

— Улетит...— с опаской сказал Вася.

— А ты немножко...

Вася, высунув от усердия язык, медленно и осторожно раздвинул сжатые в напряжении пальцы. Владимир Ильич увидел большую, еле умещавшуюся в ладошках бабочку с черными пятнами на ярко-желтом фоне. Удивительно были подобраны эти цвета. От соседства черного желтый казался особенно ярким и насыщенным, в свою очередь и черный приобрел насыщенный, глубокий тон. Нижняя часть крыльев была почти вся желтой — черных пятен на ней разбросано меньше.

Чем дольше Ленин смотрел, тем больше красоты открывал в этом невероятно хрупком создании природы. Давно ему не приходилось видеть бабочек вблизи. А такую он, пожалуй, и вообще не видел. А может быть, видел?

— Как она называется? — с интересом спросил Ленин.

— Владимир Ильич, а вы не знаете? — удивился Вася.

— Нет, Вася, не знаю...

— Не знаете?..

Превосходство над взрослым человеком, над Лениным доставило мальчику истинную радость, и он снова спросил:

— Правда не знаете?

— Правда.

— Это же махаон, Владимир Ильич!

— Махаон,— повторил Ленин и снова, зажмурив

один глаз, другим с любопытством приник к ладошкам Васи.— Нет,— наконец решил он,— такой никогда не видел.

Вася почувствовал горячее дыхание Ленина на своих пальцах, видел на его затылке слегка курчавившиеся волосы, видел сильные плечи и шею... Вот так рассматривали бабочку, которую он поймал в то воскресенье, Гриша, Оля и Цыганок... А взрослые так не рассматривают. Ни один из них...

— Великолепный махаон! — еще раз похвалил Владимир Ильич, отрываясь от Васиных теплых ладошек.

Он взял мальчика за руку и пошел с ним дальше. Облачко, похожее на рыбу с длинным хвостом, растянулось, стало бесформенным. Зато выползло другое — похожее на толстый, приплюснутый гриб-боровик.

Ленин спросил Васю:

— Не устал?

— Я-то? Я, Владимир Ильич, весной и летом с утра до вечера бегаю...

— А уроки сами делаются?

— Какие уроки! Нам мало задают на дом.

— Почему же?

— Так это при царе угнетали, а теперь не угнетают...

— Вот как? Интересно! «Не угнетают»? — Ленин рассмеялся.

— Нет...

— А какие песни вас учат петь?

— А вот эту... «Кто был ничем, тот станет всем...»

— «Интернационал»?

— Ага.

— А еще?

— Еще?..— Вася задумался.— Больше никаких... Так, дома сами поем всякие...

— Какие же?

— Про Ермака, «Есть на Волге утес...».

— Хорошие песни.

— Мне тоже нравятся, Владимир Ильич.

— Хорошие песни, Вася,— повторил Ленин, вспоминая, как и он давным-давно пел эти песни.

Он отдыхал, наслаждаясь добрым солнечным днем, возможностью гулять под голубым светлым куполом, слушать пение жаворонков, трогать сухую, жесткую

ручонку Васи, дышать полной грудью теплым, духовитым воздухом лугов и лесов.

— Прекрасный день... Прекрасный день...— повторял Ленин, с удовольствием думая о завтрашнем утре, когда он сядет за стол и возьмется за дела. И с особенным интересом — за одно из них.— Прекрасный день...

3. ПРИЗВАНИЕ

Все уйдет: бесконечное подполье, почти круглосуточная беготня по студенческим и рабочим кружкам, конспиративным квартирам, томительная ссылка, будни — и подчас мелочные,— эмиграции, война, борьба с разрухой и голодом — все, все уйдет, как бы оно ни было значительно. Все это лишь черновая работа, расчистка площадки, на которой нужно строить новый мир.

И как ни преуспела партия раньше в великой, но все же лишь подготовительной работе, сейчас призвание ее в другом — строить, созидать. Ради этого был разрушен старый мир...

Ведь главное не в том, сколько камней и мусора убрал с площадки, главное — какое здание воздвиг.

Только сейчас, в двадцатом году, можно было приступить к выработке и осуществлению плана созидания.

Дело, о котором с таким удовольствием и наслаждением думал Ленин в воскресный день, был план электрификации России, основа единого общего плана восстановления.

Мысль об его осуществлении — одна из самых дорогих для него. С особым интересом читал он книги и статьи об электрификации. К сожалению, это были немецкие и английские книги, и авторы их исходили из наличия в стране мощной промышленности, хорошо поставленного сельского хозяйства, капитала. Ничего подобного не было в России и в помине. И тем интереснее, дерзновеннее была мысль. Без ее осуществления двигаться вперед невозможно.

В декабре 1917 года, когда Советская власть только-только становилась на ноги, Ленин в затихшем ночью Смольном расспрашивал известного энергетика Винтера о новых достижениях в производстве и приме-

нении электрической энергии. В беседе обсуждалась идея строительства мощной электростанции на Шатурском торфяном массиве под Москвой. Месяца через полтора в разгар немецкого наступления на Псков, когда, по сути дела, Петроград стал чуть ли не прифронтовым городом, Владимир Ильич просил другого энергетика, Графтио, разработать смету на строительство Волховской гидростанции... Первые шаги...

И вот, наконец, в феврале этого года была утверждена Государственная комиссия по электрификации России во главе с Глебом Максимилиановичем Кржижановским. Ленин с интересом следил за ее работой, помогал ей.

К Глебу Максимилиановичу, жившему на улице Садовники, 30, по настоянию Ленина был проведен телефон. Владимир Ильич написал в телефонограмме в Народный комиссариат почт и телеграфов: «Прошу провести возможно скорее прямой провод... Об исполнении прошу уведомить. Пред. СНК *В. Ульянов (Ленин)*».

Все время думая о реализации плана, Ленин часто звонил Кржижановскому, писал записки, письма.

В марте:

«Глеб Максимилианович!

Просмотрев заявление ГОЭЛРО, подумав над вчерашней беседой, я прихожу к выводу, что оно *сухо*. Мало этого.

Нельзя ли Вам написать или Кругу (или еще кому) заказать статейку такого рода, чтобы

доказать

или хотя бы иллюстрировать

а) громадную выгодность

б) *необходимость* электрификации».

«Статейка» должна быть очень наглядной, и потому далее в записке Ленин просит выгодность и необходимость электрификации показать на примере. Допустим так... Транспорт. Чтобы восстановить его постарому, надо столько-то миллионов (по довоенным ценам) или столько-то топлива+рабочих дней. А для восстановления на базе электрификации столько-то...

Это в марте. Позднее:

«Г. М.! Мне пришла в голову такая мысль.

Электричество надо пропагандировать. Как? Не только словом, но и примером.



К рассказу «Ель».



К повести «Огонек вдалеке».

Что это значит? Самое важное — популяризировать его. Для этого надо теперь же выработать *план* освещения электричеством **каждого** *дома* в РСФСР...»

В этом письме далее было сказано: «...самое главное — надо уметь вызвать и *соревнование* и *самодеятельность масс* для того, чтобы они *тотчас* принялись за дело».

Не возьмутся — ничего не выйдет. Но они должны взяться. Почти — уверенность...

«Должны взяться...»

4. В ТРУДАХ И ЗАБОТАХ

Придя сегодня в кабинет, Ленин справился о Шатуре.

Шатура!.. Само слово это стало особенным...

Среди сотен необходимых, но сейчас только видевшихся где-то в прекрасной дали электростанций Шатура была одной из первых — пробных, неведомых, зримо воплощавших мечту. О Шатуре нельзя было вспоминать без чувства признательности сотням рабочих и крестьян, пришедших на эти безжизненные Петровско-Кобелевские и Шатурско-Хлудовские болота...

Поначалу плотники, каменщики, землеробы ночевали у костров, разведенных под холодным, сырым небом прямо на болоте... Кто завертывался в тулуп, кто в кожух, кто в армяк или в старую овчину...

За ночь ведро с водой покрывалось льдом, и, встав, нужно было сбить его корку, чтобы умыться...

О чем они думали, первые из первых? Вряд ли им были хорошо известны значения слов «социализм», «коммунизм». Они думали о куске хлеба, о семье, оставшейся без «старшого». И все-таки без мечты о лучшем, веры в будущее, пусть и не обозначенных каким-либо мудреным словом, жить и переносить бесконечные тяготы было нельзя... Строили социализм!

Валили лес, корчевали пни, рыли канавы, возводили бараки, здание электростанции...

Если бы все отчетливо видели эти картины! Наркомы, инженеры, работники ведомств...

Ленин стал давать срочные задания наркоматам, чем и как именно помочь стройке. Еще в феврале по его предложению Совнарком принял постановление о

первоочередиом сиабжении фуражом, продовольствием, стройматериалами, рабочей силой, топливом строек всех важиейших электростаиций. Экстреииыми считались перевозки стройматериалов и на Шатуру. Надо, чтобы строители полиостью использовали свои права, а ведомства и иаркоматы выполияли свои обязаииости.

«А Покровский?» — вспомиил Леиии.

Ои затребовал списки специалистов, приглашеииых к участию в работе ГОЭЛРО,— Покровского в иих ие было.

«Может быть, в ВСНХ?»

Не было его и в списках ВСНХ.

Составлеиие плаиа электрификации России — дело учеиых и специалистов. Как же получилось, что такой учеиый стоит в сторояе?

Страиио... Страиио... Неужели ие хочет?

Лении позвоиил Кржижаиовскому. «Ага! Глеб ие упустил... Имеет в виду... Направит...»

Разговаривая по телефоиу, беседуя с посетителями, Леиии все время помиил о иеобходимости сегодия же встретиться с Кржижаиовским...

С Кржижаиовским встретились в двеиадцать.

Глеб Максимилиаиович, сухоиький, элегаитиый, казалось мало измеиившийся со времеи «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», подняв красивую голову, виимательио слушал. Разговор этот, если можно назвать разговором раздумья, споры, поиски, приобретеиие революциоииого и иаучиого опыта, миогое, что связаио со счастливой встречей с Владимиром Ильичем, иачат в иезапамятиые времеиа и продолжался все время. В Питере... В Сибири... В Москве... В кругу друзей... Во время прогулок вдвоем... В письмах... В одииочке «предварилки», когда мыслеиио обращался к Ульяиову... Во время миогочислеиных встреч после организации комиссии... Уже столько обговорено... Так притерлись друг к другу...

— Навериое, ии о чем ие высказаио столько горького и обидиого, сколько о России в труде. «Обломовы»... «Страна дикарей и леитяев»... «Любители поторговать»... «Если их ие прибить хорошеиько, оии ие будут работать». Не прибить — ие будут работать! И даже философское откровение: если их ие бьют, то это зиак иемилости.

Да, рабство и трудовой энтузиазм несовместимы. А Россия веками пребывала в рабстве.

Ленин взглянул на стол и переложил какую-то бумагу с одной стопки на другую.

— Так вот: эта темная, с вековыми навыками рабьего труда Россия пойдет созидать коммунизм или не пойдет? Пойдет! Только ничего от этих навыков рабства, ничего от принуждения!

Ленин опять взял отложенную бумагу и быстро что-то написал на ней.

Кржижановский продолжал сидеть молча.

— Это, кажется, у кого-то из заезжих... «Способ пахания земли деревянными кольями...» Наверное, не что иное, как ныне благоденствующие сохи... Так вот, один из областных начальников в благом порыве облегчить народу труд приказал привезти железные сошники. Очевидный технический прогресс! Не так ли? Очевидный! Но «приказал»! И что же, Глеб Максимилианович? Прогресса не случилось, технической революции не произошло. Вот о чем надо помнить сторонникам навязывания идей народу. В том числе и идеи электрификации. И между тем,— другим тоном продолжал Ленин,— и между тем мы будем администрировать! Будем беспощадными администраторами к работникам, которые должны, но не хотят выполнять постановлений Советской власти. Именно здесь мы еще совсем плохие администраторы. Беззубые, уговаривающие дяди и тети... Добренькие российские либералы...

— Снабжение строительства электростанций в ряде случаев не первоочередное,— заметил Кржижановский.

— Вот, вот...

— Наиболее «отличившихся» руководителей ведомств — к вам бы, Владимир Ильич.

Ленин подумал.

— На заседание СТО,— поправил он.

— Возможно...

— Еще, Глеб Максимилианович?

— Вопрос психологии или, вернее, идеологии,— сказал Кржижановский.— Комиссия ГОЭЛРО работает, чувствуя себя все время под прицелом. «Буржуазные интеллигенты... Выходцы из прошлого...» Недоверие и подозрительность нервируют, мешают честным, самоотверженным людям.

— Это посложнее. Десятилетиями накапливалась ненависть народа к буржуазии. Желание проверять и проверять буржуазных спецов рождено классовой ненавистью.

— Сколько людей будет работать, сколько проверять? Вопрос в этом.

— Да, слишком много желающих заниматься политикой и только политикой, то есть ровным счетом ничего не делать.

Ленин припомнил, что где-то уже говорил о таких членах партии, но, видимо, еще мало. Он быстро пометил этот тезис в своих бумагах. Вернуться к нему!

— Спекуляция самая обыкновенная. Где еще нужно нажать, Глеб Максимилианович?

— ВСНХ...

— Не первый раз говорим об этом!

— Очевидно, Рыков по своей природе, что ли, не может полностью уверовать в план ГОЭЛРО...

Ленин помолчал и, как обычно, пропуская очевидные логические связи, без которых Глеб Максимилианович легко обходился, закончил:

— Бывает... Есть, например, авторы романов о крестьянах, вышедшие из самых натуральных деревень. И в лаптях ходили, и лаптем щи хлебали, и знают все про онучи и портянки... И тем не менее крестьянин у них ненатуральный, политическая оценка его не верна. Эсеровский душок... А настоящий мужик у дворянина Толстого. Почему так? Видимо, именно мужицкая закваска и мешает некоторым нашим крестьянским писателям. Не могут отойти от деревни и посмотреть на нее издалека, в правильной перспективе...

— Несомненно...

Ленин охватил рукой бородку... К работникам и руководителям, особенно способным, нужно относиться крайне бережно, знать, где и как лучше использовать их возможности, знать, на каком месте быстрее раскроется их дарование... Переместить с поста председателя ВСНХ? Нет оснований — Алексей Иванович неплохой руководитель высшего хозяйственного органа страны. Да и вообще, часто перемещения ничего не дают — только успокаивают администраторскую совесть, приглушают администраторский зуд: что-то сделано! Вывести комиссию ГОЭЛРО из подчинения

ВСНХ? Пожалуй, это будет самое лучшее и для самой комиссии... Но сначала обязательно поговорить...

— Не хотелось бы лишних пертурбаций, Владимир Ильич...

Ленин внимательно посмотрел на друга. Мягкий, деликатный, отнюдь никакой не администратор, Глеб, которому было тяжело выполнять его функции, конечно, и сейчас исходил не только из склонностей и пристрастий своего характера, а прежде всего из интересов дела.

Ленин понял и обрадовался, что мысли их и на этот раз совпали:

— Вывести комиссию? Обсудим,— Владимир Ильич записал это себе на память.— Что у вас еще, Глеб Максимилианович?

— Времени бы, Владимир Ильич, времени хотя бы вдвое, втрое побольше...

— «Времени»! Я тоже, Глеб Максимилианович, не отказался бы. Самым великим человеком станет тот, кто сумеет покорить его: растянуть, увеличить. Но, увы! А может быть, все-таки попробовать? — Ленин рассмеялся.— Распоряжается же временем Герберт Уэллс в своих романах, почему нам нельзя? — И сам ответил: — Но мы и так взяли на себя немало...

Кржижановский увидел, как посерьезнел, даже посуровел Ленин. Он молчал мгновение, другое...

— Глеб Максимилианович, теперь у меня к вам...— сказал Ленин.

— Слушаю, Владимир Ильич...

— Не рассматривайте, пожалуйста, план ГОЭЛРО как некий идеальный с профессорской точки зрения научный труд. Сейчас это утопия. Мы нищие. Голодные нищие. По кусочкам выделить важнейшее, поставить предприятия!

Кржижановский не ожидал от Ленина такой оценки. От этих слов становилось больно. Казалось, отчаянные эти слова произнес не Ленин, а сама необходимость. И попали они в точку. Действительно, было у него желание: собрать исчерпывающий материал и засесть за любимую работу, по которой истосковался и о которой так много думал... Солидный научный труд...

Рано!

Вошел Дзержинский.

— Помешал? — спросил он, здороваясь.

— Садитесь, Феликс Эдмундович,— предложил Ленин, сосредоточиваясь на чем-то другом. Сейчас надо будет заниматься делами ЧК, как он уже занимался гвоздями, хлебом, международной политикой.

Кржижановский поднялся и, озабоченный, простившись, ушел.

— Одну минутку,— сказал Ленин Феликсу Эдмундовичу и стал звонить по телефону.

Сдержанно взглянув на Владимира Ильича, Дзержинский заложил руки за спину и, худой, стройный, легкий, ходил возле карт у стены. Он как будто не слышал разговора по телефону, а разговор был трудный.

Рождалось новое общество. Были разные точки зрения на культуру прошлого, на буржуазных специалистов, на губную помаду и галстуки, на брак и семью, на единоначалие в промышленности... Что ж, у некоторых была своя точка зрения на электрификацию.

По их мнению, составлять и тем более проводить в жизнь единый хозяйственный план сейчас не время — нет топлива, нет продовольствия. Вот и Рыков... Идею электрификации он низводил к строительству мелких электростанций в сельских местностях, отрицал необходимость развития машиностроения. Машины можно выменивать за границей на хлеб, сахар, масло, считал он.

Положив трубку, Владимир Ильич выразительно посмотрел на Дзержинского.

— Что прикажете делать, Феликс Эдмундович? — спросил Ленин.

— Есть резолюция ВЦИК, Владимир Ильич,— и умолк: ясно же!

Феликс Эдмундович напоминал о сессии Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов, которая поддержала Ленина и его сторонников, вынесла резолюцию о возможности приступить «к научной выработке и последовательному проведению в жизнь государственного плана всего народного хозяйства».

Говорил Дзержинский суховато, как будто и не он поддерживал и эту резолюцию, и другие предложения Ленина. Феликс Эдмундович был из тех, кто, пожалуй,

мог погладить ребенка и не улыбнуться. Но погладить с такими потаенными нежностью и любовью, каких не было у самых улыбчатых и сердобольных...

— Надо еще раз поговорить в Совнаркоме и решить вопрос о комиссии и ВСНХ...— заметил Ленин и стал что-то искать в бумагах.

Дзержинский ничего не ответил.

Феликс Эдмундович, пожалуй, как никто другой, знал о твердости и непреклонности Ленина. Десятки, а может, сотни раз за эти годы ему приходилось докладывать Владимиру Ильичу, советоваться с ним, слушать его распоряжения по поводу осознанных, ставших необходимостью крайних мер по отношению к врагам революции и новой России.

Дзержинский отчетливо сознавал, что сила Ленина в том, что он крепко стоит на земле, знает в своем деле все, а потому подлинно свободен. Может и еще раз поговорить с противниками его мнения и не показаться слабым или неоправданно мягким...

Сожалея, что сейчас на плечи Ленина свалится еще одна тяжесть, Дзержинский стал докладывать о чрезвычайных событиях. Их было немало и раньше, случались и теперь.

В мае на Ходынке, в артиллерийских складах, возник большой пожар, приведший к взрыву. Выведена из строя московская радиостанция, расположенная неподалеку от складов. Контрреволюция использует и другие формы борьбы. В частности, экономическую. Арестована группа из шестидесяти восьми спекулянтов валютой, обнаружена подпольная «фабрика» фальшивых денег.

— Можем ли мы сейчас уделить больше внимания предупреждению преступлений? — спросил Ленин.— Именно пре-ду-пре-ждению?

— Несомненно...— Дзержинский на секунду задумался.— Но нам еще необходимо понять, что видеть в мелком преступлении крупное, пожалуй, так же опасно, как и в крупном — мелкое...

Дзержинский продолжал:

— Сурово карать легкое преступление, как говорил Марат, значит не только зря пускать в ход авторитет власти, но и множить преступления. Между прочим, он ссылается и на практику старой Руси. В Московии, где воры и убийцы карались одинаково, будто бы при

совершении воровства всегда убивали: мертвые, мол, будут молчать, а наказание то же.

— Вспоминаю... Вспоминаю...— Ленин слушал с большим вниманием.— Уменьшить число преступлений значит не оставить ни одного преступника безнаказанным. И обязательно карать в меру тяжести его преступления. Вот работа, от которой никто не должен отказываться в ЧК.

— Разумеется,— согласился Дзержинский и после небольшой паузы добавил: — Вот еще что, Владимир Ильич...

Ленин насторожился.

— Тут к вам будут приходить наши товарищи... чекисты,— пояснил Феликс Эдмундович,— и будут жаловаться на свою жизнь... Можно понять: аресты, допросы, слезы близких... Не легко! Но вы, пожалуйста, не будьте добрее меня, Владимир Ильич.

— Феликс Эдмундович!.. Разве я дал такой повод?

— Да, да, Владимир Ильич... Муравьев приходил к вам?

— Муравьев? Кажется, был...

Ленин вспомнил: двое из ВЧК приходили к нему. Первый говорил, как ему трудно, просил перевести на другую работу. Второй помялся-помялся, так ничего существенного и не сказал. Но, видимо, хотел просить о том же. Относительно первого он, Ленин, выходит, и звонил Дзержинскому, считая, что можно подсказать Феликсу как-то облегчить товарищу жизнь...

— В Чрезвычайной комиссии, Владимир Ильич, и должны, как вы сами знаете, работать те, кому трудно, кому очень трудно, кому невмоготу. А не те, кому легко. Иначе ЧК выродится в охранку. Представьте себе: чекист, который находит удовольствие и наслаждение в арестах и расстрелах!

— Да, да, Феликс,— тихо проговорил Ленин. Он глядел на Дзержинского, прекрасно понимая, как тяжко бывает Феликсу, за все годы ни разу даже не намекнувшему на тягости, которые приходится выдерживать, все это знал...— Вы правы... Но работать тем не менее должны те, кто может выдержать.

— Конечно!

После ухода Дзержинского Ленин стал просматривать почту. Телеграмма с Южного фронта показалась

ему чрезмерно оптимистичной. Этот неумеренный восторг может дорого стоить. «Охладить!» Ленин взял ручку: надо было немедленно ответить.

Только Владимир Ильич подписал телеграмму — зажглась лампочка. Звонил Троцкий. Говоривший почти со всеми свысока, подчас оскорбительно, с Лениным он был корректен, но собственного достоинства не забывал.

Этот энергичный, с авантюристической жилкой человек не пользовался доверием и симпатией Ленина. При любом разговоре с ним Владимиру Ильичу всегда требовалось какое-то напряжение, которое не нужно было в беседах с другими, подлинными товарищами по партии.

Вошел Цюрупа, и Ленин обрадовался его появлению.

После Цюрупы — совещание, еще несколько встреч. К двум часам ночи Ленин закончил работу.

Он вышел из-за стола, прошелся по кабинету и вдруг остановился: на полу, возле дивана, валялся окурок.

Ленин, возмущенный, наклонился и, осторожно подняв окурок, бросил его в печку, на белом сверкающем кафеле которой, свешиваясь с конфорки, висела табличка «Курить воспрещается».

На видном месте висела табличка. Четкий шрифт. Все грамотные. Сто раз прочли это броское «Курить воспрещается». Некто видел, что здесь не курят, и все-таки ничто его не остановило!

Мелочи, мелочи... Незначительные отклонения от нормы... Неуважение личности... Невежество... Какой это сильный, трудно искоренимый враг!

Уже собравшись домой, Владимир Ильич сел за стол и несколько раз устало провел рукой по лицу, по волосам на затылке, пригладил виски. За окном давно стемнело — ночь...

Война кончалась, скоро республика победит окончательно... Опасность открытых, явных врагов видна всем, и поэтому массы удесятеряют усилия и побеждают. Но есть другие враги, кто распознан далеко не всеми, чья мера опасности известна далеко не всем. О голоде и разрухе можно и не говорить... А вот о собственных явных и неявных противниках и недостатках, соб-

ственном невежестве и дикости — необходимо! Об опасности бюрократизма, звонкой и пустой фразы, цветистой фразеологии — необходимо! О пустословии и болтовне вокруг дела вместо дела — необходимо!.. Он причастен к созданию государства нового типа, и он будет первым и самым беспощадным критиком его недостатков, как бы это горько ни было, как бы дорого это ему ни доставалось.

Правильно понять явление, трезво оценить грозящую опасность, как бы это ни унижало тебя в чьих-то глазах, убедить других и добиться принятия необходимых мер — вот что входило в круг его обязанностей. Будничная, повседневная работа...

Без конца...

И по какой-то здоровой привычке отвлекаться Ленин вдруг вспомнил об одной фразе.

На днях шел он домой обедать. В коридоре Совнаркома, как обычно, полутемном и гулком, в сторонке стояла группа оживленно беседовавших людей. Двое из группы поздоровались с Лениным, другие, видимо, не узнали его.

Он уже прошел мимо, как услышал: «...собирается вскорости лететь на Марс».

«Что такое?»

Владимир Ильич даже шаги замедлил. Хотел вернуться, но раздумал.

Вспоминая сейчас об этом, он подумал, что слова были сказаны самым серьезным образом и что он не мог ослышаться. Так и было сказано: собирается вскорости лететь на Марс. На Марс!

В двадцатом году читались лекции о Марсе. На ободранной стене Политехнического музея можно было увидеть афишу, где мелькали слова: «Марс... Полеты в другие миры...» Если совершена революция, почему нельзя, спрашивается, долететь до загадочной планеты, которая, впрочем, теперь и особенно загадочной-то не считалась. Какая могла быть загадочность в эпоху мировой революции?

Интерес к Марсу подогревался сенсационными сообщениями. В начале года, если верить газетам, многие радиостанции приняли странные сигналы. Они не походили ни на один известный в мире код. Впоследствии газеты объявили эти сигналы первой радиограм-

мой с Марса. Нужно было ответить марсианам, а для этого, прежде всего, расшифровать радиограмму. Дело было поставлено на солидную ногу: французская Академия наук назначила премию в триста тысяч франков тому, кто предложит способ передать ответную радиограмму. И триста тысяч франков, и сама задача не могли не вдохновить: посыпались сотни проектов...

Ленину, конечно, была далека сенсационная шумиха, но сама дерзостная мысль не могла не быть по душе.

«Собирается вскорости лететь на Марс»! И самым серьезным тоном!

Может, просто упоминали о Циолковском? Ведь многим известно, что школьный учитель из Калуги давно уже мечтает о покорении воздушного пространства, о полетах в межзвездные миры, кажется, с помощью ракетных приборов...

Точнее!

Ленин начал припоминать.

Циолковский, кажется, строил дирижабли, предложил использовать двигатель-ракету для полетов к звездам. Открыл принцип, дал основные положения... Но «вскорости»! «Вскорости»! Нет, это другой, наверняка другой человек... Неужели новый ученый или изобретатель ходит где-то рядом? Ленину очень хотелось, чтобы он существовал, как существует мечтатель Уэллс, как существуют Павлов, Мичурин, Циолковский, Горький и много других. Великолепно! И разруха, и голод, и тиф, и это оскорбительное слово «электрофикция», которое иногда мелькает в зарубежной печати для уничижительного обозначения плана ГОЭЛРО и которое подчас любят подпускать противники электрификации в стране, и тупоумный бюрократ со своей возмутительной резолюцией на жалобе вдовы красноармейца, а человек думает о полете на Марс!

А может быть, ему это только послышалось? Известно ведь, что слышат то, что хотят услышать. Но здесь, кажется, никакого обмана нет: «...собирается вскорости лететь на Марс». Замечательно!

Ленин подошел к печке и снял табличку «Курить воспрещается»: законы и распоряжения, которые не выполняются, смешны.

5. ПОСЛЕ ЗАСЕДАНИЯ

Как всегда, заседание Совета Народных Комиссаров шло четко, дружно. И вдруг будто застопорилось...

Уже несколько минут заместитель одного из наркомов перебирал общие места: «Мы должны напрячь усилия, не пожалеть сил... Пролетарская революция, как никакая другая революция... Мы стараемся наладить это дело так, чтобы это дело...»

Терпению Ленина приходил конец: ни отчетливой постановки вопроса, ни интересного материала, ни конкретных предложений! Незнание предмета и болтовня!

Но Ленину было любопытно: неужели сам не поймет? И Владимир Ильич посматривал на говорившего, стараясь заглянуть в глаза. Образумится... Застесняется...

Надежда оказалась тщетной. Ленину пришлось остановить его и, не повышая голоса, отчитать.

Следующий вопрос был решен в минуты.

Вечер давно уже наступил, когда заседание закончилось.

Присутствовавшие расходились. Прощаясь, на ходу улаживали мелкие дела.

Ленин сидел на своем, единственном в зале, плетеном кресле и, еще не отрешенный от дел, собирал и аккуратно складывал бумаги — планы и наброски своего выступления, записи во время выступлений товарищей. Эти он отдаст секретарю, а эти возьмет с собой, нужно будет посмотреть дома...

Мария Петровна, работник секретариата Совнаркома, невысокого роста, тоненькая женщина, в белой со складками блузке, собирала с большого зеленого стола бумаги, записки, карандаши. Стол был похож на поле боя после отгремевшего упорного и ожесточенного сражения. Одни записки были порваны на клочки, другие смяты, кто-то даже сделал из записки лодочку. Карандаши, листы бумаги были разбросаны как попало.

Мария Петровна просматривала все записки: ленинские, чтобы не пропали, забирала себе...

Были записки деловые, шутливые — и все содержательные.

Даже вот эта интересна:

«Пишите записки, а не болтайте».

Коротко и ясно! Некоторые товарищи, к кому обсуждаемый вопрос прямо не относился, пользуясь тем, что на заседании присутствует нужный человек, решали свои дела, переговариваясь. «Решайте, но не мешайте другим!» — требовал Ленин.

Расправив сложенный вчетверо листок, Мария Петровна убрала его в тетрадь.

Вот еще на восьмушке бумаги:

«Что с сыном? Мне говорили — лучше?

Так ли это?»

Вот, оказывается, для чего Ленин вставал и подходил к Михаилу Григорьевичу! Владимир Ильич боялся, как бы эта записка при передаче из рук в руки не затерялась. Михаил Григорьевич, обрадованный, улыбнулся — Мария Петровна не знала, чему именно: то ли радуясь за сына, то ли человеческому участию Ленина.

А записка эта лежала рядом с какими-то бумажками, испещренными рисунками, каракулями, мордочками, завитушками и домиками. И ее, конечно, в ту самую тетрадь!

Мария Петровна развернула и лодочку: нет, не ленинская бумажка! Она даже обрадовалась — не ленинская. Какую-то часть записок, дорожа ими, уносят с собой адресаты, но может быть и так — лодочка из записки Ленина! Конечно, может быть: люди разные, ох какие разные, хотя все они составляют единый Совет Народных Комиссаров.

Вот еще одна, скрученная кем-то, быть может, самим адресатом в трубочку:

«Когда же будет отчет?

Мариновать вздумали?

Солить?

Сообщите последний срок».

И еще одна четвертушка — с краем, оторванным, наверное, чтобы очистить перо. Слава богу, что не всей запиской чистили!

Вот порванная на такие мелкие клочки, что уже не разберешь — ленинская или нет? Вот еще одна...

Иногда в зале, где только что решались важные и очень разнообразные вопросы, раздавался смех. Он был непринужденным, подчас уж слишком громким

для людей, минуты назад занимавшихся государственными делами. Но казалось, громкий смех никого не приводил в смущение. Ленин, если до него долетал разговор и он мог уловить смысл шутки, улыбался и смеялся вместе со всеми.

...Наконец Ленин разобрал свои бумаги, часть отдал секретарю, часть — порядочную — спрятал в папку и встал.

И тут он заметил еще одного человека.

Как будто на заседании Совнаркома его не было... А может, был? В отлично сшитой гимнастерке, с полноватым лицом, без портфеля и папки, он уверенно шел навстречу Ленину.

— Товарищ Ленин!

Владимир Ильич устало повернулся и, замедлив шаги, остановился.

— Товарищ Ленин, у меня к вам вопрос.

— Пожалуйста...

— Товарищ Ленин, я сам по происхождению крестьянин-бедняк, потом работал на пристани... Был переварен в рабочем котле. Так сказать, стал представителем рабочего класса... Участвовал в октябрьском перевороте в Елабуге. По поручению укома конфисковывал помещичье и буржуйское имущество... Работал в укоме, теперь в ВСНХ... Коммунист... Кавлетов моє фамилие...

— Так, так... Хорошо... Далее!

— Товарищ Ленин... Я как представитель рабочего класса и участник революции...

— Простите, если можно, покороче, товарищ Кавлетов.

— Товарищ Ленин, у меня предложение...

— Пожалуйста. Слушаю вас, товарищ Кавлетов.

— Строительство в республике растет с каждым часом, с каждым днем... А кто внедряется в эти стройки?

— «Внедряется»? Не понимаю.

— Внедряются буржуазные спецы. Повсюду! Власть у них, они командуют. А пролетарий — исполняй! Перевертываем Советскую власть вверх ногами! Выворачиваем наизнанку!

— Простите, это вздор и безответственные утверждения. Что вы предлагаете? Конкретно!

Кавлетов молчал. Он не ожидал такого ответа.

— Что же вы предлагаете, товарищ Кавлетов?

— Проверенных пролетарских красных комиссаров — к каждому. С неограниченными правами и мандатом за вашей подписью!

Ленин слушал с напряжением: слова знакомые, но что за человек?

— Контроль, конечно, нужен,— сказал он.— Но если комиссар, хотя бы и проверенный, хотя бы и архикрасный, технически неграмотен, то как он может проконтролировать специалиста? Часто — крупного специалиста? Часто — с европейским, если не с мировым, именем? Если же он разбирается в технике, не лучше ли его использовать на практической работе? Поручить строить, отвечать за строительство, а не только спрашивать и проверять? Как вы думаете?

Но Кавлетов думал о другом: Ленин не поддержал его! Вождь мирового пролетариата не поддерживает пролетария! Взгляд его голубых глаз тупо уперся в стул, он наливался дремотной обидой.

— Товарищ Кавлетов,— участливо обратился Ленин к молчавшему собеседнику.— Вы, очевидно, не сумели получить образования?

— Нет, не сумел...

— Вам необходимо учиться. С сегодняшнего дня! До свидания, товарищ.

Ленин повернулся и, опустив в раздумье голову, пошел домой. Кавлетов одернул гимнастерку и исподлобья оглянулся. Эта маленькая женщина из секретариата, пожалуй, слышала его разговор с Лениным: вон как посмотрела на него! Наверняка буржуйка!..

Ленин, шагая по плохо освещенному коридору, с удивлением думал: «Откуда он взялся, этот Кавлетов?»

Он не был похож на других, кто, не заботясь о себе и своем месте в деле, двигали это дело. Многие могут принять его за такого же настоящего, каких были тысячи и тысячи. Но этот, ничего не понимая и, видимо, не желая понимать в своем деле, претендует на господствующее положение в нем.

Новые формы жизни подняли с ее дна и таких... Кавлетовых... На могучий зов Советской власти строить новую жизнь пришли и они...

6. КАРТА

Снова звонок Кржижановскому («Вовлекать массы!»).

Статьи, очерки, а может быть, даже рассказы об электрификации должны быть рассчитаны на самого широкого читателя. Те материалы, которые есть, все еще сложны. К тому же их мало, очень мало.

Заботясь о непременной доступности таких статей, он еще раньше писал Глебу Максимилиановичу:

«Надо 1) примечания *пока* убрать или сократить. Их слишком много для газеты (с редактором буду говорить завтра)».

Нужно наглядно показать всем, что такое электрификация, а потому:

«2) Нельзя ли добавить *план* не технический (это, конечно, дело *многих* и не скоропалительное), а политический или государственный, т. е. задание пролетариату?»

План этот у него есть. План великолепный.

«Примерно: в 10 (5?) лет построим *20—30* (30—50?) станций, чтобы всю страну усеять центрами на 400 (или 200, если не осилим больше) верст радиуса; на торфе, на воде, на сланце, на угле, на нефти (*примерно* перебрать Россию всю, с *грубым* приближением)».

Сроки? Сроки такие:

«Начнем-де сейчас закупку необходимых машин и моделей. Через 10 (20?) лет сделаем Россию «электрической».

Я думаю, подобный «план» — повторяю, не технический, а государственный — проект плана, Вы бы могли дать.

Его надо дать сейчас, чтобы наглядно, популярно, для массы увлечь ясной и яркой (вполне *научной* в основе) перспективой: за работу-де, и в 10—20 лет мы Россию всю, и промышленную, и земледельческую, сделаем *электрической*. Доработаемся до **стольких-то** (тысяч или миллионов лошадиных сил или киловатт?? черт его знает) машинных рабов и проч.

Если бы еще *примерную* карту России с центрами и кругами? или это еще нельзя?

Повторяю, надо увлечь *массу* рабочих и сознательных крестьян *великой* программой на 10—20 лет».

Если бы у него было время, он эту «карту России с центрами и кругами» сделал бы сам, так ему хотелось увидеть ее, а главное, дать другим. Ведь это та форма, вернее, одна из форм пропаганды, посредством которой его мечта станет доступна всем.

А сделать карту можно так. Взять географическую карту России (можно даже царскую, черт с ней) и в местах, где будут построены гидростанции, допустим, Волхов, наклеить голубые кружочки; в местах, где будут построены станции на торфе, допустим, Кашира,— коричневые; каменный уголь можно передать бумагой черного цвета... А круги, конечно, разной величины — в зависимости от мощности электростанций («Внизу сбоку — дать масштаб, условные знаки»).

Как-то у Анны Ильиничны, в доме на Манежной, Владимир Ильич увидел старую географическую карту, и у него мелькнула мальчишеская мысль: попросить эту карту и как-нибудь свободным вечерком, вооружившись клеем, ножницами, разноцветной бумагой, заняться сооружением «Наглядной карты электрификации России». Но «свободный вечерок как-нибудь» был явной утопией: не будет такого вечерка! И он не стал просить карту у сестры... Жаль!..

— Владимир Ильич, Покровский...

Ленин даже не заметил, как вошла секретарь.

— Очень хорошо... Милости прошу!

Вот еще один человек, который может двинуть разработку плана электрификации.

Покровского привлек, конечно, Глеб Максимилианович. Это он беседовал с учеными, одного за другим перетягивая на свою сторону. Пожалуй, не малая часть этих людей сочла бы ниже своего достоинства разговаривать с «настоящими» большевиками, главными признаками которых, по слухам, были наган и семиэтажный мат. А Глеб Максимилианович для них вроде как свой... близкий по духу человек — инженер, ученый.

Обычно Глеб Максимилианович, придя к Ленину с каким-либо инженером, оставался у него и принимал участие в разговоре. На этот раз — наверняка особый — он посчитал, что беседа Федора Васильевича с Лениным должна быть с глазу на глаз, без свидетелей. Старик строптив, полон чувства собственного достоинства и на все имеет свое собственное воззрение.

На Советскую власть, на Ленина — тоже... Первое, что сказал Федор Васильевич ему, Кржижановскому, было: «Эх, Глеб Максимилианович! Вы говорите, любезный, так, будто я меньше вашего прожил. Откуда это?»

Глеб Максимилианович разговор с энергетиком передал Ленину по телефону. Владимир Ильич позвонил Покровскому, пригласил к себе, предложив встречу в удобное для Федора Васильевича время.

...Ожидая сейчас Покровского, Ленин предчувствовал, что встреча будет примечательной, хотя наверняка и трудной. Но трудные дела и были самыми интересными. Ленина не покидала уверенность, что лучшая часть русской технической интеллигенции рано или поздно пойдет работать к ним, чтобы осуществить давнишнюю свою мечту, которую нельзя было реализовать в условиях «расейского» капитализма...

— Здравствуйте, Владимир Ильич,— негромко поздоровался Покровский.

Он был в великолепной черной тройке, костяные от крахмала манжеты и воротничок аккуратно охватывали кисти рук и шею. Чувствовал себя уверенно.

Ленин пожал руку, предложил сесть. Покровский не спеша опустился в кресло, откинулся на спинку. Ленин рядом. Человек, который дерзнул круто повернуть медленно тащившуюся своим ходом историю, вот он — рядом! Этот человек сейчас занят тем, что собирает небольшие, в половину тетради, густо исписанные листки в стопочку. Вот он, наконец, собрав их, постучал ими о стол, подравнивая, нашел скрепку, сколол и отложил в сторону... Ленин внимательно посмотрел на Покровского и спросил:

— Федор Васильевич, почему не работаете? Надеюсь, вы не станете саботировать Советскую власть, как делают другие?

Ленин говорил так, будто каждый день виделся с Покровским, и это понравилось Федору Васильевичу. Руководитель государства оторвался от своих дел, пригласил и спрашивает — просто, прямо. И смотрит, ждет ответа.

Покровскому тоже захотелось ответить просто и прямо:

— Владимир Ильич, а почему советский строй нужно поддерживать? Вы убеждены, что он принесет

только добро, а я в этом далеко не уверен. Перед вами, если хотите, тоже мыслящий человек. Правда, власти у меня никакой, и я не более чем буржуй для некоторых, но все-таки имею какие-то права... Хотя бы высказывать свои мысли... Почему все, кто не поддерживает вас, саботажники?

Покровский говорил спокойно, с подчеркнутым достоинством. Черная тройка, отлично выбритое лицо, негромкий уверенный голос, которым он привык заполнять огромные институтские аудитории.

Ленин сцепил руки. Крепко сжал.

— «Мысли... Права...» — повторил он и спросил: — Вы против нас или за нас?

— Третьего пути нет?

— Какой, скажите на милость?

— За вас, лично за вас, Владимир Ильич. Но я не знаю, что из всего этого выйдет потом. Сейчас все построено на пафосе низвержения: долой! круши! бей! Это просто и легко. Доступно каждому. Полагаю, этот период рано или поздно кончится.

— Мы не только крушили, но и утверждали. Но сейчас нужно строить, строить и строить.

— Вот-вот! Сделано, конечно, много: земля... мир... отбиты почти все атаки военщины... Но вот потом-то? Потом! Нам всадит нож не Деникин, а своя собственная дикость. Доморощенная!

— Дикости хватает,— согласился Ленин.— А порыв к новой жизни? Тысяч, сотен тысяч людей?

— Наверное, есть... Но это тоже страшно; великий народ сам жжет дома, в которых можно открыть школы, травит без разбора интеллигенцию, сам стаскивает друг друга под колеса поезда...

— Были в деревне? За хлебом?

— Да...

Ленин подался вперед:

— Жгут до сих пор? Расскажите.

— Сам видел... Большой помещичий дом...

— Большой помещичий дом... А школа в деревне есть?

— Нет, в том-то и дело!

— Так! Больница? Почта?

— Нет, Владимир Ильич, нет!

Ленин выспрашивал Покровского подробно, досконально, хотел четко представить себе картину деревен-

ской жизни, положение в селе. Он и предположить не мог, Покровский, как интересна, важна для Ленина каждая деталь, каждый штрих этой жизни. Но знал Федор Васильевич далеко не все.

— Поджог... А местные власти?

Покровский неопределенно пожал плечами.

— Не знаете? Не интересовались? А все ли крестьяне одобряют поджоги?

— Наверное, Владимир Ильич, большинство.

— Гм... А коммунисты в деревне есть?

— Где их нет...

— Сколько — не знаете?

— Не знаю...

— Так, так...

И вдруг:

— А о Шатуре вы слыхали, Федор Васильевич?

— Немного...

— Жаль! Первые строители ее жили на болоте в землянках, пока не соорудили бараков. Топорами и пилами валили тысячи деревьев на просеке, поставили сотни двенадцатиметровых опорных мачт... Питались иногда гнилым горохом и червивой воблой, слышали подчас не только угрозы, но и выстрелы врагов... И вот скоро будем торжественно пускать электростанцию!

— Владимир Ильич,— уверенно и с достоинством ответил Федор Васильевич,— задолго до Советской власти и до того, как ваши любимые Карл Маркс с Фридрихом Энгельсом открыли так называемые законы общественного развития, русские мужики, тоже, наверное, питаясь червивой воблой и гнилым горохом, возводили дивные храмы, дворцы и палаты — сокровища мировой культуры! Будучи только рабом, таких шедевров не создашь, и сколько бы там ни полегло мужиков от кнута, возводила шедевры вера, порыв, о котором вы говорили. Вера в необходимость того, что они делали, в прекрасное будущее. Однако, украсив землю, совершив подвиг, эти люди не смогли изменить жизнь в принципе. Она по-прежнему оставалась ужасной.

— Так для того и совершалась революция, дорогой Федор Васильевич, чтобы вера и порыв миллионов смогли, наконец, изменить, как вы говорите, жизнь в принципе!

— Революция, как я понимаю, устанавливает торжество разума, справедливости, науки и прогресса.

— Вот-вот! — подхватил Ленин.— А она не установила, не обеспечила! Сейчас вы начнете приводить примеры. Давайте!

— То, что она не обеспечила, или пока не обеспечила, или не во всем обеспечила, вы знаете, и это хорошо. Но она и не обеспечит. Вот в чем дело!.. Видите, я уже контрреволюционер...

— Нет... Вы просто сами себе мешаете жить. Что на вас давит, Федор Васильевич? Что вас так гнетет? — с участием спросил Ленин.— Думы о завтрашнем дне?

— Будущее.— Покровский помолчал, глядя прямо перед собой, и добавил: — Имею в виду не будущее своей персоны, конечно...

— Понимаю,— отозвался Ленин.

— Владимир Ильич, а вы, простите за вопрос, не просыпаетесь ночью в тревоге?

— Просыпаюсь...

Он хотел сказать, что не только просыпался и просыпается... Когда страна была в огненном кольце фронтов, просыпался и шел звонить дежурным, военным, а то и по прямому проводу. Запрашивал, допустим, Вологду, где мог вспыхнуть контрреволюционный переворот, о положении дел... Выяснял судьбу какого-нибудь поезда... Или спрашивал, как исполняется намеченное, давал советы, помогал... Прошли особо опасные в военном отношении годы, а он и сейчас просыпается, что-то додумывает, намечает неотложное, что нужно будет сделать утром...

Ленин пропустил все это и сказал другое:

— Некоторые из нас прекрасно, прямо-таки великолепно научились доказывать, почему именно нельзя наладить или улучшить какое-либо дело. Если бы эти усилия обратить на то, чтобы все-таки попытаться его улучшить, мы бы давно достигли бо́льших успехов. Но до этого еще далеко...

Ленин встал, прошелся по кабинету, как будто перед ним не было Федора Васильевича.

Покровскому показалось, что Ленин совершенно забыл о нем. Но Владимир Ильич подошел к посетителю и сказал:

— Что же, Федор Васильевич, может, ничего и не

выйдет. Если мы сейчас не сумеем поднять промышленность и сельское хозяйство — погибнем. Устроит вас гибель Советской власти?

— Лично мне, Владимир Ильич, Советская власть ничего не дала. Но если она действительно может изменить жизнь людей — было бы жаль ее гибели: среда, из которой я вышел, ждет от нее многого.

— Какая среда?

— Мой дед и отец — крепостные из-под Брянска. Когда известный вам Мальцев строил чугунолитейный завод в Песочне, они возили тачки с песком и землей. И завод построили. Стоит.

— «Завод»!.. Мы построим новое общество и без кнута надсмотрщика.

Звонили по телефону, иногда входила секретарь, а Ленин продолжал беседовать с Покровским. Он не мог отпустить этого человека прежде, чем не будет уверен: Покровский сделает все возможное, чтобы карта, о которой он, Ленин, мечтал, ожила на всем пространстве России — от Питера до Владивостока, от моря Белого до моря Черного.

Больше всего беспокоил Ленина горестный взгляд Федора Васильевича, когда тот говорил о будущем.

Ленин спорил, убеждал... Он готов был убеждать, не жалея ни времени, ни сил. Но решать... решать человек должен сам.

Наконец договорились, что Покровский в ближайшее время позвонит или наведается в Кремль.

Это было в субботний день. Владимир Ильич раньше обычного закончил работу и поехал в Горки.

Поздним вечером, когда в комнате маленького флигелька Ленин уже собирался ложиться спать, за окном вдруг ударил дождь. Хотя он не был первым за последние дни, сегодняшний показался Владимиру Ильичу каким-то особенным. Он напористо хлестал по отяжелевшим веткам, примятой траве. Толстые старые деревья скрипели под ветром, дождь стучал по крыше, порыв ветра иногда швырял капли в окно, и они ползли по черному стеклу шариками — зелеными от абажура настольной лампы...

Владимир Ильич осторожно вышел на кухню, подогрел чай. Он не хотел беспокоить других, больше

того: ему не хотелось, чтобы домашние знали, что он еще не спит. Отодвинув томик «Войны и мира», Владимир Ильич присел к столу и, охватив ладонями стакан, заглянул в книгу...

Дождь продолжал монотонно стучать по крыше. Под ним мокли сейчас леса, голые поля, спящие деревни и города. Было очень приятно в такую ночь держать горячий стакан и смотреть в темное окно, за которым сырость и дождь.

Хорошо!

Ленин отпил глоток. Чай был крепок и все еще горяч. Прекрасный чай! Он прочел несколько страниц Толстого и захлопнул том: темное окно манило к себе. Снова он слушал, как стучат дождевые стрелы по крыше, бьют по листве, как, шумя, машут ветвями тяжелые деревья.

«А ведь будет время, обязательно будет... Вместо разноцветных кружков на карте появятся дымящие торфяным дымом электростанции, встанут плотины на реках... Свет... Свет...»

И в Москве, в Староконюшенном, стучал дождь, за окнами была темнота...

В заботах о завтрашнем дне Федор Васильевич перебирал столовое серебро: что пока сохранить, что отдать спекулянтам в обмен на хлеб.

Разговор с Лениным поразил Покровского своей предельной безыскусностью. «Не саботируете ли?..» «Не сделаем — погибнем!» «До сих пор жгут?» О сложном просто, прямо, убежденно, как свойственно только людям необыкновенным. Но великие уже были... Их имена остались в легендах, и теперь не различишь, где подлинные события, где тенденциозный вымысел... Идеологии, показывает беспристрастная история, вырождались раньше, чем можно было ожидать, чем о том догадывались люди, вырождались, становясь мертвыми догмами, страшными тем, что держали миллионы людей в путах веры, когда верить уже было не во что и не в кого... И у необыкновенных, знал Покровский, свои слабости. Главное, что будет потом. Победят ли такие, как Ленин, или их антиподы...

Федор Васильевич оставил вилки и ложки. Подошел к шкафу, достал брошюру Кржижановского «Основные задачи электрификации России».

«Отличио издаио! Неужели в замерзшей типографии?»

Ои вертел книжку в руках, рассматривал карту, отпечатаииую в пять красок, четкий шрифт... Ничего ие скажешь, отличио! Федор Васильевич был библиофилом, иеплохо разбирался в полиграфических тоикостях и сейчас ие переставал удивляться: «Печатали потому, что просил Леиии!» Сказал — и сделали.

Федор Васильевич пожалел, что не поговорил об этом с иаборщиком. Кто бы мог подумать, что иа призыв одного человека последует такой отклик? Что-то совсем иевиданное: передача чувства ответствеиности другим... Сознаиие необходимости сделать, казалось бы, иевозможиое...

Покровский поглубже уселся в кресло, пододвинул к себе коптилку и прииялся листать киижку. Страиицы ее пахли типографской краской и, казалось, чем-то еще, до сих пор неведомым...

За окнами шумел дождь.

...Вдруг послышался стук в дверь — звоиок давно уже ие работал. Федор Васильевич прислушался. Стучали ие кулаком — чем-то твердым... Взгляиул иа часы — второй уже! Кого это в такое время заиесло? Стук повторился сиова, иа этот раз был иастойчивым, угрожающим.

— Федя, стучат,— сказала жеиа из спальии, стараясь скрыть тревогу: выдержаииейший Федор Васильевич терпеть не мог ие только паники, ио и всякого рода чрезмериых выражеиий испуга и страха. Оии, по его твердому, но иикогда ие высказывавшемуся убеждеиию, уиижали человеческое достоииство.

— Сейчас открою,— громко сказал ои тем, кто был за дверью.

Федор Васильевич встал и пошел открывать.

«Обыск...»

Явились трое... В руках одиого — револьвер.

— Прошу вас...— пригласил Федор Васильевич.

7. ШАТУРА

Наступил деиь волиующих событий.

Утром с Казаиского вокзала отходил на Шатуру до 101-й версты специальиый поезд. Он вез гостей на от-

крытие временной Шатурской электростанции. Гости начали съезжаться рано, чуть не с восьми часов: подумать только — открытие электростанции! Это был праздник почти невероятный.

На одном из перронов вокзала стояли рабочие, представители наркоматов, партийцы. Среди них можно было увидеть и Федора Васильевича Покровского. Ведь он все-таки энергетик... И так просто и убедительно говорил Ленин. И не забыл, напомнил, чтобы пригласили старика!

Сидеть дома, ничего не видеть, ничего не слышать — позиция, недостойная умного человека. Все самому знать и самому делать выводы!

Федор Васильевич прохаживался по перрону в своем черном костюме, с брезентовым плащом через руку. Этот грубый плащ Федор Васильевич всегда брал с собой в дорогу, отправляясь куда-нибудь под Москву: на дачу к знакомым или по делам на заводы. Федор Васильевич как бы суеверно полагал, что плащ этот укроет его не только от напастей непогоды, но и от всего непредвиденного в пути.

Поезд, состоявший из нескольких вагонов с узкими окнами, очень похожий на так называемый «рабочий», наконец подошел. Толпившиеся на перроне люди быстро расселись по вагонам.

— Калинин...— услышал Федор Васильевич и выглянул, как и другие, в окно.

В окружении нескольких человек по перрону шел Михаил Иванович. Темный, видавший виды костюм... Синяя косоворотка... Фуражка с высокой тульей: рабочий или горожанин-ремесленник...

Паровоз долго и торжественно гудел, словно расчищая себе путь среди множества пакгаузов, мастерских, сходящихся и расходящихся путей.

Некоторые пассажиры были знакомы друг с другом и оживленно разговаривали. Но Покровский никого из своих соседей не знал и с любопытством присматривался к людям в пиджаках, рубахах навыпуск, в старых гимнастерках, в начищенных ради праздника ботинках и сапогах. В этих служащих, рабочих, партийных деятелях Федора Васильевича смущала, как ему казалось, некоторая бездумная готовность по первому зову идти вперед, низвергать или утверждать все, что угодно, лично не утвердившись еще ни в чем,

Что ж, если другие ие могут или не хотят, вот это он и возьмет на себя: не кричать «ура!» прежде, чем не убедишься сам, что приведет оно к добру...

Большинство гостей были с газетами, и Федор Васильевич из «Правды», которую читал человек, сидевший напротив, узнал, что открытие Шатуры ставится в один ряд с самыми выдающимися победами Красной Армии. Газета горячо поздравляла строителей с победой...

А вокруг слышалось:

— Я этого Винтера знаю еще с дореволюционных времен. Мы с иим часто встречались...

— Это главный инженер-то?

— Завтра по всей стране узнают о нашей Шатуре!

— А за ней? Представляешь, какие станции пойдут за ней?

— ...и прямо из госпиталя иа строительство!

— Самое главиое, чтобы каждый крестьянин увидел этот свет и потянулся бы к нему. Россия — страна крестьянская!

— А рабочий? Почему ты не говоришь о рабочих?

— Рабочий — само собой... Рабочий — это ясно. А за крестьяниииа цепляется эсер, цепляются все, кому Советская власть поперек горла...

— «Октябрь — двигатель пролетарской революции!» — этот лозунг теперь получает материальную основу... Ты понимаешь?

— Это какой Гончаров? Что отличился под Орлом? А против Юденича ие он ходил?

И так всю дорогу...

Как многие страшатся встречи с землей своего детства, так Федор Васильевич страшился встречи с тем, что сделаио иа Шатурских болотах... Ведь можно увидеть такое, что сожмет душу в кулак и перевернет все вверх дном...

Сотни людей в одеждах, которые вытаскивались из сундуков разве что на пасху и рождество, в троицын и духов деиь, в «престол», собрались у здания стаиции с высокой железной трубой. Сотни крестьян из окрестных деревеиь приехали сюда...

Праздиик!

Но торжество началось не сразу. Михаил Иванович по-хозяйски обошел строительство, с интересом осмотрел станцию, заглянул в школу, в амбулаторию,

поговорил со многими каменщиками и техниками, пожал им руки, поздравляя с победой.

Федор Васильевич смотрел на небольшое здание станции, на людей, не слишком внимательно следил за самой церемонией открытия. Откуда-то издалека видел он и слышал: звучные аплодисменты... вручение знамени Моссовета... чтение грамоты ВЦИК...

Палящий зной! Шпарит, шпарит нещадное солнце!

Сотни людей не спускали глаз с Калинина... Здесь и порыв, и вера, те самые, о которых говорили они с Лениным. Все это есть. И станция есть...

Рядом с Федором Васильевичем стояли мужики, рабочие, люди одного с ним корня. Этот старик в белой рубахе... Широкоскулый малый в пиджаке... Молодая женщина с васильковыми глазами, в платочке... Коренной российский народ...

На Федора Васильевича остро пахнуло сельским детством, таким уже бесконечно далеким и все еще ярким, пахнуло запахом свежеиспеченного хлеба на капустном листе, парного молока, душного, пыльного, прогретого солнцем просторного сарая, где хранилось сено... Промелькнули перед мысленным взором Федора Васильевича колоритные, неповторимые фигуры примечательных в округе остословов, философов, умнейших и изобретательных плотников, незлобивых чудаков... Промелькнул кладбищенский холм над рекой... Покосившиеся темные кресты над чьими-то могилами, над костьми, быть может, не менее даровитых, но теперь безвестных, так и не строивших, как мечтали, жизнь со своего более чем несчастного положения...

Сейчас настало время, когда потомки тех необыкновенных плотников, мудрецов и философов могут что-то сделать...

Покровский не заметил, как стал слушать Калинина с тем вниманием и радостной настроенностью, которые были присущи здесь всем. Сейчас ему хотелось, чтобы слова грамоты ВЦИК, которую читал всероссийский староста, наполняли людей еще большей гордостью, сознанием собственной силы и превосходства надо всем, что противостоит разуму и доброй воле.

— ВЦИК именем рабочих и крестьян Советской республики,— читал Калинин,— объявляет признательность и благодарность всем тем труженикам, без-

заветная преданность, энергия и чрезвычайное напряжение сил которых привели к столь ценному для республики результату. Перед лицом республики ВЦИК считает справедливым особо отметить, что все участники работ по сооружению Шатурской электрической станции, как руководители — организаторы работ, так и технический персонал и рядовые рабочие, оказались дружной трудовой семьей, воодушевленной желанием сделать все возможное для скорейшего и благополучного доведения работ до конца и победы над разрухой страны.

Когда Михаил Иванович сказал о том, что ВЦИК считает всех работников, участвовавших в сооружении Шатуры, достойными занесения на Красную доску, как пример подражания для всех трудящихся республики, Федор Васильевич увидел, что некоторые смутились. «Неужели они и есть пример для всей республики? Вот они со своими заботами о хлебе и одежде, со своими недостатками и слабостями...»

А когда оркестр заиграл «Интернационал» и могучий голос звенящей меди заполнил необозримые пространства болот, на глаза людей навернулись слезы. И у самого Покровского начало пощипывать в глазах. Давно он не испытывал подобной радости. Словно вместе со всеми одержав победу, смотрел он на этих людей и не узнавал их: они стали как бы другими — мужественнее, прекраснее...

После митинга, когда многие гости стали разъезжаться, Федор Васильевич придирчиво, не спеша, осмотрел строительство. Станция, конечно, маленькая, мощностью всего пять тысяч киловатт... Но и это — чудо! Использовали все, что могли: турбогенератор Эрликона, отысканный в Петрограде на Балтийском заводе, котел системы Ярроу, снятый с броненосца «Наварин»...

И правильно, что использовали!

Поразило Федора Васильевича обилие зелени, свежих молодых деревцов, посаженных возле станции, между новенькими жилыми домами, у амбулатории, Народного дома, бани. Когда капиталисты строили заводы, деревьев столько не сажали: разве они приносили выгоду?.. Человек, который считает дерево таким же необходимым для жизни, как и само предприятие, и есть настоящий... Вот он-то и работает для

людей. Приятно было сознавать, что такие настоящие рядом...

Что может быть бо́льшим счастьем, чем быть вместе со всеми и радоваться тем, что радует других?

И все-таки что-то мешало еще Федору Васильевичу безоговорочно принять все происходящее...

А через несколько часов Шатура горела.

Стремительный огонь с трех сторон разливался по торфяному болоту, захватывая все новые и новые участки. Машины, бараки, телефонные столбы, опорные мачты, штабеля торфа, дров горели... Готово было заняться здание турбинного зала...

Федор Васильевич вдруг вспомнил, что все это уже было: запах дыма, языки пламени, без разбору уничтожающего все подряд, острое ощущение несправедливости и какой-то первобытной беспомощности.

Хотя ветра и не было, сильнее, раздражающе запахло дымом...

Версты две до болота, охваченного огнем, а Федору Васильевичу казалось, что он чувствует жар пламени.

Не осознавая, что делает, Федор Васильевич развернул плащ и надел его. «Пригодился все-таки!»

Покровского бил озноб. Всепроникающий холод шел откуда-то из глубины... А как было хорошо всего какой-нибудь час назад!

Выл гудок, раздавались удары в рельс, отзываясь ощутимой болью в голове...

Федор Васильевич зашагал к станции, надеясь, что в ходьбе согреется и озноб наконец пройдет.

Одни говорили, что пожар устроили кулаки и дезертиры, другие, что пожар мог возникнуть от непогашенного окурка, брошенного кем-нибудь из строителей; кроме того, торф иногда самовозгорается...

Уничтожен был труд тысяч людей. Но удар этот, к счастью, уже ничего не мог изменить. Станцию отстояли. А главное — люди поверили, что они сила, что, как бы ни было трудно, все же это возможно — свет над землей. С удивительным молчаливым упорством, где не было места жалобам и растерянности, взялись шатурцы воздвигать то, что было истреблено огнем...

8. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗНАКОМСТВА

Мистер Герберт Джордж Уэллс, пожилой, небольшого роста, с коротковатыми руками и ногами, маленькой для его фигуры головой, отлично выбритый и свежий, вышел из подъезда дома № 17 по Софийской набережной. Его сопровождали немолодая переводчица в шляпке и матрос. Это был полномочный представитель революционного российского флота, и таковым он и чувствовал себя, охраняя именитого гостя Советского правительства от покушений контрреволюции и различных подонков бывшей империи. Крупный, широкоплечий, он ходил, как бы не обращая внимания на Уэллса, смотря куда-то поверх голов, но видел при этом не только своего подопечного, но и все вокруг.

Герберт Уэллс уже побывал в Петрограде, изучил его, теперь он будет знакомиться с жизнью Москвы.

На улицах было малолюдно. На той стороне реки, на холме, высился Кремль, уже сколько веков символизирующий Россию. И сейчас, запущенный, пострадавший от артиллерийского обстрела, он был все же выразителен и впечатляющ.

Это, конечно, Азия, славянство, все эти купола, кресты и башенки, но если и Азия и славянство, то величественные, покоряющие своей особой красотой и силой.

— Итак? — произнес Уэллс, обращаясь к переводчице.

— До встречи с Лениным у нас осталось пятьдесят две минуты, мистер Уэллс.

— Превосходно.

Гость и сопровождающие его отправились побродить по улицам столицы. Уэллс уже видел разруху во всей ее катастрофичности. Это был результат действия многих и многих факторов, о которых он прекрасно знал. Никто не ставил сознательной целью довести железные дороги до такого состояния, что поезда ползли по ним с допотопной скоростью, никто не ставил целью разрушить мостовые до такой степени, что автомобиль подпрыгивал на ухабах, и пассажиры больно стукались головами о верх кузова. Так получилось...

Но вот вывески! Это было поразительно!

Многие из них согнуты, поломаны, скручены. Сор-

ванные болтались на одном, двух крюках, тихо поскрипывая на осеннем ветру. Это была направленная, не хочется говорить — сознательная работа. Сколько нужно было силы, неистовства, тупой злобы! Для того чтобы изуродовать вывески, нужно было раздобыть лестницу, топор или молоток и крошить, крошить, крошить!

— В чем дело? — спросил Уэллс переводчицу, указав на исковерканную вывеску аптеки.

— Безобразие, мистер Уэллс,— ответила переводчица, стыдясь за своих соотечественников.— К сожалению, мистер Уэллс, наследие царизма...

— Вы думаете? — с иронией спросил Уэллс.— Пожалуй, не так. Это — выражение ненависти к царизму. Заметьте: сшибали те вывески, на которых изображен царский герб.

Уэллс остановился напротив небольшой часовенки, куда ломился народ. У входа образовалась толчея, шныряли подозрительные личности, бойкие, пронырливые мальчишки, торговцы разной мелочью.

Переводчица и матрос тоже остановились.

Уэллс не спеша достал сигару и, откусив кончик, стал искать урну, но не нашел и вынужден был бросить его на мостовую.

Привычно сунув сигару в рот, Уэллс полез в карман за спичками. Но спичек не оказалось. Он похлопал по другим карманам и нетерпеливо перекатил сигару из одного угла рта в другой.

— У вас есть спички, товарищ Чекулин? — обратилась взволнованная переводчица к сопровождающему.

— Не предусмотрел, товарищ переводчик,— ответил он громко специально для Уэллса, как будто тот мог понять его, и, озабоченный, тихо добавил: — Моего жалованья на них не хватит.

Переводчица встревоженно подняла брови, широко раскрыла глаза, как бы умоляя Чекулина думать, прежде чем говорить об этом в присутствии мистера Герберта Джорджа Уэллса.

— Я тихо. И он не понимает русского,— отозвался Чекулин.

Уэллс между тем подошел к замысловато одетому мальчишке, прохаживавшемуся у входа в часовенку, и ткнул пальцем в спичечный коробок.

— Что? — не понял сначала мальчишка и потом утвердительно закивал головой: — Продаю... Продаю...

Уэллс достал бумажник и, вынув купюру, спрятал его обратно.

— Э-э, нет, брат! — сказал мальчишка и даже отвернулся от несолидного покупателя.

Мистер Уэллс снова достал бумажник и извлек еще одну купюру. Но мальчишка лишь ухмыльнулся. Тогда именитый писатель вынул пачку денег, небрежно пихнул их в карман своего строгого темного пальто и, доставая по одной бумажке, наконец добился того, что мальчишка передал ему спички. Из грязных и запущенных рук они перешли в чистые и холеные.

Уэллс с интересом осмотрел коробок и чиркнул спичкой. Она не зажглась. Уэллс взял другую — безрезультатно...

Не на шутку обеспокоенный Чекулин останавливал прохожих и спрашивал, нет ли спичек. Но спичек ни у кого не оказывалось, а предложить гостю прикурить от какой-нибудь чадящей самокрутки было, пожалуй, не совсем удобно, да и курящие как назло не попадались.

Между тем Герберт Уэллс упорно продолжал чиркать спичками. Но и третья, и четвертая, и пятая не зажигались.

Переводчица не спускала глаз с коробка...

Уэллсу наконец стало все понятно, и он, вздохнув, посмотрел в сторону, где только что стоял мальчишка. Конечно, его там уже не было.

Уэллс грустно улыбнулся и пробормотал про себя что-то неразборчивое.

Приподнявшись на носки блестящих ботинок, Уэллс заинтересовался чем-то внутри часовенки и смело ринулся к ее входу.

Переводчица, не сводя глаз с кармана Уэллса, до боли сжала руки. Не было никакого сомнения в том, что в толпе его тотчас обворуют.

Чекулин решительно направился к гостю:

— Не советую! Спрячьте, пожалуйста, деньги, — и опасаясь, что иностранец его не поймет, вынул купюры из кармана Уэллса и показал, чтобы тот спрятал их в более надежное место.

Уэллс благодарно улыбнулся матросу, глаза его стали печальными. Переводчицу это тронуло: вот пе-

реживает человек, а не злорадствует, как многие за рубежом...

Писатель внимательно рассматривал людей. В толчее перед часовенкой нетрудно было заметить разноликих представителей древней международной профессии воров и мошенников. Чекулин, довольный тем, что Уэллс наконец убедился, какая опасность ему грозила, сказал:

— Тут даже я не уберегу ваши деньги.

Уэллс кивнул головой — понимаю!

9. ВСТРЕЧА

Ленин предложил Уэллсу черное кресло слева от себя, в котором не так давно сидел Кржижановский.

Писатель поудобнее устроил свое грузное тело и, не теряя времени, не рассмотрев даже как следует обстановки и самого Ленина, высоким голосом начал:

— Мистер Ленин, как вы представляете себе будущую Россию?

Косматые брови Уэллса нависли над умными, казалось, усталыми, серыми глазами, без особого интереса смотревшими на собеседника. Он уже знал все: перед ним марксистский начетчик, пытающийся применить догмы Маркса для того, чтобы на обломках рухнувшей Российской империи создать новый мир, осуществить утопию своего бородатого учителя. Уэллс не питал к Марксу никакого уважения, наоборот, он относился к нему с неприязнью. А как можно отнестись к азиатскому последователю Маркса, да еще начетчику? Кроме того, Уэллс, как ему казалось, кое-что знал и о личных особенностях Ленина. Писателя уверяли, что Ленин любит поучать людей, что смех его, о котором так много говорят, на самом деле приятный лишь вначале, затем раздражает.

Ленин посмотрел на Уэллса и сказал, поразив гостя хорошим английским языком:

— Я отвечу на ваш вопрос, мистер Уэллс. Но мне хотелось бы сначала знать ваше мнение о России. Вы в стране пятнадцать дней. Вы видели Россию современную.

Уэллс почувствовал неподдельный интерес Ленина к его мнению, уважение к своей личности, хотя понять,

в чем именно это выражалось, было трудно и, пожалуй, даже невозможно: Ленин сидел спокойно и очень внимательно смотрел на гостя. Он хотел знать его мнение о стране.

Приподняв косматые брови над узкими глазами с припухшими веками, Уэллс ответил Ленину давно сложившейся фразой:

— Россия современная? История еще не знала такой катастрофы.

Ленин прищурился, вскинул голову, выставив вперед бородку. Он как бы призывал собеседника взвесить все доводы, прежде чем настаивать на столь категорическом утверждении. «Так?! Так ли?!»

— Катастрофа,— спокойно повторил он и не спеша стал перечислять: — Голод, тиф, разруха, варварство, низкий уровень производства... Все это так. Но не катастрофа.

— Что же, по-вашему, катастрофа, мистер Ленин?

— То, что произошло с царской Россией. Строй не мог существовать далее, несмотря на помощь извне. У нас положение тяжелое, очень тяжелое,— подчеркнул Ленин,— и, быть может, даже отчаянное, но страна живет, новый государственный строй удержался в России. Ему нужны силы, энергия, чтобы он окреп, встал на ноги.

И Герберт Уэллс почувствовал, что ему хочется верить Ленину. Был ли это гипнотический дар, которым, как говорили ему, обладает Ленин, или результат смелого признания руководителем России страшных ее бед — неизвестно. Но Уэллсу уже было интересно: этот человек смотрел правде в глаза, как бы она ни была страшна. Значит, Ленин видел разруху и хаос, и не только не отрицал их, но еще и подчеркивал масштабы трудностей. Разница была в выводах, но это уже вопрос философский. И разве не заслуживает уважения человек, который, не преуменьшая опасностей, видит все же какой-то выход?

— Да, Россию нужно коренным образом перестроить, воссоздать заново,— заметил Уэллс.

— Мы за это и взялись, мистер Уэллс,— сказал Ленин, как будто речь шла о самом обычном.— Мы в нужде и голоде, мы в тяжелом, отчаянном положении. Но у нас есть силы, которые уже сейчас дадут возможность начать преобразование России, к которой, я ви-

жу, вы питаете самые теплые симпатии, мистер Уэллс.

Ленин все более и более увлекался.

— Вместо разрушенных железных дорог появятся новые, электрифицированные. Вместо разбитых грунтовых дорог, над которыми сейчас слышен лишь свист кнутов, ругань возниц, страну покроют новые, шоссейные. Мы построим фабрики и заводы, индустриализуем страну. У нас будут свои машины, свои автомобили, тракторы.

Уэллс поймал себя на том, что он не только внимательно слушает этого человека, но и верит ему. Да, он сидел и слушал именно с таким видом.

Ленин говорил о планах реорганизации России. Они казались Уэллсу справедливыми, честно задуманными и очень простыми. Простота и честность особенно нравились Уэллсу. Но когда Ленин заговорил об электрификации, Уэллс спросил:

— Имеется в виду электрификация в будущем?

— В настоящее время.

— Сейчас, когда в стране почти угасли торговля и промышленность?

— Да, сейчас.

Уэллс молчал. Он выражал своему собеседнику полное недоверие и давал ему возможность вернуться в реальный мир.

— Проекты электрификации,— начал Уэллс,— осуществляются сейчас в Голландии, обсуждаются в Англии, и можно легко представить себе, что в этих густонаселенных странах с высокоразвитой промышленностью электрификация окажется успешной, рентабельной и вообще благотворной.

Пока Уэллс говорил, Ленин чуть заметно кивал головой: это он уже слышал, к сожалению, не раз... Ну что же, продолжайте...

— Однако электрификация России...— Уэллс оборвал фразу и пожал плечами: можно ли об этом говорить всерьез?

— Мы будем электрифицировать Россию сейчас,— сказал Ленин.

Уэллс поднял голову.

— В России будут созданы крупные электростанции, которые дадут целым губерниям энергию для освещения, для работы транспорта и промышленности.

Великолепно! Но объективность и реальность прежде всего! И Герберт Уэллс выпрямился в кресле, словно встряхивая себя, освобождаясь от обаяния этого невысокого человека, от захватывающего благородства его стремлений.

— Дерзновенный проект,— определил Уэллс.— Я не знаю более дерзновенного. Но в огромной, равнинной, покрытой лесами стране, населенной неграмотными крестьянами, не имеющей технической интеллигенции, это утопия. В отличие от других — электрическая.

— Да, так может показаться некоторым,— спокойно сказал Ленин.— Я понимаю это. Между прочим, так кажется и некоторым нашим руководителям. Но уже есть опыт. Мы электрифицировали два района.

Ленину было приятно сказать это Герберту Уэллсу. Великая мечта осуществлялась... Собеседник наконец поймет... Он крупный писатель, незаурядная личность. Представить себе Россию электрифицированной не труднее, чем представить жизнь на других планетах, на Марсе... Ленин продолжал рассказывать, какие электростанции будут построены в ближайшее время.

Уэллс кашлянул и спросил:

— И вы возьметесь за все это с вашими мужиками, крепко сидящими на земле?

— Мужики станут другими. Будут перестроены не только города, деревня тоже изменится до неузнаваемости.

Уэллсу осталось лишь удивиться еще больше. Несмотря на свою сдержанность, он сделал едва заметный, но все же вполне определенный жест: ну и ну!

— Уже сейчас,— продолжал Ленин,— у нас не всю сельскохозяйственную продукцию дает крестьянин. Кое-где существует крупное сельскохозяйственное производство. Там, где позволяют условия, правительство взяло в свои руки большие поместья, в которых работают не крестьяне, а рабочие.

10. У ЧАСОВНИ

Между тем Чекулин ходил возле часовенки и присматривался к ребятам. Он искал того мальчишку, который так ловко обманул именитого гостя. Опытные

спекулянты и мошенники, завидев плечистого матроса с кобурой, старались исчезнуть из поля его зрения.

Чекулин увидел невысокого роста парнишку и остановился: «Не этот ли?» На нем было рваное пальтишко, не по размеру большой картуз на голове, ботинки, перевязанные веревочкой... Но со спины трудно было определить точно.

Чекулин положил руку на худое плечо парнишки и сурово сказал, поворачивая его лицом к себе:

— Позоришь Республику Советов, малец...

Но парнишка оказался не тот, кого он искал. Чекулин нахмурился и, молча оттолкнув его, пошел дальше.

«Может быть, вот этот?» — он посмотрел на другого.

Картуз съехал ему на лоб, отломанный козырек закрывал глаза, и Чекулину пришлось не очень вежливо приподнять его.

— Чего ты?

Даже Чекулина, много повидавшего на своем веку, тронуло выражение глаз маленького голодного человечка, продававшего никому не нужные летние перчатки, бывшие когда-то белыми.

Чекулин вздохнул и отошел. Остановившись невдалеке от часовенки, он посмотрел на сборище людей, согнанных сюда голодом и нуждой.

Постояв так, он снова вошел в толчею.

Паренек с перевязанным грязной марлей горлом продавал пестрые открытки... Мальчик, с копной черных волос, в чем-то убеждал деревенскую богомолку с котомкой за плечами и палкой в руке... Совсем маленький, худенький мальчишка, перетянутый ремнем, держал в руке толстую книгу.

Наконец Чекулин увидел того, кого искал. Это был мальчик лет десяти, с бледным, изможденным лицом. На этот раз он продавал какие-то порошки в пожелтевшей бумаге.

Чекулин двинулся к нему.

Мальчик, заметив Чекулина, насторожился и, растолкав людей, подался в сторону. Чекулин, лавируя между богомольцами и торговцами, бросился за мальчишкой и, догнав его, схватил за плечо.

— Ну чего ты ко мне пристал? — заныл мальчишка.— Чего тебе от меня надо?

— Позоришь Республику Советов, малец,— без прежнего пафоса сказал Чекулин.— Иностранцев обманываешь. Клади деньги на кон!

Мальчишка полез за пазуху и достал оттуда кусок черного хлеба, завернутый в тряпку.

— Вот его деньги... Бери...

Чекулин молча сунул руку в карман брюк и протянул мальчику кусок сахара.

...Опасаясь, что его подопечный уже мог закончить беседу с Лениным, Чекулин вернулся в Совнарком.

— Ну как? — осведомилась переводчица.

— А-а! — в досаде сказал Чекулин и махнул рукой.

— Не поймали?

— Нет...— Чекулин помолчал и спросил: — Не опоздал?

— Беседа продолжается,— торжественно ответила переводчица.

— Однако...— многозначительно сказал Чекулин, посмотрев на часы, и сел.

Сопровождающий должен быть всегда на месте.

11. ПРОДОЛЖЕНИЕ ВСТРЕЧИ

Короток октябрьский день. В кабинете стемнело, и в честь именитого гостя Ленин зажег стеклянную люстру с пятью лампочками по шестнадцать свечей каждая. Не часто он это делал...

Уэллс сидел по-прежнему в кресле, внимательно слушая, но все чаще с интересом поглядывал по сторонам, пытаясь рассмотреть детали обстановки. Ленин говорил убедительно, с подъемом, и Уэллсу так хотелось верить ему!

За свою жизнь он беседовал со многими великими людьми этого мира — писателями, политическими и государственными деятелями, изобретателями, учеными. Не все они казались ему тогда великими (и действительно, одних жизнь опровергла, других утвердила). Но, пожалуй, все они были с той или иной долей претензии, все — в меньшей или большей степени — стремились произвести на него нужный, выгодный им эффект. Ничего этого и в помине не было у Ленина.

Ленин не боялся быть самим собой: становилось смешно — смеялся или улыбался; становилось грустно — грустнел; не нравилась речь собеседника — хмурился; не верил ему — так и говорил прямо, что не верит. Уэллс знал, что не бояться быть самим собой могут люди только поистине великие, люди великой цели и великих дел. Но и себя Уэллс считал немалой величиной в этом мире. И одними из качеств, сделавших его таким, по его мнению были трезвость суждений и чувство реальности. Вот к трезвости он и призывал себя, когда Ленин начинал говорить о вещах, для него, Уэллса, явно фантастических.

— Практика создания электростанций на топливе, электростанций, использующих водную энергию,— продолжал Ленин,— может быть, и будет расширена, внедрена сначала в одной губернии, потом в другой. Как видите, я говорю о вполне осуществимом.

«А что, собственно, невозможного в том,— подумал Уэллс,— что имеющийся небольшой опыт может быть распространен по всей стране?»

Он сунул руку в карман и нащупал коробок со спичками. Это вернуло его в реальный мир. Достав коробок, машинально вертя его в руках, он слушал Ленина, но уже с другим настроением. Тень недоверия и легкой иронии скользнула по его лицу.

— Я думаю, мистер Уэллс,— продолжал Ленин,— что, когда вы приедете к нам через десять лет, вы убедитесь в жизненности наших теперешних планов.

Свет неожиданно погас, потом лампочки мигнули и снова загорелись слабым, красноватым светом, при котором нельзя было рассмотреть лица собеседника. Ленин даже не взглянул на лампочки, видимо, это был не первый случай.

Уэллс покосился на люстру, но, как и все, что он делал, очень спокойно, не придавая никакого значения внешним бытовым обстоятельствам, какими бы необычными они ни казались.

Лампочки снова мигнули и погасли. Но вот опять замерцали красноватым светом.

— Придется, мистер Уэллс,— просто сказал Ленин,— зажечь свечи.

Уэллс непроизвольно протянул руку с коробком, но, вспомнив о качестве спичек, отвел ее назад. А Ленин, увидев коробок, спросил:

— Разрешите?

— Этими свечи не зажжете,— с огорчением заметил Уэллс, кладя спички на стол.

— Почему? — Ленин, взяв коробок, посмотрел на него, прочел надпись на этикетке и чиркнул спичкой. Потом другой.

Как и в руках Уэллса, спички дымили, но не зажигались, тем не менее Ленин продолжал чиркать.

Уэллс знал: не зажгутся — и хмурился. Он совсем не собирался доказывать что-либо таким образом.

— Да,— наконец вынужден был признать Ленин.— Не зажигаются. На рынке купили?

— На рынке.

Ленин вернул спички гостю и сказал:

— Мистер Уэллс, спички-то у нас есть, и спички неплохие.

Владимир Ильич достал из ящика стола коробок, зажег свечи.

— Вы сказали,— напомнил Уэллс,— что изменятся не только города, но и деревни.

— Да.

— Тогда вам придется перестроить не только материальную организацию общества, но и образ мышления целого народа. По традициям и привычкам русские — индивидуалисты и любители поторговать.

«Ну, конечно же!» — подумал Ленин и улыбнулся. Потом серьезно сказал, как будто речь шла о чем-то совсем решенном и ясном:

— Несомненно, изменится и образ мышления, как вы говорите, индивидуалистов и любителей поторговать.

— Со временем?

— Да.

— Мистер Ленин, чтобы построить новый мир, нужно сначала изменить психологию людей. Сначала.

— Хорошо бы так. Прекрасно. Но так мы ничего не построим. И думаю,— Ленин сделал паузу,— не только мы, никто на нашем месте не построит. Заколдованный круг... Где взять этих новых людей? Не одного, не десяток человек, а тысячи и тысячи? Надеяться, что они вдруг появятся,— обманывать себя.

Уэллс резко разжал кулаки: он возражал, он был категорически несогласен.

— Я верю, что в результате большой и упорной воспитательной работы теперешняя капиталистическая система может стать цивилизованной и превратиться во всемирную коллективистскую систему.

— «Капиталистическая — в коллективистскую...»— Владимир Ильич нахмурился. В эти минуты разговор был явно ему не по душе.— Гм... Гм...— покашливание Ленина становилось все более энергичным и нетерпеливым.— «Капиталистическая — цивилизованной...»

— Да, да,— подтвердил Уэллс.

— Вы знаете мою точку зрения,— деликатно ответил Ленин. «Политическое мещанство! Сущая ерунда! Капиталист перестанет быть капиталистом! Во что вы верите?! Чем вы себя тешите?!» — хотелось сказать ему, но вряд ли Уэллс мог это понять.

— Да, я знаю вашу точку зрения,— заявил Уэллс.— Классовая борьба, насильственное свержение капиталистического строя, диктатура пролетариата. Кровь... Жертвы...

— Это неизбежно,— подтвердил Ленин.— Немалые жертвы. Но во имя чего? Есть ли этому оправдание или нет?

Они помолчали. Их мнения по основному вопросу не сходились.

— Мистер Уэллс,— наконец сказал Ленин,— я с удовольствием читал ваши романы, когда был помоложе, и с удовольствием перечитываю теперь.

Уэллс признательно наклонил голову:

— Спасибо.

— Читая вашу «Машину времени», я понял, что человеческие представления созданы в масштабах нашей планеты: они основаны на предположении, что технический потенциал, развиваясь, никогда не перейдет земные пределы. Но ведь он перейдет их?

— Нет никакого сомнения.

— Я так же, как и вы, убежден в этом.— Ленин обрадовался. Ему было приятно, что большой писатель и мыслитель разделяет его веру в будущее науки и техники. Владимир Ильич оживился, глаза его заблестели, и он продолжал: — Технический потенциал перейдет земные пределы, и мы сумеем установить межпланетные связи. И тогда,— Ленин дружески улыбнулся,— мы проверим: правильно ли вы, мистер Уэллс, описали Марс и марсиан.

— Боюсь, я не выдержу такого экзамена,— серьезно сказал Уэллс.

— Подумать только! Люди на Марсе! Мы с вами разговариваем об этом как о реальности.

— Вы сказали: мы установим межпланетные связи. Кого вы имеете в виду?

— Передовую страну. Не только страну передовых ученых и техников, но и страну передового общественного устройства.

Уэллс опустил косматые брови и облегченно вздохнул.

— Установив межпланетные связи,— продолжал Ленин,— нам, пожалуй, придется пересматривать наши представления о мире.

— Это будет в высшей степени занятная работа,— заметил Уэллс.

— Возможно, пересмотрена будет и ценность самого человека. Сейчас человек единственное мерило всего сущего, нас не с кем сравнить. «Человек есть мера всех вещей». Это революционное для своего времени положение выдвинуто еще в пятом веке до нашей эры.

Ленин сделал паузу.

— Но когда во «все вещи» будет включена такая вещица, как вселенная, жизнь на других планетах, их обитатели, человеку придется пересматривать и это великое и когда-то революционное положение... В самом деле, в стране лилипутов Гулливер чувствовал себя великаном, а в стране великанов — лилипутом. Мы еще нигде не были, ни с кем себя не можем сравнить. Может быть, мы самые развитые, самые сложные организации белка, а может быть, и не так, мистер Уэллс? Не об этом ли напоминает нам великий Джонатан Свифт?

— Затрудняюсь ответить, но нам подобные существуют наверняка.

— Существуют?..

Ленину становилось все интереснее и интереснее беседовать с Уэллсом.

— Вообразите только: где-то за миллиарды миллиардов километров от нас есть второй мистер Уэллс, второй товарищ Горький! — Ленин улыбнулся.

— В это верить не хочу. Есть подобные, но не вторые. Человек неповторим, вернее личность.

— Да, мистер Уэллс. Вы правы... А как насчет мистеров и товарищей?

— Хочется верить, что там царит единство в обществе.

— Единство? Возможно только единство товарищей. Значит, общество достигло расцвета.

— Было бы самонадеянностью думать, что самая древняя цивилизация — наша.

— Безусловно, мистер Уэллс... Значит, достигло?..

— Возможно-возможно. И могло бы нам многое подсказать.

— Да-а...— Ленин задумался.— Короче говоря, только овладев космосом, человек по-настоящему узнает, что он такое есть.

— В высшей степени любопытно. Но это будет нескоро.

— Да? — Ленин даже несколько огорчился.

— Война, а после реконструкция,— объяснил Уэллс.— Сначала ломаем, потом строим. Сколько сил впустую! Думаю, нескоро.

— Обидно...

— Нескоро, но осуществимо, в будущем — реально. А ваш план — сверхэлектрическая утопия, хотя я восхищен первыми ростками будущего мира, смелостью, даже дерзостью русских.

Ленин кивнул, принимая искренние признательность и восхищение.

— Приезжайте снова через десять лет и посмотрите, что сделано в России за это время,— повторил он.

— Спасибо, мистер Ленин.

Уэллс поднялся.

Встав из-за стола и подойдя к гостю, Владимир Ильич протянул ему руку.

Герберт Уэллс, прежде чем пожать ее, посмотрел в глаза Ленину. Уэллс сожалел, что по некоторым и очень существенным вопросам их мнения разошлись. Было досадно, что Ленин так жестоко ошибается в главном, эта ошибка может стоить ему жизни. И все-таки...

Словно кончая с раздумьями, Уэллс тряхнул головой и, взяв руку Ленина, крепко, дружески пожал ее.

12. ЧЕРНОЕ КРЕСЛО

Владимир Ильич положил на стопку бумаг ножницы — строжайшее указание секретарям не трогать эти дела — и, прежде чем уйти домой, еще раз огляделся, устало потер лоб.

В поле его зрения попало черное кресло слева. Вчера здесь сидел Рыков, сегодня — Уэллс.

Сидел в этом глубоком кресле и Троцкий. Он тоже не разделял его взглядов.

Противник серьезный... Он цепко держался за свои идеи и порою даже удивлялся, что в них не верят другие. «Странно!» Это усиливало впечатление от убежденности Троцкого в своей правоте, придавало ей характер очевидности, явной истины, с которой, опять-таки почему-то, не хотят считаться другие. С усмешечкой человека, которому лишь одному ведома истинная правда, Лев Давидович воспринимал противное.

Выступая против Ленина, Троцкий говорил корректно, но, пожалуй, подчеркнуто резко. Эта резкость как бы была данью величию Ленина, его влиянию в партии. Для такого гиганта, каким был Ленин, нужен достойный противник, и Троцкий хотел быть таковым. И в то же время резкость и агрессивность Троцкого должны были подчеркнуть независимость его взглядов.

В своей борьбе Троцкий в дальнейшем придет к выводу об «освобождении от идеи электрификации». На первый взгляд звучало даже изящно, но если вдуматься — едва ли не цинично. Все движение человечества от тьмы к свету было основано на освобождении от идей, сковывавших эту поступь,— идей мракобесия, догм религии, идеи рабства, как естественного состояния людей... И в этом же ряду — электрификация! «Освобождение от идеи электрификации...»

Ленин глубоко задумался.

Сиживали в этом кресле и деятели демократического централизма.

Сколько сил, энергии потратили лидеры этой группы — Осинский, Смирнов, Сапронов, Максимовский и другие, выступая против привлечения старых специалистов, против единоначалия в промышленности! А сколько сил и энергии нужно было положить, чтобы разбить их в общем-то (за версту видно!) вздорные, вредные позиции и утверждения, приправленные обыч-

ной левацкой демагогией! Казалось бы, ясно: нелепо отказаться от старых специалистов в условиях, когда нет других.

Сидел вот сегодня в этом черном кресле и Уэллс...

Ведь он ждал его, этого прозорливого человека. Узнав, что через несколько дней из Петрограда в Москву приедет знаменитый писатель, Ленин думал о встрече с удовольствием.

Владимир Ильич любил романы фантаста. Нравился ему и сам Уэллс, мечтатель и гуманист, благородная и смелая личность, борец за прогресс и культуру, пусть и другого толка, чем он, Ленин. Но и Уэллс, оказывается, не понимает и не верит!

Только теперь Ленин по-настоящему ощутил, что ожидал от Герберта Уэллса чего-то другого, пусть неполного, но все же понимания... Поддержки. Он нуждался в ней...

И Покровский! Уважает, ценит, однако убежден, что в дальнейшем все пойдет к черту!..

Убеждение одних и беспощадная борьба с другими...

Внести вопрос об электрификации в повестку предстоящего съезда Советов...

Поторопить с планом ГОЭЛРО...

Создать бы увлекательный роман об электрификации... Ведь, наверное, можно?

Повидаться с Кржижановским...

В этом черном кресле сидел и он, и Калинин, и Дзержинский, многие, кто верил в план и реализовывал его.

Черное безмолвное кресло...

13. НА НАБЕРЕЖНОЙ

Вечером город казался вымершим. Мерцал тусклый свет в окнах. Редко попадались прохожие. Не было ни извозчиков, ни трамваев. Днем еще можно было увидеть трамвай: перевозили дрова, картошку, муку...

По Софийской набережной, дымя удивительно черным, вонючим газом, подпрыгивая, ехал автомобиль. Выхлопы его мотора, работавшего на какой-то невообразимо дрянной смеси, напоминали оглушительные выстрелы.

Уэллс, уже начавший понемногу свыкаться с неудобствами передвижения, больше всего чувствовал тревогу из-за этой стрельбы. Ему казалось, что выстрелы должны всполошить жителей, заставить их выскакивать на улицу. Но никто не выскакивал. Наоборот, в одном из домов опустили штору.

Мимо прошла пожилая женщина с узелком... Уэллс, обернувшись, долго следил за ней. Узелок небольшой, но, видимо, тяжелый: женщина часто меняла руки... В Петрограде и Москве, заметил писатель, не ходили с пустыми руками: несли скудные пайки, несли менять вещи на хлеб... Мена, как в туманные времена детства человечества, но не такая наивная и простодушная... Наверняка жестокая и неравная... Диктат имеющего хлеб. С голоду отдашь за него и полотно Рембрандта...

Впереди показалась сгорбленная фигура старика, медленно тащившего тележку. Уэллс не спускал с него глаз: эта жанровая картина Москвы осенью 1920 года тоже может пополнить его впечатления и знания о Советской России вообще...

Машина проехала, а писатель, круто повернувшись, старался не выпускать человека с тележкой из виду.

— Пожалуйста, остановите,— сказал он.

Чекулин и переводчица с досадой переглянулись: еще немного — и доехали бы до гостиницы... А теперь кто знает, что будет? Что это за старик и что он станет говорить почетному гостю?

Уэллс открыл дверцу и вышел из машины. За ним — Чекулин. Переводчица подумала-подумала и тоже вышла. Вытянув шею, писатель всматривался в старика, тащившего на тележке, как теперь можно было определить, мелко наколотые поленья.

— Удобно ли заговорить с этим джентльменом?— осведомился Уэллс у переводчицы.

— Вероятно, да, мистер Уэллс...— без энтузиазма ответила переводчица.

— Пожалуйста, извинитесь и спросите, могу ли я с ним поговорить?

Переводчица повернулась и хотела обратиться к старику. Но тот — это был Покровский — предупредил ее:

— Не трудитесь... Я знаю английский, а когда был помоложе, читал Джорджа Герберта Уэллса в подлиннике... А вы фальшивите в произношении, мадам!

— Что он говорит? Что ои говорит? — заволиовался писатель, услышав свое имя.

— Добрый вечер, мистер Уэллс,— приветствовал его Покровский на отличном английском языке.— Что вас интересует? Я постараюсь ответить.

Уэллс сказал, что ои прекрасно поиимает, как неудобно заговаривать с прохожим иа улице. Но другого выхода нет: ои писатель и приехал, чтобы позиакомиться с жизиью новой России.

— Пусть вас это не стесняет,— ответил Покровский.— К нам иногда являются в дома иочью, ие спрашивая, желаем мы разговаривать или иет.

Переводчица, уставшая за день, выпрямилась, широко раскрыла глаза, удивлениая и возмущенная: о чем он говорит?

— Я ничего ие выдумываю, граждаика,— обратился Федор Васильевич к переводчице.— Меня, действительно, обыскивали иочью. Почему? На каком осиовании? — И Уэллсу: — Когда Леиин узнает о подобиых безобразиях, ои велит сурово иаказывать виновных. Не только обыскивали, ио и забрали серебро...

Писатель, как истиино воспитанный и деликатный человек, понял, что разговор касается больиого для этих людей вопроса, и не захотел развивать щекотливую тему.

Уэллс спросил, какое положение занимает его собеседиик в обществе. Кто ои?

— Я иижеиер-эиергетик,— сказал Покровский,— а мое положение в обществе, пожалуй, еще точно не определено. Во всяком случае, до последиего времени я находился на положеиии безработного...

Уэллс оглядел Федора Васильевича, санки с поленьями и спросил:

— На сколько дией хватит вам этого топлива?

— Дня иа два...

— Сколько это стоит?

— Пятьсот рублей. Говорят, что это дешево.

Чекулин, с плохо скрытым подозреиием смотревший на Покровского, эиергично кивиул переводчице, и та послушно отошла в сторонку.

— Что он говорит, этот тип? — спросил Чекулии, который и без перевода, по выражеиию лица женщины, почувствовал недоброе: этот старик втяиул их в неприятиую историю.

Переводчица не знала, что делать: отвечать ли Чекулину или слушать, не упустить то, о чем говорит Покровский.

— Пятьсот рублей...— повторил Уэллс.— А как вы относитесь к революции?

— Что он говорит? — допытывался Чекулин.

Переводчица лишь махнула рукой: не мешайте! И вслушивалась, с нетерпением ожидая ответа.

— Это величайший эксперимент в истории человечества,— ответил Покровский.— И затеян он величайшим и благороднейшим человеком.

Переводчица облегченно вздохнула и быстро проговорила Чекулину:

— Правильно говорит, правильно...

Слово «благороднейший» особенно понравилось Уэллсу, и он в знак одобрения закивал головой:

— Это, пожалуй, очень точно...— И потом спросил о главном: —Но не ошибается ли в своем эксперименте мистер Ленин?

— Он делает только то, во что верит. Он не напишет и не произнесет ни одного слова, в правдивости и истинности которого не был бы уверен. Он крупный ученый и в своем деле знает почти все. Вот почему он имеет право быть руководителем. Он несет ответственность за всех и за все, работает по шестнадцать часов в сутки, боль и горе самого маленького труженика воспринимаются им как свои собственные. Вот почему он имеет право быть руководителем. Стоя в государстве выше всех, являясь в нем первым человеком, он не отучился мучиться, как обычный человек. Вот почему он имеет полное право быть руководителем.

Уэллс слушал Покровского с удивлением. Он совсем не ожидал таких откровений и красноречия от старика, купившего охапку дров за пятьсот рублей!

— Я рад, что встретил вас,— сказал Уэллс.— Иностранец не все может понять в чужой стране, и я не могу понять, как это у вас все происходит, но я верю вам, рад слышать ваши слова.

Писатель протянул руку Покровскому. Они попрощались.

Старик потащил тележку вперед. Уэллс, Чекулин и переводчица сели в автомобиль.

— Старик молодец? — тихо спросил Чекулин.

Растроганная переводчица, следившая за тем, как тянет свою тележку пожилой человек, сказала:

— Он ответил с достоинством. Он гордится своей страной и Лениным...

— Старик — молодец,— поставил точку Чекулин.

У дома номер семнадцать машина остановилась. Гость прибыл в свою резиденцию. Чекулин и переводчица вышли проводить его до подъезда.

Перед тем как направиться к дверям, писатель признательно поклонился обоим.

Подопечный был у себя, и Чекулин считал рабочий день законченным. Теперь, когда заботы схлынули, он осмотрелся и, увидев старика, предложил:

— Надо помочь, а?

— Давайте поможем! — подхватила переводчица.— Сделаем доброе дело! В его годы тащить эту тележку!..

— Поможем!

Автомобиль быстро догнал Покровского. С набережной ему надо было свернуть на Большой Каменный мост, миновать Ленивку и Волхонку и, выйдя к Пречистенским воротам, через арбатские переулочки добраться до Староконюшенного...

— Садитесь, товарищ,— пригласил Покровского Чекулин, когда машина остановилась.

Федор Васильевич, хотя и было прохладно, вытер лоб платком: дорога уже пошла в гору, к мосту.

— Спасибо, теперь я уже доберусь...

— Садитесь, садитесь,— настаивал Чекулин.

Выйдя из машины, он привязал к ней тележку, усадил Покровского рядом с шофером. Минут через десять они были в Староконюшенном. Чекулин помог Покровскому втащить охапку дров на третий этаж.

14. ОПАСНЫЙ ПРОТИВНИК

Итак — встреча с Кржижановским... О беседах с Глебом Максимилиановичем Ленин всегда думал с удовольствием: план ГОЭЛРО, осуществляемая мечта... Электрическая лампочка в хате... Основа подъема хозяйства...

Но, как всегда, добраться до такой встречи можно было через десятки, если не сотни других дел: воен-

ных, международных, внутренних, организационных, сугубо партийных. Вот и сегодня встречу с Глебом Максимилиановичем придется перенести: прием Вандерлипа, американца. Кто он такой? Гость заявляет, что простой человек, правда, родственник известного миллиардера. Но о простом американце не стали бы столько писать за границей... Делец. Таких рисуют на плакатах и карикатурах. Самый настоящий, всеми признанный враг. Встреча представлялась Ленину странной.

Но наркоминдел Чичерин советовал принять Вандерлипа. Что ж... Георгия Васильевича надо слушаться: умен!.. Он, Ленин, уже встречался с откровенными врагами; соблюдая необходимые дипломатические условности, встретится и с Вандерлипом.

Правда, некоторым дипломатам казалось, что он иногда нарушает принятый этикет, высказываясь часто чересчур уж прямо и вполне определенно. Но разве прямота в разговоре с врагом — это всегда плохо? Это тоже не последнее средство дипломатии.

Вандерлип так Вандерлип!

По приезде своем в Россию Вандерлип вручил Совету Народных Комиссаров РСФСР официальное послание. В нем коротко, откровенно и грубо было сказано, что Америке нужна Камчатка, и извольте, мол, ее нам продать, а то мы Советское правительство не признаем.

Коротко и ясно!

Вандерлип, живой, подвижной старичок, сидел напротив Ленина. Ленин хорошо говорил по-английски, и Вандерлипу казалось, что он беседует с человеком американского склада, который владеет таким предприятием, как неустроенная и необъятная Россия. Ленин говорил коротко, четко, быстро, как настоящий хозяин, прекрасно знающий состояние и положение дел.

Гостю нравилось, между прочим, что Ленин был в старом костюме. Такую же строгую и не новую тройку носил сам Вандерлип, считавший, что человек дела должен быть свободен от условностей, которые, так же как и соблюдение традиций, буквально губят две великие державы Старого света — Англию и Францию. Но какая-то броская вещица все же должна была отличать его, нет, не простого все-таки человека, от других:

пусть это будет драгоценный камень перстня, золотая булавка в галстуке.

— Значит, Камчатка...— сказал Ленин, раздумывая.

— Вся Камчатка,— уточнил Вандерлип, делая руками кругообразное движение, будто этот полуостров был уже перед ним на столе.

— Куп-и-ть? — Ленин протянул это слово.— Купить Камчатку?

Владимир Ильич помолчал, словно приходя в себя, и расхохотался от невероятной, но ярко представившейся ему картины: стоят двое — Владимир Ульянов-Ленин, глава Советского правительства, и миллионер Вандерлип. Как и положено, вывернув полы пальто, они хлопают по ним, потом, наконец-то сговорившись об окончательной цене, сбавив друг другу по красненькой, заканчивают тем, что Ленин передает Камчатку миллионеру, тоже как и положено, из рук в руки. Дело сделано! Теперь можно и в кабак: обмыть куплю-продажу.

Ленин стал объяснять Вандерлипу, какого рода концессии Советское правительство может допустить: контроль оставался за большевиками, порядки на концессионных предприятиях должны были остаться советскими.

Вскоре Вандерлип ушел.

«Продать Камчатку! Опоздал, сеньор! Даже в восемнадцатом не продали бы! А теперь-то, теперь!» — подумал Владимир Ильич и представил, какой веселый смех вызовет рассказ об этой встрече за обедом дома.

Владимир Ильич пошел обедать. На лице его едва уловимой светлой тенью бродила радостная, чуть озорная улыбка. «Советской власти всего три года, мистер, но нас уже не свалишь... Нет, вам уже не свалить нас. Безнадежное, никчемное дело...»

Разгромлены Деникин, Колчак. Врангель доживает последние дни. Скоро Советская Россия будет свободна от пришлых врагов. Пришлых...

В полутемном коридоре, на полпути к квартире, Ленину повстречался высокий мужчина в шубе. То ли сказывались преклонные годы, то ли недоедание — мужчина шел, качаясь из стороны в сторону. При его большом росте это было особенно заметно: качался

он, как дерево на ветру. Мужчина показался Ленину знакомым...

— Федор Васильевич! — окликнул Владимир Ильич, всматриваясь.— Вы?

Старик качнулся в сторону Ленина и остановился.

— Федор Васильевич!

Покровский зашел сюда совсем по другому делу и совершенно не намеревался встречаться с Лениным, давать ему ясный и определенный ответ... Просто нужно было увидеть бывшего коллегу, теперь работавшего в Кремле...

— Я, Владимир Ильич, я, — ответил Покровский.— Здравствуйте...

— Здравствуйте. Что с вами, Федор Васильевич? Плохо себя чувствуете?

— Да нет...

— Голодаете?

— Нет, Владимир Ильич.

— Вы правду говорите?

— Видите — шуба на плечах... Буржуйская...

— Вижу. И все-таки...— Ленин оглянулся в поисках стульев. Стульев поблизости не оказалось, и Ленин вернулся с посетителем в кабинет.

— Разоблачайтесь и садитесь.— Ленин помог Федору Васильевичу справиться с тяжелой шубой и хотел повесить ее, но Покровский отобрал шубу из его рук и повесил сам: поднимал несколько раз, никак не мог достать до крючка.

Было заметно, что страшная усталость или какое-то недомогание скрутили Покровского. Он не спеша прошел к креслу и сел, тяжело упершись руками в подлокотники.

Шатура удивила Покровского. Он увидел поистине народную стройку. «Пожалуй, так дело пойдет...» Ему тоже захотелось работать. Надо было работать...

И Федор Васильевич пришел в ВСНХ. Но там с ним говорили так, что он почувствовал себя врагом.

Больно ранила Покровского не сама грубость и отношение к нему, человеку, в общем, из проклятого прошлого, сколько другое: и с такими чиновниками Ленин думает утвердить торжество справедливости и разума! Федор Васильевич решил отнюдь не живописать прием, оказанный ему в ВСНХ, быть посдержаннее в оценке обстановки вообще. И, конечно, не рассказывать про

обыск... Безусловно, Ленин заставил бы исправить допущенную другими ошибку, строго наказать виновных, но нельзя же, чтобы все — Ленин, Ленин, Ленин! Но, приняв такое решение, Покровский не удержался:

— Мне не верят,— сказал он.— Республике, говорят, не хватит контролеров, если пролетариат будет брать к себе на работу таких господ, как я. А тут еще эта шуба!

Федор Васильевич с неприязнью посмотрел на свою шубу и ухмыльнулся.

— Шуба, конечно, вздор! — заметил Владимир Ильич, садясь в кресло.— Но согласитесь: кому-то эта шуба напоминает о помещике, который торговал крепостными или травил собаками, кому-то о фабриканте, заставлявшем работать шестнадцать часов в сутки. Все поднялось: и месть, и неприязнь к угнетателям, и низменные чувства у некоторых, а главное-то, Федор Васильевич, главное — вера в хорошую жизнь на земле, в человека, в себя! Впрочем, оставим это... Где такие прыткие, с кем вы разговаривали?

— В ВСНХ, Владимир Ильич...

— В ВСНХ... Фамилии у них есть? — Ленин взял карандаш.

— Наверняка. Все как у людей. Но вы думаете, я помню? Бесполезное занятие: несть им числа!

— Есть им число, Федор Васильевич. Есть! Постарайтесь припомнить!

Федор Васильевич стал перебирать:

— Огурцов... Таранкин... Похлебкин... Нет, не то! Говядкин... Котлетов!

— «Котлетов»... «Котлетов»... Что-то знакомое. Может быть, Кавлетов? — вспомнил Ленин.

— Вполне возможно...

— И один?

— Если бы один...

— Почему мне ничего не сказали? — строго спросил Ленин и встал.

— Не нажалуешься, Владимир Ильич. Все будут жаловаться — вас и на год не хватит.

Ленин заложил руки глубже в карманы и остановился перед Федором Васильевичем:

— Так ли? Неужели все так катастрофично? Неужели я вижу не все, Федор Васильевич?!

— Конечно. Вы по своей природе не ведаете, что

такое зависть, коварство, злопыхательство н прочие первородные грехи рабов божьих.

Ленин развел руками:

— Вы меня убиваете хваля!

— Владимир Ильич, я уважаю вас, ценю...

— Уважайте, цените только на деле, Федор Васильевич!

— В партии вы не один, Владимир Ильич. Проверьте: найдутся сотнн таких, как этот ваш Кавлетов. Их больше, чем Лениных, Чичериных, Луначарских, Красиных н Дзержинских... И они вас победят, рано или поздно. Рано или поздно!

— Федор Васильевич! Батенька!

Покровский сцепил руки на животе, опустил голову. Больше он не намерен говорить. «Все, все!»

Тем временем Владимир Ильич попросил соединить его с Кавлетовым из ВСНХ.

— Товарищ Кавлетов? Мы, кажется, с вами уже встречались? Кажется, я вам советовал начать учиться? Учитесь?.. Хорошо...

С печальной безнадежностью слушал Покровский, как Владимир Ильич объяснял всю важность использования старых специалистов, как редки и ценны настоящие ученые и инженеры, как опасно давать волю мелким чувствам, и качал головой: разве можно что-то изменить?

Потом Ленин звонил к Кржижановскому, но того не оказалось на месте.

— Однако, Федор Васильевич,— сказал Владимир Ильич,— вам нужно давно быть в столовой.

Ленин извинился и прошел в секретариат: нельзя ли накормить обедом («Очень деликатно! Очень деликатно!») посетителя?

Когда Ленин вернулся, Федор Васильевич был уже в шубе.

— Конечно, надо работать,— сказал Покровский.— Но не знаю... Не знаю, Владимир Ильич...

Ленин подождал: на это он отвечать не будет. Только после паузы сказал:

— И комиссия Кржижановского, н ВСНХ теперь, надеюсь, примут вас с охотой. Подумайте. А сейчас зайдите, пожалуйста, в секретариат, Федор Васильевич. До свидания.

В коридоре, по пути домой, Ленин вдруг вспомнил

свои слова: «У нас так не будет!» — и насторожился. «Конечно же, так не будет!»

В нетерпеливое мгновение промелькнул перед ним почти забытый эпизод. Неожиданно Владимир Ильич ощутил благодатную теплынь, сверкание огромного летнего солнца, запах прогретой им листвы.

Как-то в субботний вечер в тяжелом для революции восемнадцатом году выбрался он на дачу отдохнуть. Еще не было Горок как постоянного места отдыха, и он иногда выезжал на дачу к друзьям. Вместе с Владимиром Ильичем поехали в этот раз Надежда Константиновна и их знакомая. Прогуливаясь, не заметили, как за ними увязалась все увеличивавшаяся стайка деревенских ребятишек со щенком. Щенок был лохмат и неуклюж — живое воплощение простодушия, доброты и, пожалуй, беспомощности. Владимир Ильич стал играть с ребятами, доказывая, что это не щенок, а огромная и наверняка злая собака.

С шутками незаметно добрались до леса. На опушке его стоял высокий дуб. Он был разбит молнией и обуглен. Молния расщепила его могучий ствол, в нескольких местах отодрала от него длинные полоски коры и древесины. Дуб был мертв, пораженный неожиданным и страшным по своей силе ударом.

Владимир Ильич взглянул на дуб и сказал спутницам:

— У нас так не будет.

Он имел в виду революцию. С тех пор много гроз собиралось над страной, много сгущалось туч, били молнии одна сильнее другой, но революция выстояла. «А если не молнией? Если от жучка-точильщика?..»

Дома Владимир Ильич был сосредоточен и молчалив и так и не рассказал о своей встрече с дельцом Вандерлипом...

Да, вооруженным силам и контрреволюции разбить Советскую республику не удалось. Сотни раз неправ Федор Васильевич: справимся. Но предусмотреть всего, конечно, нельзя... Нет таких людей на свете... И удар изнутри — от бюрократов, воинствующих невежд и демагогов, подобных Кавлетову,— возможен. Тут Покровский прав. Теперь Советская власть если и погибнет, то погибнет от бюрократизма, от перерождения. Недооцениваю? Возможно...

15. НЕВЕДОМАЯ СИЛА

Жизнь для Покровского — добро со злом вперемежку. Внимание человека высочайшего духа Ленина — и сопротивление ничтожного Кавлетова, уверенного, что сейчас наступило его время; великое благо для народа: мир, земля, свобода — и горящая усадьба, перешедшая ему же, народу; любезность грозного матроса Чекулина — и обыск с незаконным изъятием серебра; необычайный народный подъем, необходимый, чтобы воздвигнуть Шатуру,— и ее пожар...

Федора Васильевича давно уже одолевала какая-то противная слабость. А после путешествия за дровами чуть ли не через всю первопрестольную и тяжелого похода в ВСНХ Покровский слег, не желая себе признаться, что дело может быть серьезным.

В это время к Покровским и зашел наборщик Василий Семенович Ладыгин. Давно Федор Васильевич хотел поговорить с ним, но все как-то не получалось. А теперь самый момент.

— Василий Семенович, посмотрел я ту книжку: первоклассная работа!

— Это какую же?

— Кржижановского...

— А-а! Спасибо! — Лицо наборщика, серое от усталости и недоедания, просветлело.— Между прочим, Ленин тоже остался доволен, потом благодарность прислал.

— Поздравляю. Но как же печатали в замерзшей типографии?

— Да просто...

Василий Семенович получше устроился в кресле, погладил острые колени. Чувствовалось, что ему самому приятно вспомнить, как печатали брошюру.

Кое о чем Федор Васильевич уже знал, например об участии в издании Бонч-Бруевича, кое о чем услышал впервые.

История же ее была такова.

Часов в пять, когда уже изрядно стемнело, на квартиру наборщика Василия Семеновича Ладыгина заявился брат его жены, Артем Петраков.

— Здравствуйте, сродственники!

Сестру Катю он обнял и поцеловал, с Василием поздоровался за руку.

Катя помогла озябшему гостю раздеться и бросилась ставить самовар:

— Сейчас, Артем, разогрею...

В неуютной, просторной, всегда темной кухне, холодной и сырой, где ходили ходуном и скрипели половицы, где под полом по углам пищали мыши, вдруг подумала, что гостю нечего предложить, кроме нескольких кусочков хлеба и картошки с солью. Налила в самовар воды, насыпала углей, зажгла и кинула в трубу лучину,— все время гадала: где же выход?

— Ну, сестра, живы?

Артем вошел в кухню.

В сапогах, старом пиджаке, рубахе навыпуск, подпоясанной шелковым пояском с кистями, он солидно шагал по кухне.

— Да живы, Артем, живы...

— А ребят, значит, у вас нет и вскорости не предвидится?

— Где уж тут до ребят...

— Да-а,— протянул Артем.

Он вышел и через несколько минут вернулся со свертком. Что-то тяжелое было завернуто в мешок и крест-накрест перевязано веревкой. Артем со стуком положил сверток на выскобленный добела стол:

— Хозяйничай...

Катя вздохнула, взглянув на это спасительное подношение, и поцеловала брата.

— Да ты разверни, разверни,— сказал Артем.

Катя развязала узлы мягкой, истрепанной веревки, на четыре стороны осторожно распахнула концы мешка и увидела кусок сала фунтов шести, кольцо домашней колбасы, каравай ржаного хлеба.

— Артем!..— признательно проговорила Катя и обняла брата. Тот одной рукой прижал Катю к себе.

— Да, сестра, довели тут вас!

Он помолчал, тяжело раздумывая.

— Пойдем, что ль...

Артем отпустил сестру.

— Как Василий-то? — спросил озабоченно.— Как работа?

Не зря спрашивал Артем. Василий Семенович осведомился о деревенской родне, о делах гостя, а на его

вопросы отвечал очень коротко, словно нечего было сказать о себе.

— Какая работа? Какая работа, Артем... Стоит типография, и когда пустят — никто не знает...

— Да уж кому теперь знать...

Они долго сидели за столом. Кате и Василию все не верилось, что едят сытное сало и пахучую, разжигающую волчий аппетит колбасу, которая отдает острым чесноком и лёгким, вкусным дымком.

Это произошло в тот же день.

В поздний ночной час Владимир Ильич закончил чтение рукописи Кржижановского «Основные задачи электрификации России». «Отлично! Превосходно! Хорошо бы, пожалуй — необходимо, дать ее участникам сессии ВЦИК. Но до начала ее работы оставались считанные дни... Можно ли успеть?»

Ленин позвонил Бонч-Бруевичу. Но Владимир Дмитриевич уже ушел из Совнаркома.

Ленин посмотрел на часы. «Двенадцать с четвертью!» Не раздумывая, он позвонил ему на квартиру в Кавалерском корпусе, недалеко от здания Совнаркома. Попросил прийти.

— Владимир Дмитриевич, вы меня простите, что я вас так поздно потревожил... Не спали?

— Нет, нет, Владимир Ильич!

— Есть экстренное, крайне важное дело... На днях у нас сессия ВЦИК. Вы знаете, как остро стоят у нас вопросы промышленности.

— Да, Владимир Ильич.

— Глеб Максимилианович будет делать доклад об электрификации. Но он к тому же успел написать прекрасную брошюру. Я только что прочел.

Владимир Ильич передал Бонч-Бруевичу рукопись в папке тонкого картона. Владимир Дмитриевич быстро прочитал название: «Основные задачи электрификации России» и с профессиональной ловкостью перелистал ее, определил объем: «Больше двух листов... А карта? И карту...»

— Видите,— продолжал Ленин,— здесь текст и карта. Карта крайне важна...

Это было нечто вроде той самой карты, которую Ленин мечтал сделать «как-нибудь свободным вечер-

ком» и на работу над которой, он знал, у него не хватит, к сожалению, времени. А брошюра была тем самым словом, с которым много раз мысленно обращался Ленин к рабочим и крестьянам, думая об электрификации России.

— Все это нужно отпечатать, чтобы раздать делегатам. Но как это сделать? Осталось всего шесть-семь дней... Госиздат замаринует... А нам это дьявольски необходимо.

Владимир Дмитриевич быстро прикинул: в Госиздате — Вацлав Вацлавович Воровский, все прекрасно понимающий друг и товарищ, но Ленин прав: Госиздат, действительно, замаринует. Воровский изнывал в борьбе с сотрудниками, которые работали вяло, а то и просто саботировали — явно и неявно. Владимир Дмитриевич решил ориентироваться непосредственно на типографию бывшую Кушнерева, теперь 17-ю государственную.

В октябре 1919 года, когда Деникин рвался к Москве, в тот более чем критический момент рабочие типографии бывшей Кушнерева проявили стойкость, выдержку и преданность. В дни испытаний они обратились к Ленину с письмом, в котором просили его дать согласие выпускать все его труды в их типографии. Кончалось письмо заверением: «Это ваше согласие удесятерит наши силы для дальнейшей борьбы, для дальнейшей работы, и это будет нашей гордостью».

Об этом сейчас и вспомнил Владимир Дмитриевич.

— Можно взять рукопись? — спросил он.

— Зачем?

— Чтобы отдать в набор,— решительно ответил Бонч-Бруевич.

Ленин взглянул на него искоса: «Ой ли?»

— Через пять дней тысяча экземпляров будет готова,— заверил Владимир Дмитриевич.

— Это наверное? — Ленин ближе подошел к Бонч-Бруевичу.

— Да, Владимир Ильич, наверное.

— Было бы прекрасно!

На следующий день, как и всегда, Василий Семенович поднялся рано. По неискоренимой привычке рабочего человека он и теперь вставал в шесть часов, хо-

тя спешить было некуда. За ним встали Катя и Артем.

За чаем Артем спросил:

— Как, Василий, мастеровать-то еще не разучился? Верстак что-то у тебя того... Вроде свалки...

— Наверное, не разучился,— ответил Василий Семенович.— А что мастеровать-то?

— Как что? — Артем удивился.— Хотя бы те же зажигалки!..

— Зажигалку дома на верстаке не сделаешь. Тут мастерская нужна. Хоть плохонькая...

— У вас-то при типографии,— напомнил Артем,— есть же мастерская. И не какая-нибудь, говорил!

Василию Семеновичу не приходило в голову воспользоваться типографской мастерской, оборудованной хотя и не шикарно и не богато, но здорово и с умом. Знающие люди создавали ее! В ней можно не то что зажигалки, а прямо-таки граммофоны делать!

— Зажигалки сейчас в ходу,— продолжал Артем.— Я вчера с вокзала на рынок забежал: цена, однако! Но все равно — смысл: на спичках-то совсем прогоришь!

Василий Семенович постучал пальцами по столу. Может, в самом деле как следует подумать об этих зажигалках и мастерской? Да нет... Что тут думать?

— Проходил я недавно мимо,— сказал он.— Не поверишь, Артем, даже страшно стало. Недавно какие книги мы там печатали! А сейчас — мерзость запустения, как говорят! Ни шума машин, ни людских голосов... Могильник! Нет, Артем, нет... Конченное дело!.. Там и заклепку не заклепаешь.

— Времена! — вздохнул Артем.

— А зажигалку я тебе где-нибудь соображу,— пообещал Василий Семенович.

— Да ведь забота не обо мне, Василий... Мы живем — не сравнить...

После завтрака Артем с Василием собрались за дровами. Неподалеку разбирали на топливо старый двухэтажный дом. Можно было скинуть несколько бревен, распилить и на санках привезти к себе на двор.

Только собрались, как в дверь постучали.

Неизвестный Кате человек в жидком черном пальто, годном разве что на осень, осведомился: «Не здесь ли живет Василий Семенович Ладыгин?» Катя испу-

галась — что-то случилось! — но ответила, что такой живет здесь, и провела в большую комнату, в которой обычно принимали гостей.

В пришедшем Василий Семенович не сразу признал Михаила Михайловича Гусева из партийной ячейки их типографии. Гусев с последней встречи, казалось, похудел и почернел.

— За тобой, Василий Семенович...— сказал Гусев, невольно вздрагивая от озноба и ежась.— Черт возьми, замерз!.. Как, сможешь?

У Кати отлегло от сердца, она пригласила гостя к столу, однако Гусев только рукой махнул:

— Не до чая! Спасибо... Ну так как?

— Что случилось-то, Михаил Михайлович?

Гусев снял шапку, потер уши, щеки и ответил:

— Ничего не случилось. Есть просьба срочно напечатать брошюру...

— У нас-то?

— Да.

— У нас?!

Василий Семенович смотрел на Гусева, прекрасно понимая, что попусту этот человек не придет («Верст пять пешком! По морозу в такой одеже!»). Но сейчас и трудно, почти невозможно было представить то, о чем говорил Гусев: напечатать брошюру! Василий Семенович неуверенно пожал плечами, взглянул на Катю, на Артема и спросил:

— Что за брошюра?

— Об электрификации России... Ленин просил...

— Так, так,— проговорил Василий Семенович.— Что же ты сразу-то не сказал?..

Он помолчал.

— Ну а машины... цеха?..

— Сам знаешь. К машинам пальцы примерзают...

— Идти когда? — спросил Василий Семенович.

— Немедля.

— Понятно.— Василий Семенович пошел одеваться, на ходу бросив Артему: — С дровами потом уж...

— Иди, иди...— ответил Артем.— Я один управлюсь...

Вышел Гусев, вышел Василий Семенович, захлопнулась обитая старой, потрескавшейся клеенкой дверь. Катя и Артем стояли и молчали.

Прослышав, что Кушнеревскую будто бы пустили, к ней потянулись наборщики, печатники — рабочий типографский люд, распущенный по домам. Типография стояла: зимой нельзя было работать без отопления, а топить было нечем.

Встречаясь у дверей, с надеждой спрашивали друг друга:

— Пустили, что ль, нашу-то?

— Неужели топят?

Но типографию не пустили и не топили. В ней не было ни фунта угля, ни полена дров. Машины, окна, стены покрыты инеем, в цехах холодно, как на улице. В печатном кто-то пролил воду — лужа замерзла: осторожно, не поскользнись. И — тишина. Мертво. Но в наборном за кассами стояли люди в пальто. Руки замерзали, после двух-трех часов работы каждое прикосновение пальцев к холодным свинцовым литерам отзывалось острой болью. Но в какие слова складывались эти обжигающие холодом литеры! «В-е-к п-а-р-а — в-е-к б-у-р-ж-у-а-з-и-и...» Через минуту-другую руки надо было растирать, отогревать за пазухой. После этого можно продолжать: «...в-е-к э-л-е-к-т-р-и-ч-е-с-т-в-а — в-е-к с-о-ц-и-а-л-и-з-м-а».

Коммунистическая ячейка и заводской комитет типографии, которых собрал Бонч-Бруевич, взялись отпечатать брошюру с картой в кратчайший срок.

Люди могли перенести все, но машины в холоде работать не заставишь. Нагреть весь печатный цех было немыслимо, и рабочие отгородили часть его, раздобыли печку и трубы, стали топить всем, что только можно было найти в типографии, начиная с ящиков и кончая ветошью для обтирки машин.

К вечеру успели набрать всю книгу и половину оттиснуть; машину вертели руками.

Когда Владимир Ильич увидел оттиски, жирно пахнущие свежей типографской краской, всегда радовавшей его, он от изумления ничего не мог сказать.

— Уже половина книги? — наконец проговорил Ленин. — Невероятно!

Владимир Ильич держал ее в руке и все как бы не верил: ведь только вчера ночью, вернее, сегодня он вручил рукопись Владимиру Дмитриевичу!

Прекрасно! Великолепно!

К обеду Васнлнй Семеновнч не вернулся, и когда наступил вечер, обеспокоенные Катя и Артем решилн, что нужно сходнть в тнпографню, отнестн Васнлию еду.

Пошел Артем, выспросив у сестры, как лучше н быстрее добраться до Кушнеревской.

Москва была темна, безлюдна, навсегда, казалось, засыпана снегом. Идти можно было только по протоптанным узкнм тропннкам. В домах — желтые огонькн керосиновых ламп и коптилок, красноватый свет горящего вполсилы электричества. И казалось — вот-вот померкнут и навсегда погаснут эти призрачные огоньки: снлы нссякалн...

Где-то на полпутн Артем увндел знакомую фигуру: мелькнула на фоне освещенного окна н — снова в сумрак.

— Васнлнй, ты? — оклнкнул Артем.

— Я...

— Ну как?!

— Печатают...— тнхо ответнл Василнй Семеновнч.

— Уже?!

— Пойдем быстрее...

Упрятав голову в воротник, руки держа в карманах, Васнлнй Семеновнч быстро шел, пошатываясь. Каждую минуту, казалось, мог упасть. Артем со свертком — сзади. Молчалн.

— Топнли? — только и спросил Васнлнй Семеновнч.

— Топнлн, Василий...

— Согреюсь наконец!..

«Зажигалкн!..— сннсходительно усмехнулся Артем.— Зажнгалкн!..»

Наборщнк ушел, а Федор Васильевнч лежал и думал об этой нстории.

Россия...

Десяткн н сотнн благороднейших людей подыскнвалн ключи, чтобы прикоснуться к самому заветному и сделать тебя свободной, счастлнвой н могучей. Умножали твою славу, подвнгали вперед, украшали дивными творениямн из камня, дерева и слова, падали самн... И вот человек из Симбнрска, дотошно изучив все сделанное до него, подобрал этот ключ. Ученый Вин-

тер и наборщик Ладыгин, строители Шатуры, рабочие типографии и многие другие, о ком он, Федор Васильевич, даже не знал, взялись за общее дело. Если все возьмутся — преобразят мир, это бесспорно, лишь бы порыв был направлен верно.

16. ПО УЛИЦАМ МОСКВЫ

В ранний субботний вечер Ленин — в шапке-ушанке и в пальто с каракулевым воротником шалью, сегодня впервые надетом по настоянию Надежды Константиновны,— вышел из подъезда Совнаркома.

Прежде чем сесть в дожидавшийся его автомобиль, Владимир Ильич минуту постоял, вслушиваясь.

Беспокойный, порывистый ветер, который дул, казалось, то в одну сторону, то в другую, порою до неприятной резкости усиливал звон колоколов московских церквей.

— Праздник? — спросил Ленин у шофера Гиля.

— Не знаю, Владимир Ильич. Наверное, обычная субботняя вечерня.

— Да, да,— сказал Ленин.

Машина не трогалась. Степан Казимирович взглянул на Ленина, и тот сказал:

— Пожалуйста, к Кржижановскому.

И устало закрыл глаза. Тысячи забот...

Не хватило бы сил и на десятую долю той работы, которая пала на его плечи, если бы не сознание, что дело, несмотря ни на что, все-таки идет. И среди множества дел — особое: свет над Россией.

Ведь всего три года назад, в поздний час, когда народ в Смольном схлынул, суета понемногу улеглась, совещания и заседания прошли, явился Александр Васильевич Винтер. Не военный, не продснабовец по неотложному делу — ученый. А был всего лишь декабрь семнадцатого. Но именно тогда-то и было произнесено это слово — Шатура...

И вот сейчас сотни людей на берегу Черного озера, по камешку, по бревнышку построив Шатуру-временную, готовятся к Шатуре-большой, совсем неподалеку от Владимирки, того самого тракта, по которому прошли в Сибирь — на каторгу и в ссылку — поколения русских революционеров и близких им по духу людей...

Если бы они могли увидеть, узнать, что строят здесь русские мужики и рабочие, что даст электрификация России, ради будущего которой прозвенели они здесь кандалами, оставив истории такую высоту помыслов, такое благородство, такую самоотверженность! Они могут спать спокойно в могилах известных и безвестных, в рвах за стенами городских кладбищ и старых крепостей... Все они хотели видеть Россию преображенной: Радищев, декабристы, Герцен, Степан Халтурин и Софья Перовская, его отец и его любимый брат, сотни революционеров...

Теперь она и может стать могучей и преображенной, только нужно каждый день думать о хлебе для строителей, котлах Шатуры, в которых почему-то торф горел еще плохо, о бараках для рабочих, о пропаганде идей ГОЭЛРО...

Ленин открыл глаза.

По улицам столицы, темным и неуютным, спешили плохо одетые люди. В сумраке Ленин видел на ногах прохожих то валенки с большими заплатами, то старые, сношенные сапоги, перевязанные бечевкой, то лапти. И лапти-то сплетены, наверное, без пеньки, не то, что в прошлые времена.

Большинство магазинов закрыто: одни витрины заколочены, другие разбиты.

В окнах домов — мерцание коптилок. Да и то не во всех...

Машина обращала на себя внимание: не так их было много. Люди провожали автомобиль взглядами, оборачивались. Мало кто узнавал Ленина: одни вовсе не знали его в лицо, другие не могли рассмотреть в сумраке.

На стенах пестрели плакаты и лозунги. Болтались обрывки бумаги, выгоревшие на солнце, вымытые дождями.

Многие прохожие несли узелки и свертки. Одни подавались с ними из замерзающего, голодного города, другие надеялись совершить товарообмен, меняя самое необходимое на самое необходимое: одежду и обувь — на еду. Быть может, кто-нибудь нес серебро и золото, редкие произведения искусства: спекуляция, как ни боролись с ней, все еще процветала. Несли еще в этих свертках скудные пайки.

Ленин смотрел неотрывно.

Некоторые деревянные дома разбирали на топливо. Попался на пути полуразрушенный... В сторонке копошились люди, звенела пила, кто-то ухал, ударяя топором по чурбаку... Попался и такой дом, от которого осталась одна печь, как будто после пожара.

Промелькнул несуразный, не то из гипса, не то из глины, а потому полуразрушенный дождями памятник. На стержне, в полутора-двух аршинах от земли, был укреплен шар, на шаре высилось что-то, отдаленно напоминавшее фигуру человека с широко расставленными ногами или треугольник, обращенный острым углом вверх.

Гиль стал сворачивать, но Ленин попросил:

— Пожалуйста, прямо...

Степан Казимирович выровнял машину, стараясь понять, почему Ленин изменил маршрут и куда они сейчас едут.

Потянулись многочисленные заводские корпуса. На их воротах не было видно, как случалось иногда в восемнадцатом году, белых флагов — знаков протеста, отказа от работы. Но некоторые трубы все еще не дымили, казались ненужными. У ворот какого-то маленького заводика или депо стояли и валялись трамвайные вагоны.

— Прямо, Владимир Ильич? — спросил Гиль.

— Прямо...

Когда мимо проплыло неказистое, ничем не примечательное, разве что обилием давно выцветших и частью порванных красных флажков, здание, Ленин попросил:

— Помедленнее, пожалуйста, товарищ Гиль...

Машина замедлила ход, и Ленин мог разобрать в сумраке лозунг «Да здравствует мировая революция!» — и слова на вывеске:

Р.С.Ф.С.Р.

город Москва

Филиал Центрального Дворца культуры

— Филиал есть,— заметил Ленин,— а Центрального дворца наверняка нет. Вот так... Как, по-вашему, товарищ Гиль?

— Не знаю, Владимир Ильич. Прямо?

— Прямо...

Потянулась окраина... Двухэтажные дома: первый этаж, как правило, кирпичный, второй — деревянный...

Домики с палисадниками и большими огородами... В редких домах светились окна. За непривычно тихим железнодорожным мостом — пустыри... За пустырями — деревня: стал виден хрестоматийный, до боли знакомый силуэт колодезного журавля с жердиной, чуть заметно раскачивающейся на ветру, показалась церковь... И ни одного огонька!

— Остановите, пожалуйста!

Когда машина остановилась, Ленин вышел и сунул руки в карманы пальто. Отсюда ему была видна и еще угадывавшаяся в серой дымке громада Москвы, и темная, глухая, словно вымершая деревня.

Ветер доносил скрип колодезного журавля, и больше ничего не было слышно вокруг. Несколько минут молча стоял Ленин, и голос Герберта Джорджа Уэллса внушал ему:

«Основное наше впечатление от положения в России — это картина колоссального, непоправимого краха... Крах — это самое главное в сегодняшней России... История не знает ничего, подобного крушению, переживаемому Россией. Если этот процесс продлится еще год, крушение станет окончательным... Города опустеют и обратятся в развалины, железные дороги зарастут травой... Крушение России вряд ли ограничится ее пределами. Другие государства, к востоку и западу от России, одно за другим будут втянуты в образовавшуюся таким образом пропасть. Возможно, что эта участь постигнет всю современную цивилизацию... Так я толкую письмена на восточной стене Европы».

Ленин еще не знал, как относятся к планам электрификации нищей, разоренной страны крупные ученые, электротехники Европы и Америки.

Лишь весной 1922 года русский инженер Б. В. Лосев, вернувшись из Америки, привезет Ленину письмо профессора Карла Штейнмеца:

«Мой дорогой мистер Ленин!

Пользуюсь возвращением г-на Лосева в Россию, чтобы выразить Вам свое восхищение удивительной работой, направленной к социальному и экономическому возрождению, работой, которую Россия выполняет в таких тяжелых условиях.

Я желаю Вам полнейшего успеха и непоколебимо верю, что Вы его добьетесь. Вы безусловно должны

добиться успеха, ибо нельзя допустить, чтобы великое дело, начатое Россией, не было завершено.

Я всегда буду очень рад, если в области техники, и в особенности электротехники, сумею по мере своих сил помочь России как указаниями, так и советами. Преданный Вам Карл Штейнмец».

Ленин в проникновенном письме горячо поблагодарил Штейнмеца за поддержку. Да, это была поддержка, подтверждение правильности выбранного пути... Но это будет лишь в 1922 году, а пока — Герберт Джордж Уэллс:

«Крушение России вряд ли ограничится ее пределами...»

И еще голос самодовольного совдурака:

«Пустяками заниматься некогда...»

Тишина... Жалобно скрипел на ветру колодезный журавль...

— Поедемте, товарищ Гиль,— сказал Ленин.

17. У КРЖИЖАНОВСКОГО

В прихожей, раздеваясь, Ленин услышал знакомую музыку. Замер на минутку, вслушиваясь: «Бетховен!»

— Владимир Ильич, не хотите ли послушать?..— предложил Кржижановский.

— Нет, нет! — поспешно ответил Ленин.

В редкие минуты отдыха Ленин радовался, если ему удавалось послушать музыку. Друзья и товарищи знали, как сильно любил он ее, какое истинное наслаждение музыка доставляла ему. Но сейчас Ленин был категоричен.

Сцепив за спиной руки, он прошелся по прихожей.

— Не выдерживаю... Человеческая слабость...— признался Ленин и вслед за этим, чтобы не умалить возможности человека: — Но ведь музыку создают тоже люди. И необыкновенные города, и необыкновенные книги... А? — и с надеждой, даже уверенностью бросил взгляд вверх — на Глеба Максимилиановича.— Тоже человеки, они...— Он помолчал.— Чумных пятен империализма скоро не останется на карте страны. Смоем. Но тяжелая борьба останется... Разор... Нищета... Высота человеческого духа, достигнутая Чайков-

ским и Бетховеном не в социалистическую эпоху, и наше убожество! Нестерпимо! Но за год, за два дело не поправишь. Сначала надо дать всем хлеб, сапоги, букварь и электрическую лампочку, Глеб Максимилианович. Электрическую лампочку!

— Да, да...

— Видите, какой я скучный человек! Опять то же! — Владимир Ильич улыбнулся.

Он снова прошелся по прихожей. Наконец, расцепив руки, взявшись за борта пиджака, Владимир Ильич остановился перед Кржижановским.

— Тысячи, десятки тысяч деревень стынут сейчас в темноте. На ветру скрипят журавли. Тишина... Глеб Максимилианович, план электрификации нужно заканчивать! — последние слова он произнес чуть ли не по слогам. И в оправдание просьбы стал говорить о том, что вопрос об электрификации необходимо внести в повестку съезда. А между тем не все в Совнаркоме и ЦК могут проголосовать за это...

Кржижановский повел Ленина к себе: о таких делах лучше все-таки говорить в кабинете.

— Между прочим, Глеб Максимилианович, Покровский на этих днях к вам не обращался?

— Нет, Владимир Ильич.

— Может, в ВСНХ?.. Гм...

— Не знаю... Пожалуйста, садитесь...

Но Ленин не сел. Заметно волновался.

— Будет ли к съезду план? Успеете?

— Работу ускорю, Владимир Ильич. План к съезду будет.

— Категорически необходимо! Книгу — каждому делегату,— откликнулся Ленин.

Он осмотрел кабинет и замолчал. Все было здесь знакомо: этот стол с книгами и бумагами, эта старая пишущая машинка на высоких столбиках, камин, книжные шкафы до потолка, основательная, рассчитанная на большие комнаты мебель старых времен. Но с каждым разом, казалось, здесь становилось больше книг, рукописей...

— Вам надо помощников,— заметил Владимир Ильич.— Покровский все-таки придет к нам работать...

Глеб Максимилианович ответил не сразу:

— Хорошо бы... Но!..— Кржижановский пожал плечами.— В «Славянский базар» он тогда не явился, а

наш разговор перед его встречей с вами был, Владимир Ильич, весьма коротким и оригинальным...

В апреле этого года Глеб Максимилианович беседовал с инженерами, пытаясь вовлечь их в работу над планом ГОЭЛРО. Встреча происходила в бывшей гостинице «Славянский базар», где размещался ЦК союза строителей: все гостиницы в центре были заняты учреждениями. Инженеры голодали. Порою саботировали. Несколько специалистов пошло тогда работать, за ними потянулись другие... Покровский не то что саботировал, а был подавлен, находился в состоянии депрессии...

— Трагедия,— продолжал Глеб Максимилианович.— Больно смотреть на таких людей.

Ленин не раз думал, что часть умной, одаренной старой интеллигенции в вихре революции погибнет зря. Многим из них Ленин старался помочь, но тем не менее это не всегда удавалось...

— Итак,— продолжал Ленин,— книгу — каждому делегату. Чтобы каждый на месте мог ознакомить с планом ГОЭЛРО других.

Только сейчас Ленин присел, вместе с Глебом Максимилиановичем стал подсчитывать недели, дни... Получалось, что огромный том с таблицами и картами нужно отпечатать за три недели.

— Мы постараемся,— сказал Глеб Максимилианович,— сдать рукопись быстрее, чтобы у печатников...

— Хорошо,— подхватил Ленин. Он подошел почти вплотную к Глебу Максимилиановичу и спросил: — Очень трудно? — и сам себе ответил: — Очень... Легко бывает людям, которые никогда не испытывают такого счастья, как мы с вами. Мы выбрали свое, Глебушка...

Неожиданное «Глебушка» тронуло Кржижановского. Кржижановский молчал: никакие слова сейчас не могли передать его чувств. Собственно, в этих словах был итог их совместного пути и совместной борьбы: быть счастливыми счастьем народа. Здесь и первые дни знакомства в Петербурге; и «Союз борьбы»; и «предварилка»; и ночь на берегу Енисея, когда они на пароходе «Святой Николай», плывя из Красноярска в Минусинск, остановились на пристани Скит, разожгли костер и запели «Смело, товарищи, в ногу»; и Шушенское; и ГОЭЛРО — двадцать пять лет дружбы

с этим человеком, которая была для Кржижановского самым большим счастьем в его жизни.

Ленин встал. Сложив руки за спиной, наклонив корпус вперед, прошелся по комнате.

— Ну, Глеб Максимилианович, показывайте, что у вас...

— Владимир Ильич,— предложил Кржижановский,— может быть, сначала чаю? Чай с сахаром... Есть превосходные сухари из черного хлеба и, кажется, даже масло. А вы ведь из дому давненько!

— Соблазнительно! Не откажусь... Но сначала все-таки хоть покажите.

Глеб Максимилианович передал Ленину объемистую рукопись. Владимир Ильич бережно взял ее и медленно прочел:

— «План электрификации России».

18. ДЕРЕВНЯ КАШИНО

Владимир Ильич вместе с Надеждой Константиновной ехал в деревню Кашино на торжественное открытие электростанции.

С утра выпал легкий, пушистый снежок, не успевший даже как следует припорошить черную замерзшую землю, выбелить крыши домов. И, быть может, потому, что снег, собственно, еще не лег, ощутимо чувствовался мороз, хотя он и не был сильным. Он казался каким-то жестким, сухим.

Машина быстро ехала по безлюдному шоссе, оставляя за собой хорошо видимый, редко прерывающийся след от колес. Только в деревнях и на перекрестках — на изъезженных местах — след терялся. Чем дальше от многолюдной Москвы и ее окрестностей, тем реже прерывались две — то черные, то серые — ленты на белом снегу.

Москва все дальше и дальше...

Та самая Россия, которая поглощала дни и ночи Ленина, которая так страшила Уэллса, противников электрификации, которая ужасала многих талантливых и честных людей, сейчас предстает перед ними. Россия эта лежала не за тридевять земель, а всего лишь в нескольких десятках верст от столицы.

Собственно, Россия эта везде — в Кашине, быть

может, лишь проступала нагляднее,— и везде Ленин видел людей, таких же, как он сам.

Такие же и равные... Так он считал, и беседовал с каким-нибудь малограмотным крестьянином полчаса или час, стараясь растолковать ему нечто существенное, что-то уяснить самому...

Когда Ленин думал о бесконечных ходоках и посетителях, знакомых и незнакомых, он с особой остротой чувствовал свою ответственность перед ними. Это чувство ответственности и заставляло его не умиляться тому, что Петр Иванович честно работает на Советскую власть, что Кузьма Сидорович совершил даже подвиг во славу ее, а бесконечно радуясь этому, говорить с ними о делах как с равными и так, чтобы требовательность к себе и к ним во имя достижения общей цели была главенствующей. Но эту требовательность нужно было соразмерять с возможностями человека. С Петра Ивановича можно требовать меньше, с Кузьмы Сидоровича — чуть больше, а с себя — больше во сто крат, чем с тысяч и тысяч людей...

Сельскохозяйственное товарищество крестьян деревни Кашино, что в семи верстах от Ярополца, построило у себя электростанцию.

В Москву была отряжена делегация крестьян пригласить Ленина к себе. Владимиру Ильичу вручили письмо. Старая, расстроенная пишущая машинка, сбитый шрифт, серая бумага:

«КАШИНСКОЕ
С.-Х. ТОВАРИЩЕСТВО
Ярopольской волости
Волок. уезда Моск. губ. — Гр. ЛЕНИНУ

УВАЖАЕМЫЙ ТОВАРИЩ

Правление Т-ВА настоятельно сообщает, что 14-го сего НОЯБРЯ состоится открытие ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ в селении КАШИНО, на каковое покорнейше просим прибыть, разделить ту радость, которую мы ощущаем при виде ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ В КРЕСТЬЯНСКИХ ХАЛУПАХ, о котором при власти царей крестьяне не смогли думать. Ваше присутствие весьма желательно.

ПОРЯДОК ПРАЗДНИКА

1) Прием гостей от 7 часов утра в доме бр. З. и К. Кашкиных

2) В 4 часа митинг с оркестром музыкантов и пением «Интернационала»

3) В 6 часов вечера обед

4) В 8 часов вечера балет молодежи деревни с участием струнного оркестра».

Далее шли подписи председателя правления и членов комиссии по устройству праздника.

Письмо тронуло Ленина. Владимир Ильич обещал непременнейше приехать, если только не случится особенно неотложного дела. Он знал, что приедет. Слишком значительна эта встреча. Ведь никто не заставлял кашинских крестьян строить электростанцию. Значит... Значит, необходимость и возможность электрификации не такие уж недоступные понятия, значит, самодеятельность масс, о которой столько думал, реальный фактор... И это «если» было сказано ради абсолютнейшей точности, все из-за того же всепоглощающего чувства ответственности.

Кашина Ленин не знал и поэтому подробно расспросил делегатов, как туда ехать, чтобы облегчить задачу Гилю («Гиль наверняка тоже не знает!»). Маршрут тотчас набросал на пригласительном письме:

«От Волоколамска по шоссе
через Щекино — Путятино, от
него вправо по шоссе около
$1^1/_2$ верст *Кашино*».

Письмо — в карман: сегодня двенадцатое, а четырнадцатого празднество.

...Проехали Путятино, взяли вправо от шоссе, вроде должно бы уже появиться и Кашино...

Вот, пожалуй, и оно... Крестьянин, мальчишка в огромнейших валенках, всадник на сивой лошади — все, повстречавшиеся за какие-нибудь десять — пятнадцать минут, все стремились туда, вперед, и все — по-праздничному оживлены...

Кашино!

Пройдет несколько минут, и он, Ленин, увидит людей, которые не только поняли главное, от чего сейчас зависит успех новой жизни, но и сумели сделать для нее нечто, пусть и малое по своим масштабам, но практически необходимое и принципиально важное...

Впереди, в новеньком оранжевом, видно, только что дубленном полушубке, по-хозяйски уверенно шагал старик в больших рукавицах.

Владимир Ильич открыл дверцу, машина попридержала ход и, поравнявшись с прохожим, остановилась.

— Товарищ...

Старик обернулся и тоже остановился.

— Скажите, пожалуйста, где собираются крестьяне на торжественное собрание? И где сама станция?

Прохожий махнул рукой вперед, не очень внимательно посмотрев на человека в шапке, высунувшегося из широкой дверцы машины:

— Сам иду на праздник...

— Тогда садитесь, пожалуйста! Подвезем...

Старик степенно раздумывал: а стоит ли ему садиться? Влезать... Вылезать... И человек незнакомый: кто-нибудь из уездного или губернского начальства... Кто его знает, что за персона... Неудобно стеснять... Прохожий все еще не решался, хотя никогда не ездил в машине, а проехаться любопытства ради — хорошо бы, и очень... Когда еще набежит такой счастливый случай?..

— Садитесь, товарищ, не стесняйтесь! — снова пригласил Ленин.

В голосе — уважение и приветливость.

Старик решительно надвинул на лоб шапку и подошел к машине.

— По частям сюда укладываются? С головы, что ль, начинать? — проговорил он явно от смущения.

— С головы, с головы,— подтвердил Ленин и помог старику усесться.

Машина наполнилась кислым, острым запахом овчины.

Утвердившись на сиденье, дед покачался на нем, пробуя упругость, и откинулся на спинку, напряженно прямой.

Затих, поглощенный осознанием чуда езды в машине, и молчал, поглядывая в окно, за которым мелькали глыбы замерзшей грязи, едва-едва припорошенной легким снежком. Потом смотрел на ручку дверцы, на приборы, на городских... Блестящая, такая гладкая ручка привлекла особенное внимание, и он потрогал ее.

Дав крестьянину немного пообвыкнуть, Владимир Ильич предложил, протягивая руку:

— Давайте знакомиться: Председатель Совнар-

кома Ульянов-Ленин. А это моя жена — Надежда Константиновна Крупская.

Старик хотел назвать себя, но и слова вымолвить не мог,— они накрепко застревали где-то в горле,— лишь торопливо пожал руку Ленину и Крупской, чувствуя, как в голове теснились, наскакивая друг на друга вспыхивавшие мысли: «Ленин! Ослышался?.. Или не ослышался?.. А может, пошутили над старым? Подумать только: Ленин!»

Владимир Ильич между тем уже спрашивал:

— А вас, простите, как зовут, товарищ?

— Меня?.. Меня Курковым... Андреем...

— А отчество?..

Старик махнул рукой: и так будет хорошо!

Ленин стал расспрашивать старика о жизни, но беседе помешали.

Из-за небольшого пригорка выскочила орава ребятишек и, увидев машину, разноголосо громко закричала:

— Едет! Едет!

— Ленин!

— Дяденька, покатай!

— Ленин!

— Дяденька, покатай!

Когда «роллс-ройс» остановился, Владимир Ильич открыл дверцу и обратился к детям:

— Здравствуйте, ребята!

В гвалте, поднявшемся у машины, с трудом можно было различить отдельные слова:

— Здравствуйте!

— Ленин! Ленин!

— Покатайте, дяденька!

— Покатаем... Садитесь! — предложил Владимир Ильич.

Ленин, Надежда Константиновна и Гиль распахнули дверцы. «Роллс-ройс», основательная, мощная машина, закачался: в три дверцы устремились крепкие, проворные ребятишки.

Присев, тяжело подпрыгивая на неровной дороге, с прихваченной морозом в самый разгар распутицы грязью, машина покатила дальше.

Со всех сторон к ней бежали ребята.

Невдалеке от длинного сараеобразного строения с

большими окнами и кирпичной трубой, как у обычного дома, машина остановилась.

Навстречу Ленину поспешно вышли несколько крестьян и механик, с большими руками, вымазанными маслом. Очевидно, это был один из тех смекалистых молодых мужиков, которыми так богаты русские деревни и села...

Маленькое деревянное строение еще пахло смолой, но к этому запаху уже примешался, угрожая заглушить все остальные, сильный запах нефти. «Нефть в Кашине!»

В это время подбежали другие крестьяне.

— Здравствуйте, товарищи! — сказал Ленин, пожимая руки, которые со всех сторон тянулись к нему: жесткие и мягкие, теплые и холодные. Ленин всем называл себя: «Владимир Ильич Ульянов-Ленин».— Вот эта? — наконец смог спросить он, входя в здание электростанции.— Показывайте, показывайте...

На помосте установлена небольшая динамо-машина, как объяснили Ленину, постоянного тока. Ее приводил в движение небольшой нефтяной двигатель мощностью десять — двенадцать лошадиных сил. На стене — щит с несколькими рубильниками. Вот и вся электростанция.

После осмотра гостей пригласили в избу.

У большого — на две половины — дома со многими окнами, с карнизом и наличниками в узорчатой резьбе — народу толпилось больше всего. На площади перед ним — группы оживленных крестьян, спешивались прибывшие на лошадях, носились ребятишки.

Едва гости вошли в дом, как грянул «Интернационал». В исполнении струнного оркестра он звучал непривычно.

Опустив руки, Ленин замер. Хозяйка дома Марья Никитична Кашкина, суетившаяся у дверей, тоже замерла. Она стояла, как в церкви во время службы: не знала в своей большой, медленно тянувшейся жизни других торжеств, не знала, как иначе отметить эти волнующие минуты. С радостно-взволнованными, возбужденными лицами стояли люди, пока оркестр не кончил играть. Владимир Ильич, уже освоившийся с обстановкой, снял пальто и, пихнув шапку в рукав, повесил его на вешалку.

Гостей повели к столу. Владимир Ильич внимательно осмотрелся. В горнице было много пестрых картинок в рамках, в переднем углу — иконы. Он покосился на иконы: его вели явно в передний угол. Едва гости уселись, им подали вышитые петухами рушники — накрыть колени. После гостей стали рассаживаться крестьяне. Покашливали негромко, поглаживали бороды, усы, присматривались к Ленину и Крупской... Чувствовали себя еще несвободно. Наступила как бы реакция на шумную, суматошную, а потому и не такую стеснительную встречу на улице. Теперь нужно было угощать, разговаривать... А о чем? Как?

Меньше всех, пожалуй, выказывала стеснительность сама хозяйка Марья Никитична: ей было просто некогда, не дай бог, что-либо забыть или перепутать. Вот надо вовремя подать гостям брагу...

Увидев протянутые ему и Надежде Константиновне кружки с брагой, Ленин насторожился.

— Не хмельно ли? — обратился он к хозяйке.— В голове не зашумит? — и пояснил, что алкогольных напитков он не пьет, пусть уж на него не посетуют.

— Владимир Ильич, в брагу хмеля не клали,— ответила ему Марья Никитична.— Пейте на здоровье.

К Ленину и Крупской уже потянулись со стаканами и кружками. Он улыбался, кивал головой и чокался неумело. Все ждали, когда он станет пить, и Владимиру Ильичу пришлось показать пример. Ленин выпил брагу и платком вытер похожие на щеточку усы.

Поданную ему порцию студня поделил пополам.

— Теперь по стольку не едят,— и половинку отдал Надежде Константиновне. Хлеб — тоже.

Через минуту-другую исчезла настороженность, натянутость, стало просто.

— Владимир Ильич,— просительно сказала Марья Никитична,— вы уж извините за наше бедное угощение...

— Ничего себе «бедное»! — весело воскликнул Ленин.— В такие-то годы «бедное»! Хозяйство, видно, неплохое у вас... Какая главная культура в ваших деревнях?

На вопросы должен был отвечать председатель сельскохозяйственной артели Родионов, выглядевший совсем по-городскому — он был хорошо пострижен и

побрнт, в костюме н галстуке, но ответил Андрей Курков, который сидел рядом с Лениным.

— Главиая наша культура, Владнмнр Ильнч, леиок. Лен для иас — основиое дело.

— И раньше так было?

— Издавна сеем лен, Владнмир Ильнч.

— А у кого землю для него покупали? У помещиков? Кулаков?

— У помещиков...

— А сколько, ннтересно, платилн?

— Из-под клевера сто рублей за десятнну, из-под овса — пятьдесят рублей...

С дальиего края стола послышался глухой голос:

— За землю спаснбо... Пропалн бы, Владнмир Ильич! Но когда же все-такн окончательно полегчает? Разуты, стыдно сказать, раздеты! Ситцу бы, обуви!

Владимир Ильич повернулся, вскннул голову: солдатскнй Георгневский крест, шрам на лбу... Наверное, воевал и в гражданскую, только за нее медалей не дают...

— Окончательно — не скоро... Пока не победнм всех врангелей, пока не восстановнм заводы и фабрнки. Придется потерпеть.

— Это перетерпнм. Переиесем... Но вот нужно лн терпеть иензвестиость? Нужио лн ее терпеть? — поднявшись нз-за стола, спросил представнтельный крестьянии.— Неизвестность для иас, мужиков, хуже нет...— продолжал он, одобрениый взглядами всех, кроме, быть может, одного Роднонова, председателя артелн.

«О продразверстке, наверное...» — подумал Леннн н спросил, уточняя:

— А именно?

— О разверстке я говорю. Пашет крестьянии землю и не знает, что с него возьмут по осени. Много запашет — с него много н возьмут. А вот мало пахать невыгодно для страны.

Лении слушал, уперев подбородок в ладонь, прнщурив глаза. О продразверстке его спрашивалн не однажды, каждый по-своему, но суть одна: мешает она крестьяииину... Но что делать? Отменнть разверстку — обречь города на вымиранне. Немыслнмо! Возможно уменьшить ее, но что это даст? В деревне станет легче — в городах голод уснлится. Где же выход?

— А вы поддержали бы замену разверстки налогом? — спросил Владимир Ильич.

Ответило сразу несколько голосов:

— Смотря какой налог...

— Поддержали бы!

Кое-кто был и озадачен: а не окажется ли этот налог тем хреном, который не слаще редьки? Но, очевидно, большинство за отмену разверстки.

Не все еще было ясно и Ленину, и он ответил, что, видимо, нужно время, чтобы этот вопрос решить правильно...

Отвечая на вопросы о войне, о ситце, о соли, Ленин чувствовал, что за всеми житейскими вопросами этих людей стоят вопросы государственного, общеполитического характера и на них нужно дать ответ.

Городского вида человек давно уже, выбирая удобные моменты, подходил то к Родионову, то к представителю укома, то к хозяйке и о чем-то просил. Он явно был озабочен.

Ленин осведомился, что происходит, не нужно ли чем помочь?

— Фотографироваться приглашают...— сказал Родионов.— Темнеть начнет...

— Ну уж если надо...— Ленин поднялся.

Вечер еще не наступил, но предвечерняя тишина, какая-то усталость воздуха и света напоминали о нем.

На улице первыми окружили Ленина ребятишки. Он с улыбкой протянул им руки.

Самые проворные быстро схватили ладони Ленина, боясь, что соперники опередят.

— Ну? — спросил он.— Школа у вас есть?

— Есть! Есть! — грянули голоса.

— А книжки? Тетради?

— Есть книжки! Есть тетради!

— А тепло ли в школе? Не мерзнете ли на уроках?

— Тепло! Тепло!

— А закону божьему вас учат? — прежним тоном спросил Ленин.

— Учат! Учат! — ответили одни.

— Нет! Нет! — закричали другие.— Не учат.

— Хороши у вас учителя?

— Хорошие!

— А может быть, хорошие потому, что не строго спрашивают с вас?

— Спрашивают строго!

— А какая вторая буква в слове «корова»,— вдруг задал вопрос Владимир Ильич,— «а» или «о»?

Мнения по этому вопросу разделились: одни кричали, что «о», другие, что «а». Владимир Ильич весело смеялся.

К Ленину все время пробивался дед Андрей Курков. Наконец он очутился позади Владимира Ильича, но «встрять» в разговор случая не подвертывалось, и дед ждал. Теперь, когда Ленин рассмеялся, Андрей Курков начал:

— Владимир Ильич, у нас, мужиков, к вам дельце небольшое,— и смело оглянулся на Родионова и секретаря Волоколамского укома Круглова.

— Пожалуйста,— охотно отозвался Ленин.

Старик, видимо, переговоривший уже с другими крестьянами, стал жаловаться на местную власть, которая закрыла их маслобойню. Говорил старик убедительно, с достоинством, уверенный, что его непременно поддержат.... Увлеченные Курковым, в разговор вступили самые пожилые и, видимо, самые уважаемые сельчане. Ленин внимательно слушал, обещал помочь разобраться, считая это недоразумением.

Пока выносили скамьи, пока рассаживались, быстрые зимние сумерки уже подступали к околице, осторожно заволакивая серое небо над площадью.

Ленина и Крупскую посадили в середине скамьи, по бокам и за ними стали размещаться крестьяне. На свободное место впереди ринулись ребятишки.

После фотографирования Ленин, Крупская, Родионов и Круглов направились к столу, который заменял трибуну.

Митинг открыл Дмитрий Родионов. Надолго запомнил Владимир Ильич слова этого умного крестьянина, которому горячо аплодировал:

— От лица собравшихся я приветствую новое событие в жизни деревни. Мы, крестьяне России, были темны, и вот теперь у нас появился неестественный свет, который будет освещать нашу крестьянскую темноту.

Ленин подумал, что для крестьянской массы электрический свет, конечно, есть свет «неестественный»,

но для коммунистов, для партии гораздо неестественнее то, что сотни лет крестьяне жили в темноте, нищете, в угнетении у помещиков и капиталистов.

Когда предоставили слово Ленину, крестьяне стали громко рукоплескать, кричать «ура!», вверх полетели шапки. Владимир Ильич подошел к столу вплотную.

— В вашей деревне построена электрическая станция. Пока только в одной деревне. Но нам важно, чтобы вся страна была залита светом.

Владимир Ильич напрягал голос: ему хотелось, чтобы его услышали все собравшиеся. Ведь некоторые приехали и пришли из соседних деревень, давно мерзли на морозе, ждали... Наклоняясь вперед, Ленин обращался то к одному, то к другому. В порыве этом он сам не заметил, как смял шапку в руке. Взмахивая ею, он как бы подчеркивал слова, на которые ему хотелось обратить особое внимание крестьян.

— Советское правительство разрабатывает сейчас проект электрификации. С помощью электричества мы будем обрабатывать землю, водить поезда!..

Стоя на импровизированной трибуне, в распахнутом пальто, Ленин отвечал Марье Никитичне, Андрею Куркову, Василисе Малофеевой, представительному крестьянину с усами и бородой, другим, с кем он сидел за столом, говорил как бы с миллионами людей за сотни и тысячи верст отсюда. Он говорил, зная, что на глазах у всего мира эти крестьяне отсекли напрочь один период истории, длившийся сотни лет, и начали творить другой, исчисляющийся пока днями, месяцами и тем не менее уже ярко проявивший себя.

Маленькое Кашино, эта деревенька с простенькой электростанцией, с энтузиастами-строителями, было сейчас трибуной, с которой Ленин обращался к гражданам России, плацдармом, с которого можно было наступать.

Едва Ленин кончил речь,— оркестр грянул «Интернационал», а на столбе, неподалеку от стола, украшенного зелеными ветками, обвитого кумачовой лентой, пронзительно ярко вспыхнула электрическая лампочка.

Но не только от лампочки на столбе стало так светло на улице: из окон десятков домов на снег, на дорогу, на березы брызнул этот пронзительный свет.

Оглядываясь на свои дома, крестьяне не узнавали деревню. Никогда они не видели ее такой. В этом свете другими стали старые березы, снег, небо — все, тысячи раз виденное прежде. И эти резкие тени от переплетов рам, резкие густые тени от берез на площади, от людей, тени, вдруг упавшие на снег... Чудно́ и небывало!

В криках «ура!», во всеобщем ликовании сначала была и настороженность, досадливое ожидание: а вдруг? Вдруг лампочка на столбе, лампочки в домах погаснут, как гас мотыльковый свет первобытных коптилок?

Но ослепительно яркий, действительно неестественный свет, исходивший от маленьких пузырьков на столбе и в домах, не гас.

Можно было уезжать. В Москве ждали дела. Но, прослышав о приезде Ленина, в Кашино явился представитель села Ярополец, где проходило совещание уполномоченных по строительству районной электростанции. Он пригласил Ленина побывать у них. Ленин колебался: поздно уже! — но все же поехал.

Дорогой в Ярополец, вспомнив о разговоре с Андреем Курковым, Ленин спросил:

— Товарищ Круглов, что там за история с маслобойней? Правда, что закрыли? Почему?

Круглов стал объяснять: невозможно организовать точный учет... Кустарничанье... Необходимо загрузить прежде всего государственный завод...

Ленин улыбнулся:

— Мелкое это дело, товарищ Круглов. Надо разрешить крестьянам открыть маслобойню и поддержать кустарное производство.

В Москву возвращались поздно вечером.

Машина ехала медленно: и темно, и дорога не такая уж надежная...

Откинувшись на сиденье, Владимир Ильич посматривал на огоньки деревень и сел, мелькавших за стеклом. По бокам дороги тянулась чернота, и лишь кое-где проклевывалось слабенькое мерцание коптилок.

Только сев в машину, Владимир Ильич почувствовал, как он бесконечно устал. Но прошло несколько минут в равномерном, убаюкивающем покачивании — и постепенно рождалось ощущение чего-то другого...

Он сначала не знал, чего именно, но стало очень хорошо!

То была становившаяся все более ясной уверенность, что стратегия борьбы намечена верно и приведет к победе...

Три момента были в ней.

Прежде всего, нужно было оторваться от ужасающей действительности, сковывающей мозг и волю, освободиться от ее пут, хотя бы немного приподняться над повседневностью, чтобы увидеть выход. Но необходимо было не впасть в бесплодные мечтания, заманчивую утопию, коварную блеском своих миражей.

И Ленин это сумел первым. Многих даровитых людей еще целиком поглощали, парализуя фантазию, беспросветные будни с бесконечными заботами об осьмушке хлеба, полене дров в условиях, когда сама новая жизнь могла не выдержать натиска старой.

Потом, оторвавшись и увидев больше, чем другие, наметив цель, нужно было найти первоначальную опору. Кто это? Небольшая группа высокообразованных русских интеллигентов, мечтавших о том же, о чем мечтал и он. Кржижановский, Винтер, Графтио, Радченко и другие... То была глубинная разведка, полная веры в успех. Высшим счастьем этих людей еще с юности не без оснований считалось — самим непосредственно осуществить свои смелые инженерные проекты. Ради счастья народа! Ради подъема Родины! А жизнь показала, что в условиях прежней России их мечта оставалась только мечтой и что она могла реализоваться лишь в новых социальных условиях. «Вот эти условия! — предложил он, Ленин.— И вот вам помощь и внимание!» Он не ошибся: с каким энтузиазмом эти благородные люди откликнулись на его зов!

Когда в электрификации было определено главное, мечта оформлена в конкретные и понятные каждому предложения, в ясные для всех слова, нужно было дать их массам, привлечь массы. Судя по этому маленькому Кашину, рабочие и крестьяне увлечены его идеей, сейчас ставшей уже их собственной. Теперь дело не может не пойти...

...В Москву въехали уже ночью.

19. УСПЕНСКИЙ СОБОР

Утром, прежде чем пойти к себе в кабинет, Владимир Ильич отправился в Успенский собор. В Москве по настоянию Ленина реставрировали храм Василия Блаженного, Шереметьевскую больницу, башни Кремля, его соборы.

Со скрежетом сдвинулась с места железная дверь, и Ленин, сняв шапку, вступил под своды собора, в густой его сумрак. Сумрак казался материальным, вещественным. Как с течением времени сгущается настой чая, так, казалось, сгустился сумрак под высокими гулкими сводами великолепного храма за века его существования. Сумрак веков...

Свет уже холодного, неяркого солнца из узких окошек-прорезей, расположенных в два ряда — почти под самым потолком и ниже,— светлыми полосами лежал на столбах, стенах, высвечивая детали росписей: лица, фигуры святых.

Пять-шесть рядов прямоугольных изображений, четко отграниченных друг от друга, опоясывали стены храма, заполнив их от пола до потолка. Это были наглядные картины из истории православия.

Шум коротких, неторопливых, но энергичных шагов поднимался ввысь, к сводам, и возвращался оттуда гулким эхом, тяжело ударявшимся в толстые стены. Древний храм ожил.

Неподалеку от алтаря Ленин не сразу различил высокую фигуру в черном пальто.

— Петр Федорович? — спросил Ленин и, узнав художника, протянул ему руку.

— Здравствуйте, Владимир Ильич.

— А я думал, не придете,— сказал Ленин.— Холодный день.

— Гм...— неодобрительно усмехнулся художник.— Как же это так, Владимир Ильич, не прийти?..

«При чем тут холод? При чем холод, когда надо спасать бесценные сокровища великой культуры великого народа, ежедневно, ежечасно гибнущие на неохватных просторах России! «Холодно!»

Он был высокого мнения о своей профессии, призвании художника, назначении искусства, и всякое неосторожно произнесенное слово воспринималось им как умаление величия и святости искусства.

— Не угодно ли вам будет?..— предложил Петр Федорович и указал рукой на леса.

Ленин молча взглянул на художника и вслед за ним направился к северной стене. Пропустив Ленина вперед, Петр Федорович взбирался за ним по скрипучим лесам, тяжело дыша.

— Что у вас, больное сердце, Петр Федорович? — обернулся Ленин и остановился, чтобы передохнуть.

— У кого оно сейчас не болит?..— тихо ответил художник, делая паузы.— Да вы... не останавливайтесь... Здесь недалеко...

Ленин и художник снова двинулись в путь, прошли мимо двух реставраторов, поздоровавшихся с Владимиром Ильичем, и вскоре остановились.

— Вот...— сказал художник.— Расчистили... Смыли...— Он указал на фрески пятнадцатого века.

Ленин вгляделся. Это было удивительно... Чем больше он смотрел, тем выразительнее становилась эта ничем не прикрытая простота искусства древнего художника. Юноша... Спокойный взгляд больших глаз... В них — тихая, утвердившаяся вера, которую ничто, никто не может поколебать... Во что? В великие идеи своего времени. Но какими бессмертными они должны быть, чтобы верующий в них остался живым через полутысячелетие в этой своей почти условности и простоте. Десяток поколений сменился с тех пор, поросли чертополохом и травой одни поселения, возникли другие, прошумели без числа и счета набеги, раздоры и войны... Он не был безучастным к ним, этот человек, нет! Но вера его выше преходящего, выше человеческой суеты и сумятицы, которые казались часто сутью жизни. Идеи его были идеями лучшего в свой день, а потому и сейчас светились верой в человека, в торжество добра над злом, верой в красоту...

— Поразительно! — сказал Ленин.— Божественное в человеке! Именно он создал великих богов.

— Кому же еще это по силам,— бросил художник, как давно уже известное, и напомнил: — Разве будет холодно, когда открываешь такое?

— Когда открываешь такое — нет,— согласился Ленин и спросил: — А что у вас все-таки с сердцем, Петр Федорович? Видно, надо полечиться?

Художник махнул рукой:

— Вот кончим, тогда...

— «Кончим, тогда...» — повторил Ленин.— А поздно не будет, Петр Федорович?

— Думаю, что нет... Скажите, Владимир Ильич, если сие не государственная тайна, не прикончат все это? — художник кивнул куда-то — на реставраторов, на фрески.

— То есть? Охрану и восстановление памятников культуры?

— Да.

— Откуда такие мысли, Петр Федорович? Разве мы варвары? Разве коммунизм возможен без культуры прошлого?

— Вы-то, может, и понимаете кое-что в искусстве, а другие ничего не понимают,— сурово сказал художник.

Хотя Петр Федорович умалял способности Ленина, который точно и легко анализировал сложные явления художественной жизни, и не раз доказал это в своих превосходных статьях и выступлениях, тем не менее сам Ленин воспринял отношение Петра Федоровича к себе как должное, не усмотрел в нем ничего обидного. Да, он, Ленин, любит искусство, но кроме, мол, политической направленности и тенденции понимает в нем, к сожалению, не так уж много. Ничего не попишешь! Далеко не каждому это дано — глубоко разбираться в тончайших сферах деятельности талантов и гениальных людей, в плодах их мучительного и вдохновенного труда. Сложная вещь — искусство!

— Искусство — великая сила,— продолжал Петр Федорович,— но оно совершенно беззащитно. Памятники культуры уничтожали при татарах, при царях и царицах, при Александре Федоровиче Керенском, уничтожают сейчас. А оправдание всегда можно найти. Революция, лишения, голод — чем не оправдание? Великолепное оправдание!

Ленин и художник шли по настилу лесов, и лики святых, похожих на мудрых плотников, лица воинов и мучеников следили за ними.

— Мрачные у вас мысли, Петр Федорович. Советская власть сделает все, чтобы даже в современных ужасающих условиях сохранить памятники культуры. И революция, безусловно, не оправдание для варварства.

Художник остановился и как бы в раздумье повторил:

— «Советская власть сделает...» Вы большой человек, Председатель Совнаркома, но тем не менее вы еще не вся Советская власть. А она у нас большая и оч-чень, что ли, разнообразная. По себе судите, Владимир Ильич!

Художник осторожно ступил вниз, Ленин — за ним.

— Это опасно — судить по себе. Очень!

Чем дальше они удалялись от стены, от лесов, и чем ближе подходили к центру храма, тем сильнее звучали их голоса и шаги под высокими сводами.

— Почему же опасно? — понизив голос, спросил Ленин.

— Не все такие, как вы, Владимир Ильич.

Ленин опустил голову.

Какое-то странное чувство испытывал он сейчас. Как будто все сомнения, которые когда-либо у него возникали, вдруг вобрала одна эта фраза. «Вот, оказывается, в чем дело!» Нет, все это, конечно и безусловно, не так, неправда. Но и отрешиться сразу от впечатления, произведенного этой фразой, не мог. Ему не хотелось отвечать. Своды Успенского собора разнесли бы его слова по всем темным закоулкам, по всем углам, где высились каменные прямоугольные гробницы патриархов. А эти слова — раздумья и веры — были для него одного.

— До свиданья, Петр Федорович,— сказал Ленин, подавая руку.— Настоятельно рекомендую обратиться к врачу.

— Обязательно...— согласился художник и добавил между прочим:— Потом...

— Полечитесь сейчас... Не бойтесь. С этим не покончат,— Ленин взглядом указал на реставраторов, трудившихся над восстановлением неповторимых фресок.

Художник молча пожал руку Ленину и пошел к лесам. Ленин еще некоторое время слышал, как он тяжело поднимается по сходням. В этих шагах, этой одышке, скрипе досок он угадывал недосказанное художником: «Нет уж... Так оно будет вернее — спешить с работой сейчас... Так оно будет вернее...»

Странное чувство, охватившее его несколько минут назад, не проходило, быть может, потому, что виновни-

ком его был суровый, трезвый человек, энтузиаст и герой, каким представлялся Ленину художник.

То, что Советская власть все еще «оч-чень, что ли, разнообразна» («Отлично сказанулось у Петра Федоровича»), ой как хорошо он знал! Не менее хорошо он знал, что не все руководители такие, как он.

Это в центре.

На местах... Порою, накрепко задушив Советскую власть, на местах называют ею мертвую форму... Действительно, положение в стране тяжелое... Все так.

Вдруг слова Петра Федоровича сомкнулись с фразой Покровского: «Главное, что будет потом, потом!»

Неужели, судя по себе самому, то есть считая, что рабочие, крестьяне, подавляющее большинство руководителей — больших и малых, несмотря на их различие, будут и сейчас и в дальнейшем делать так, как делал бы он,— он ошибается? И всего лишь привиделись, померещились ему в народе силы, желание строить новую жизнь, в руководителях — необходимые качества? И нет Советской власти, нет единства, нет победы над бюрократизмом, над мелкобуржуазной стихией, над озверелым хамством! Короче говоря, не останется ли победа за этим «многообразием» потому, что оно более сильное, чем ему, судящему по себе, кажется? «Нет, конечно...»

Тем не менее через несколько минут Ленин снова повторил про себя: «Советская власть у нас большая и оч-чень, что ли, разнообразная! Оч-чень разнообразная!»

Он прошел по плацу, где занимались кремлевские курсанты, поздоровался с ними, с часовыми у Совнаркома и поднялся к себе.

20. СТРАСТИ ПО ЧЕЛОВЕКУ

Начался обычный рабочий день. Чтение газет... Потом наступит очередь просмотра бумаг... Встреч с людьми... Заседаний... Звонков...

Газеты, которые Ленин быстро читал одну за другой — «Известия», «Правда», «Экономическая жизнь»,— разительно менялись день ото дня.

В «Правде» после заголовка крупными буквами сообщались главные новости.

В начале года:

«Катастрофа российской контрреволюции началась.

При занятии Красноярска нами взято шестьдесят тысяч пленных. Иркутск, Красный Седан, занят повстанческими отрядами тов. Калашникова, Колчак арестован в Иркутске собственными солдатами.

Разбитая на две части, армия Деникина катится к Черному морю и на Северный Кавказ. Новочеркасск взят, наша армия выходит к реке Сал.

Вперед до полной победы! — отвечает Советская Россия душителю Клемансо его собственными словами!»

Весной, когда грязь грозила затопить, а тиф захлестнуть город, «Правда» объявила:

«30-го марта, во вторник начинается

«БАННАЯ НЕДЕЛЯ»

Московская Чрезвычайная Санитарная Комиссия (М. Ч. С. К.) предлагает всему населению Москвы

БЕСПЛАТНО ПОМЫТЬСЯ В БАНЕ.

Каждый получит кусок мыла.
Приняты предупредительные меры против занесения заразных болезней и насекомых».

В июле газеты призывали:

«Добить Врангеля!»

Осенью, в ноябре, обращали на себя внимание такие сообщения:

«Соляная кампания на Баскунчакском озере».
«Ремонт целлулоидных заводов».
«Борьба за восстановление хозяйства. Грозненское жидкое топливо».

Большой давал «Руслана и Людмилу», Художественный, куда иногда ходил Ленин,— «Дочь Анго», 1-я студия МХТ — «Гибель «Надежды».

Приятно было читать газеты в конце двадцатого года!

Наступал перелом. Народ завоевал себе право строить, осуществлять задуманное...

Приближался VIII Всероссийский съезд Советов.

Он должен был обсудить план электрификации России. Решал съезд, высший орган Советской власти. Съезд, несомненно, одобрит этот план, если за это время партийные органы, коммунисты сумели убедить тру-

дящихся в необходимости этого плана, доказать преимущество электрификации. Времени было мало, пропагандировать по-настоящему еще не все коммунисты умеют... Конечно же, сделано далеко не все. В этом случае (а это, несомненно, так!) еще большая нагрузка ложится на доклад Кржижановского, выступление его, Ленина, на съезде, на «томик» «Плана ГОЭЛРО».

Несколько дней назад Глеб Максимилианович пригласил к себе начальника издательского отдела НТО[1] ВСНХ Владимира Ильича Александрова и сказал ему, что к съезду нужно издать план ГОЭЛРО.

Александров предвидел, что дело, по которому его приглашают, будет необычное, и поэтому был готов ко многому.

— План ГОЭЛРО...— согласно повторил он.— Конечно... Конечно... И каков же объем этого плана? Листов пять?

— Пятьдесят,— как нечто само собой разумеющееся сообщил Глеб Максимилианович.

— Сколько? — почему-то шепотом переспросил Александров.

— Пятьдесят листов,— четко произнес Кржижановский.

Александров, недоумевая, посмотрел на Глеба Максимилиановича, потом куда-то в сторону, потом снова на собеседника.

— Пятьдесят — за три недели?!

— Видимо, меньше — за девятнадцать дней...

Все запротестовало в Александрове: черт возьми, да знает ли Глеб Максимилианович, о чем говорит?! Легко вот так давать задания! Пятьдесят листов за девятнадцать дней в нынешних-то условиях, когда люди голодают, трамваи стоят, а в типографиях холодно, как на улице! Но в том-то и дело, что Глеб Максимилианович конечно же знал об этом великолепно...

— Выясните обстановку,— предложил Кржижановский.— Прикиньте, что нужно для выполнения задания, а потом мы зайдем к Ленину.

«К Ленину...»

И вот, помотавшись по типографиям, посовещав-

[1] Научно-технический отдел.

шись с людьми, Александров снова явился к Глебу Максимилиановичу. Нужна помощь Ленина.

Владимир Ильич принял их сразу же.

— Книгу о плане ГОЭЛРО нужно отпечатать к съезду,— напомнил он.— Вам все известно: бумаги почти нет, типографии стоят замерзшие, рабочие думают о хлебе... Три недели или того менее — срок небывалый. Наверное, рекордный. Возможно ли? Чем нужно помочь?

— Возможно,— сказал Александров.— Книгу будем печатать в пяти типографиях сразу...— Александров торопился и все трогал в кармане пиджака сложенный вчетверо листок бумаги с перечнем необходимых продуктов.— Но нужно рабочих подкормить, иначе сил не хватит...

— Что и сколько нужно?

— Вот, Владимир Ильич...— Александров вынул листок из кармана.

Ленин прочел записку.

— Немного.

Подписав, он стал подробно расспрашивать о том, что нужно еще, как книга будет печататься, как оформляться: он знал типографское дело не хуже иного специалиста. Когда он издавал «Искру», ему приходилось не только редактировать ее, но постоянно наблюдать работу метранпажа, наборщиков, рабочих.

— Так,— сказал Ленин и обратился к посетителям: — Все ли мы учли?

— Все,— сказал Александров, довольный, что продукты, о которых он говорил печатникам, будут у них чуть ли не сегодня.

— Кажется, все,— подтвердил Кржижановский.

Александрову хотелось успокоить Ленина, поскорее закончить этот разговор («И других дел у него много!»), и он стал убеждать:

— Владимир Ильич, революционной сознательности, энтузиазма у печатников хватит. Сделаем.

— Это хорошо...

Вроде бы все, пора уходить: помощь Ленина получена, обо всем договорились... Но как ни спешил Александров, дорожа временем Председателя Совнаркома, встать было как-то еще неудобно: Владимир Ильич о чем-то раздумывал.

— «Сознательность, энтузиазм...» — повторил он и

обратился к Александрову: — Вы сказали, что план будет печататься в нескольких типографиях сразу?

— Да, Владимир Ильич,— подтвердил Александров.— В пяти.

— А машины у вас есть? — вдруг спросил Ленин.— Хотя бы одна?

— Нет...

— На чем же вы будете доставлять материал в типографии? Пешком? На извозчике?

Александров сконфуженно молчал: об этом он не подумал...

— Автомобиль дадим,— сказал Ленин.— Объясните, пожалуйста, типографам всю важность плана ГОЭЛРО.— И, вспомнив, как в феврале этого года рабочие типографии бывшей Кушнерева печатали брошюру Глеба Максимилиановича «Основные задачи электрификации России», закончил: — Я уверен, что они сделают все возможное, чтобы выполнить это задание.— Ленин протянул Александрову руку.

Проходя по залу заседаний, по коридору, Александров на все лады повторял про себя: «А машины у вас есть? Машины есть?»

А Владимир Ильич уже разбирал свежую почту. И вдруг — объемистый пакет.

«От Покровского!»

В пакете оказалась сшитая суровыми нитками рукопись страниц на полсотни и лист великолепной, уже забытой, белой глянцевой и упругой бумаги. Ленин с интересом развернул записку.

«Дорогой Владимир Ильич!

Здесь краткие соображения, касающиеся электрификации России. Пусть это будет моей посильной помощью Вам. Очень прошу не забыть Бежецкий уезд в Брянской губернии — мою родину.

С пожеланием успехов

Федор Покровский».

Ленин откинулся на спинку кресла и, все еще держа письмо в руках, смотрел на него.

«Человек!»

В тот день, когда Покровский был у него, Ленин дал задание Горбунову помочь профессору чем можно. Конечно, многим не поможешь, но не дать умереть

с голоду, поддержать, безусловно, возможности есть. Владимир Ильич позвонил в Управление делами.

Горбунова на месте не было, и вместо него пришла Мария Петровна.

— Владимир Ильич, помощью Федору Васильевичу занималась я,— сказала Мария Петровна, стоя неподалеку от дверей. Говорила она тихо, спокойно.

Когда Мария Петровна появлялась в кабинете или на заседаниях Совнаркома, Ленин замечал, что ее присутствие действовало на него как-то особенно. Иногда при появлении Марии Петровны он вспоминал мать. У них было много общего: и имя у них одно, и эта спокойная уверенность в себе, и стремление помочь, поддержать, и что-то еще, не определяемое никакими словами... Владимир Ильич знал: если за дело бралась Мария Петровна, можно не беспокоиться.

— Занимались вы... Очень хорошо, Мария Петровна,— ответил Ленин.

— Товарищ из комендатуры сразу же отвез Федору Васильевичу четыре фунта хлеба, сахар, пшено. Я проверила исполнение.

— Хорошо. Когда это было?

— Десятого, Владимир Ильич.

— Так...

— Дров у него не оказалось. Отвезены и дрова. Тоже десятого! Я также проверила, Владимир Ильич. По-моему, он болен, сегодня обязательно добьюсь правды...

— «Добьюсь»? — спросил Ленин и взглянул искоса на Марию Петровну.

— Домашние что-то скрывают, по крайней мере от меня...

— Пожалуйста, узнайте — и сегодня же!

— Обязательно, Владимир Ильич.

— Спасибо, Мария Петровна.— Ленин уже взялся за рукопись, как вдруг добавил: — Он на днях не обращался в ВСНХ или в комиссию Кржижановского? Договорился?

— Вы, Владимир Ильич, ничего не сказали об этом...

— Да, да... Он должен был туда непременно обратиться.

Владимир Ильич встал, вышел из-за стола. Мария Петровна видела, что Ленин взволнован. В таких слу-

чаях ей всегда хотелось по возможности переложить тяжесть и заботы с его плеч иа свои. Но оиа могла помочь Владимиру Ильичу только в мелочах. Ну хотя бы это!

— Пожалуйста, пусть товарищ Кавлетов зайдет,— Лении загляиул в какую-то бумажку иа столе,— в три... После совещаиий...

— В три? — Мария Петровиа всегда повторяла в вопросительиой форме числа, часы, фамилии, изываемые Леииииым, чтобы дать Владимиру Ильичу возможиость поправить, если оиа его не поияла или ие расслышала. Ведь был же случай, когда к Леиину стали вызывать «всю» коллегию Наркомзема. Всю! А Лениху иужеи был всего-иавсего лишь список всех ее члеиов.— Хорошо, Владимир Ильич,— ответила Мария Петровиа.

Кавлетов был принят ровио в три, после совещаиия по хозяйственным вопросам и разговора с Цюрупой об улучшеиии снабжения промышлеииых цеитров продовольствием.

Лицо его показалось Леииниу еще самодовольней.

— Как дела с Покровским, товарищ Кавлетов?

— Покровский не приходил, товарищ Леиии,— почтительио ответил Кавлетов.— Я ждал, но ои так и не явился.

— После того, как вы его шугаиули со свойствеииой нам р-революциониой смелостью! — как бы про себя заметил Лении.— «Ждали!» — И спросил: — А почему вы сами ие поиитересовались, что с ним?

Кавлетов помялся: говорить откровеиио, ие говорить?

— Что же ему — кланяться, товарищ Леиии? — иаконец сказал ои.

— Так! — Владимир Ильич этого и ожидал.— Значит: «Буржуй! Враг! Зиать не желаю!» Зиачит, старые специалисты не иужны?

Кавлетов молчал.

— Вы, товарищ Кавлетов, сами можете разработать проект хотя бы небольшой электростаиции?

— Я, товарищ Леиин, являюсь...

— Зиаю, зиаю... Ответьте, пожалуйста, иа мой вопрос!

— Не могу разработать!

— Так! Можете сами сделать рабочие чертежи?

— Но, товарищ Ленин...
— Пожалуйста, отвечайте на мои вопросы!
— Не могу сделать.
— Не можете. Вы инженер?
— Нет...
— Хотя бы техник?
— Нет...
— Выходит, в технике вы невежда. Но кто же, по-вашему, будет строить электростанции? Строить, а не заниматься болтовней, хотя бы и сверхреволюционной? У нас своих специалистов нет! Кто будет строить, товарищ Кавлетов?
Кавлетов молчал.
С папкой под мышкой, в расстегнутом пиджаке, из-под которого видна была косоворотка из черного сатина, вошел Калинин. Ленин поздоровался с ним и предложил:
— Садитесь, Михаил Иванович.
Кавлетов посмотрел на Калинина, который скромно сел как можно дальше от него и Ленина, и, обращая на себя внимание Калинина, выпрямился в кресле. Присутствие всероссийского старосты приободрило его.
— Я член партии, товарищ Ленин! — гордо заявил Кавлетов и с независимым видом посмотрел на Калинина.— Правящей партии,— оборвал он фразу, чтобы придать ей бóльшую значимость.
— Тем более, товарищ Кавлетов! Это ко многому обязывает!.. Таких коммунистов, как вы, у нас много, и я бы отдавал их дюжинами за одного добросовестно изучающего свое дело и честного буржуазного спеца.
От неожиданности Кавлетов онемел и встал, не замечая, как передвигает на столе с места на место какую-то газету.
— Дюжинами,— повторил Ленин.
— Не понимаю...— произнес Кавлетов.— Диктатура пролетариата и революция поставили задачу перейти из царства необходимости в царство свободы. Я хочу сознательно выполнять свой долг перед мировой революцией... Я не могу понять, почему нужна именно электрификация, а, допустим, не газификация всей страны? — Он еще с деланным видом смотрел на Калинина, однако начинал понимать, что случилось что-то страшное. Он падал в пропасть, и уже ничем и никак нельзя было спастись!

— Все слова! Объясняли десятки раз. Накоиец вопрос решили, вынесли постаиовление, утвердили, и снова — слова! Вы ие хотите подчиняться решениям партии...

— Я — партии? — перебил Кавлетов.

— Да, вы. Чудовищное непонимание сути дела, товарищ Кавлетов!

Михаил Иваиович поднялся и стал возле карты, переживая этот разговор, волнуясь за Ленина.

С убийственной ироиией Ленин обратился к Михаилу Иваиовичу.

— Радость Сапронова, Максимовского, Осинского и других иже с иими! Всеобщая демократия без коица и края в условиях, когда иужно каждый день, каждый час, каждую минуту оперативио решать большие и малые вопросы хозяйственного строительства и отвечать за порученное дело! Решать и отвечать! Иначе нас сомнут!

Ленин встал.

— Довольно, товарищ Кавлетов! Извольте извиниться перед профессором за поведение, недостойное члена партии. И извольте подчиняться! Вот вам диктатура пролетариата в самом чистом и натуральном виде!

Владимир Ильич попросил коммутатор соединить его с квартирой Покровского. К телефоиу долго никто не подходил. Наконец женский голос очень тихо и невнятно ответил. Владимир Ильич переспросил:

— Поздиее? Простите... Простите... Позвоню позднее...— Он уже хотел положить трубку, как ему что-то сказали, и Владимир Ильич нетвердым голосом, боясь что неправильно поиял, произнес: — Болеи... И — тяжело!..

— Ну вот, видите...— вырвалось у Кавлетова: мол, нечего было столько спорить и возиться!

Лении побледнел.

Гнев его достиг предела. Но в гневе необыкновенный ум, иапряжеиие мысли обострялись, стаиовились как бы еще более ощутимыми. Очевидным становилось и то, что иегодование его, до какого бы крайнего предела оио ии доходило, редко прорывалось наружу. Не глядя на Кавлетова, он вериулся к креслу.

В эту мииуту в кабииет вошла Мария Петровна. Несколько раз она звонила на квартиру Покровского,

там не снимали трубки. Наконец попросили позвонить позднее... И вот...

Мария Петровна все сразу поняла и вышла.

Где-то в глубине сознания Владимира Ильича пронеслось: «не все вижу... не все знаю...» И еще: «яснее ясного: восстановить страну экономически, имея одну десятую довоенного народного богатства, труднее, чем воевать и победить. Здесь победа не в увлечении, натиске, самопожертвовании, а в ежедневной, скучной, мелкой будничной работе. Не все понимают, не все выдержат. Сотни,— Ленин посмотрел на Кавлетова,— нет, тысячи таких опираются на питательную среду внутри партии. Деятельность этой среды вредна, а победа — гибельна».

Перед Лениным как живой стоял Федор Васильевич. Глаза с упрямым, горестным огнем отчужденно смотрели куда-то мимо Ленина... Не обольщаясь ни достижениями новой власти, ни словами авторитетов, ни победами. Весь нацелен на будущее: каково-то оно? Во что выльется?..

— Вы можете идти,— сказал Ленин Кавлетову и, не протянув ему руки, сел.

Только сейчас до него дошло, что приходила Мария Петровна, что ей можно было дать поручение... Теперь он об этом поручении сказал по телефону: справиться, чем помочь... Если нужно — достать лекарства... Позвонил в ВСНХ: попросил обратить внимание на Кавлетова... Давать поблажки таким людям мы просто не вправе.

На миг закрыл глаза рукой, вздохнул.

— Михаил Иванович, пожалуйста,— обратился Ленин.

Но Михаил Иванович не спешил. Было заметно, что Ленин заставлял себя отойти от случившегося и не мог этого сделать сразу. Калинин покашлял, чтобы как-то заполнить необходимую для передышки паузу, взглянул на часы, снова покашлял. Было у него к Ленину два сорта дел... Один изложит сейчас, а с другим повременит...

— Владимир Ильич,— начал Калинин,— я получил неплохие вести с Украины...

В августе и сентябре Михаил Иванович объехал с агитпоездом немало мест Малороссии, как еще часто называли Украину. Основной целью поездки была ор-

ганизация массово-полнтнческой работы, особенно в селах н в деревнях. И вот теперь Калинин сообщал:

— Комитеты незаможных селян, Владимир Ильич, укрепляются, можно сказать, повсюду. Отряды, которые онн создают, помогают бить контрреволюцию...

— Эсеры, меньшевики? — спросил Леннн.

— Хватает... Но, по-моему, они все больше теряют почву. Лозунг «Незаможник, на кулацкого коня — и против Врангеля!» оказался правнльным и поднял много народу...

— «На кулацких конях против Врангеля...» — Леннн чуть заметно улыбнулся.— Далее, Миханл Иванович...

Калннин продолжал рассказывать о положении дел на Украине н был очень доволен, что сумел хоть немного порадовать Леннна. Это ведь тоже было его делом, Малороссня... Он одобрнл созданне комитетов незаможных селян, он позднее написал к ним специальное обращенне...

После ухода Калннина Владимир Ильич стал разбирать папку с деламн.

Характер дел в этой старой папке менялся... Дела неплохие... Но что это? Неужели две недели? Да! Ясное, мелкое в общем дело решали, действительно, две недели! Немыслнмая волокита н бюрократнзм!

Ему прнпомнилось, как более года назад, вот так же разбирая бумаги, он увндел резолюцию н не поверил глазам. Снова прочел. Черт знает что! Нанскосок черным по белому было выведено: «Работы и так много, с пустяками заниматься некогда». И это писал советский работник на жалобе двух крестьян о неправильной мобилизации у них лошадей!

«Работы у него много! А что же он счнтает работой. Кому он служит? Во имя чего?» Тогда Ленин написал распоряжение: «Аванесову в государственный контроль для *ареста* ответившего так чиновника».

И сейчас Владимир Ильич написал суровую резолюцию. Положив ручку, некоторое время он никак не мог успокоиться. Это же надо: считать главное пустяками! Делать из мелочи проблему... Получив власть, давать чувствовать эту власть, заставляя ждать решения н просить о нем не раз... Черт знает что! Невероятно! Вот он, печальной памяти Антон Иванович Деникнн в миннатюре, в которого не только нельзя стре-

лять, но которого все должны называть товарищем, а Советская власть обязана платить ему еще жалованье и давать усиленный паек, чтобы поддержать его жизнь! Та самая Советская власть, которую несколько таких дураков в креслах за столами под портретами Маркса скомпрометируют вконец. И тогда снова явится Вандерлип, воочию видящий, что большевики действительно не могут справиться с разрухой, и ему придется принять условия, продиктованные этим дельцом. Черт знает что! Архинелепица и возмутительная гнусность!

Бумагу со своим распоряжением Владимир Ильич положил на самый верх, чтобы ей скорее был дан ход.

Потом он взял отчет о работе Донецкого бассейна и понял, что не в силах вникнуть в него. «Какое головотяпство! — все еще не мог успокоиться он.— Какая тупость! Полмесяца для решения мелкого дела!»

Владимир Ильич прошелся по кабинету. Вспомнил язвительные, полные яда заголовки статей буржуазных газет о Советской власти и плане ГОЭЛРО: «Гибель России», «Бред жестоких фанатиков». Против Советской власти хотят объявить поход, чтобы раздавить большевизм в зачатии. «Но нет! Черта с два у вас выйдет!» Ленин потер виски.

Каждое утро, садясь в плетеное кресло за этим столом, заваленным бумагами, газетами, книгами, Ленин как бы впрямую сталкивался лицом к лицу с днем сегодняшним и днем завтрашним во всей их неоглядности, разнообразии и устрашении. Сколько раз, казалось, девятые валы уже нависали над самой головой, грозясь свалить и низвергнуть в черную бездну... Девятых валов, кажется, уже не будет: Красная Армия ворвалась в Крым, с победой над Врангелем кончится кровопролитная, одна из самых жестоких — гражданская война.

Это будет великой победой. Трудно преувеличить ее значение. И все-таки, не раз говорил Ленин, мы победили не больше чем наполовину. Не больше!

Величие победы было в том, что дело, начатое партией, все-таки победило. После трех лет войны оказалось, что народ, партия неизмеримо сильнее, чем были до этого. Но всемирная буржуазия тоже еще очень сильна. Попытки свергнуть Советы могут быть повторены. Гигантская победа одержана благодаря само-

отверженности и энтузиазму русских рабочих и крестьян, выдвинувших сотни, тысячи героев. Главный источник победы — героизм, самопожертвование, неслыханная выдержка в борьбе.

Но одним подъемом и героизмом дело революции нельзя довести до победы. Этого мало, потому что стоит вторая, бóльшая половина задачи, бóльшая по трудности — строительная, созидательная. Одной готовности рабочих и крестьян идти на смерть мало. В борьбе, которую нам придется вести, нет ничего, кроме мелочей. Вокруг нас — мелкие хозяйственные дела, которые сложатся в одно великое.

В этой повседневной, будничной работе многое зависит от того, насколько правильно понимаются опасности, возникающие перед страной.

Еще существует основа капитализма — частнособственнические тенденции в душе и действиях каждого мелкого хозяина.

Еще существует в советском и партийном аппарате страшнейший бюрократизм, взяточничество, внутри партии — оппозиция и группы. Пока они есть, мы можем погубить Советскую власть.

Ленин сталкивался с этим ежедневно. И сегодняшний день, вернее всего лишь половина рабочего дня, принес новые факты. Но, как бы они ни были неприятны, а порою страшны, Ленин и раньше, и сейчас, после разговора в Успенском соборе, с какой-то новой для него силой, спокойствием и выдержкой смотрел на них, зная, что именно нужно делать, и делал это. Советская власть так, как она задумана, непобедима!

В самые трудные, рискованные минуты своей жизни и революционных процессов он чувствовал необыкновенный прилив сил. Все его существо отвечало как бы ударом на удар.

С десятками людей встретился в этот день Ленин — старыми боевыми товарищами по партии и простыми посетителями, пришедшими по своим личным делам. И все не могли не заметить в Ленине — каждый по-своему — этого необыкновенного прилива энергии. Чем труднее становилось ему, чем смертельнее была опасность, тем больше сил рождалось у него. Он знал об этом, но знал также, что силы эти исчерпаемы, за все придется расплачиваться...

Дела идут...

Россия, сегодняшняя Россия, не выдуманная и не прикрашенная, со всем тем, что у нее осталось от прошлого, эта сегодияшняя, невыдуманная Россия, со своим нищенством, убогостью, со своими темнотой и невежеством и тем дорогим и необыкновенным, что возродили к жизни лучшие ее люди за годы упорной борьбы, эта иевыдуманная Россия поднимается созидать коммуиизм. Она уже поднималась, и он, Ленин, видел это каждый день в десятках и сотнях фактов.

За Россией пойдут другие страны, и мир преобразится до неузнаваемости.

Государство без эксплуататоров! Потом — весь мир без них, а раз так, значит — без войны... Мир без войны — значит, не нужна армия. Все ресурсы человечества — на созидание. Правительства будут заниматься вопросами продления жизни людей, борьбой с болезнями, вопросами науки и культуры. Завидиое время!

Но Ленин не завидовал людям будущего.

...И вдруг звонок.

— Владимир Ильич, завтра на охоту поедете?

— На охоту? С удовольствием!

21. «С ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬЮ...»

На следующий день, когда Владимир Ильич проводил заседание Совета Труда и Обороны, к трехэтажному дому на Старокоиюшенном подъехал автомобиль. Из него вышел пожилой человек в пальто и шапке-ушанке, достал из машииы нечто кругообразиое, тщательно завернутое в бумагу, и вошел в подъезд. Человек ие спеша поднимался по широкой лестнице с литой узорчатой решеткой из чугуна. На просторных площадках посматривал на овальные таблички с иомерами квартир.

«Двадцать пять... Двадцать семь... Двадцать восемь... Вот она! И дощечка!..»

На медной, недавно иатертой мелом дощечке четким шрифтом выгравировано: «Федор Васильевич Покровский».

Человек в пальто подошел к двери, огляиулся и стал развязывать шпагат иа своей иоше, снимать с нее бумагу... В бумаге оказался иебольшой венок из свежих еловых ветвей, обвитый кумачовой лентой.

Не зная, куда бросить шпагат и бумагу, человек в пальто аккуратно сложил их и запихнул в карман. Потом он выпрямился, став торжественно-строгим, и нажал кнопку звонка. Но звонок, видимо, не действовал. Человек в пальто снова позвонил, проверяя, и только потом постучал в высокую дверь. Ее сейчас же открыли, будто ждали посетителей. Молодая девушка с пухлыми щечками пытливо взглянула на человека в пальто и, не признав в пришельце знакомого, вопросительно подняла густые брови, покраснела.

Человек в пальто с уважением поклонился и сказал:

— Будьте добры... Примите, пожалуйста...— и протянул венок девушке.

Как только венок оказался в ее руках, посетитель отступил, снова почтительно поклонился и закрыл дверь.

— Бабушка... Бабушка...— услышал он голос девушки, уже спускаясь по лестнице.

Вскоре дверь распахнулась, на площадку вышла седая женщина в черном и позвала:

— Гражданин!.. Товарищ!..

Шаги на лестнице оборвались, потом возобновились — все слышнее, слышнее: человек в пальто поднимался. На площадке он остановился и учтиво поклонился женщине.

— Простите,— тихо спросила она,— там указано...— и замолчала, боясь произнести имя.

— Венок просил передать Владимир Ильич,— просто ответил человек в пальто.

— Ленин? — все еще неуверенно произнесла женщина.

— Да...

Через несколько часов горстка людей, укутанных кто во что, брела за большим, плохо покрашенным гробом... Родственники... Коллеги... Но коллег было всего трое. Двое из них осуждали в душе поступок Федора Васильевича — его помощь большевикам, но пришли все же отдать последний долг. Десятки не пришли... Третий был из тех, кого сагитировал тогда Глеб Максимилианович в бывшем ресторане «Славянский базар». Таких явилось бы и больше, знай они, над чем

и для кого работал Федор Васильевич последнее время. А некоторым из знакомых вовсе неизвестно было о смерти Покровского: в газетах некролога не было.

Небольшая процессия медленно двигалась по Староконюшенному, выбираясь из забитого снегом переулка на бульвар. Венки... Гроб на санях...

Мороза не было, небо сумрачное, низко нависшее, и под ним печально совершал последний свой путь Федор Васильевич Покровский.

Процессия пройдет мимо памятника Гоголю... Погруженный в мрачное раздумье классик словно знал о судьбе ученого и не шелохнулся при появлении процессии... Пройдет небольшая процессия и по Арбатской площади, потом по Никитскому бульвару, по Большой Никитской к Кудринке, мимо Вдовьего дома к Пресне, а там рукой подать и до Ваганькова, где уже безнадежно затеряны десятки могил примечательных людей. Впоследствии затеряется и большой сейчас холмик над гробом Федора Васильевича, терзавшегося за судьбу родины, тянувшего полуголодную жизнь, добитого тифом...

Три венка положат на перемешанную со снегом глину древнего Ваганькова. На одном из них — лента с надписью: «Федору Васильевичу Покровскому — с признательностью. Ленин».

22. ЗИМНИЙ ДЕНЬ

После воскресенья, проведенного в Горках, Ленин чувствовал себя хорошо. Отступали усталость, головные боли, бессонница.

Поглядывая в окно, Ленин составлял план доклада на съезде. Много листков уже было исписано, но к одному из самых главных моментов он, кажется, только подходил:

«25. Электрификация: меньше политиков, больше инженеров и агрономов. («Конечно же, улучшенных изданий Кавлетова десятки и сотни... И все они хотят наблюдать и командовать»).

Коммунизм = советский строй + электрификация. («Так? Это будет понятно всем, это запомнится даже тому, кто не прочтет ни одной статьи об электрификации, ни одной брошюры о ней. Так!»)

Единый хозяйственный план. Великий план». («В этом случае не надо бояться громкого слова».)

План реален. Ленин тотчас же вспомнил о посещении Кашина и написал:

«Порыв крестьян: «свет неестественный».

Окно, за которым виднелась белая от снега крыша Арсенала, голубое, солнечное небо, манило Ленина.

«Будем строить... Все силы созиданию... А опасности?» И он записал:

«Может ли Россия возвратиться к капитализму?» («Сухаревка в душах переживет Сухаревку-рынок. Может...»)

Продолжая, он набросал: *«2-ая программа партии...»* — и снова вернулся к занимавшей его мысли:

«Больше инженеров и агрономов, чем политиков» («Работа, а не словесный блуд»).

Через несколько минут — опять мысль об опасности:

«Может ли вернуться капитализм? Сухаревка?»
И ответ:

Да, может, **пока».**

Еще один тезис:

«Электрификация как база демократин».

Снова Ленин вспомнил Кашино и снова записал понравившиеся слова Дмитрия Родионова:

«Свет неестественный»...

Сделав минутный перерыв в работе, Ленин подошел к окну. За ним была зима... Правда, не такая, какую он видел вчера в Горках, но все-таки зима. Выпавший в ночь снежок легко лежал на крыше Арсенала, на лепных украшениях и в толстых проемах его маленьких, узких окон. Приведенная в порядок Первого мая этого года площадь стала просто нарядной. Правда, тропки разбили ее на треугольникн н трапеции, словно черные линин лист ватмана. И все-таки это была зима, частица той самой, которая поразила его вчера своей красотой и всепокоряющей мощью. «Прекрасная штука — жизнь!»

Он не заметнл, как вошел Калинин. Услышал его голос:

— Здравствуйте, Владимир Ильич.

— Здравствуйте, здравствуйте, Михаил Иванович!

С папкой в руке Калинин прошел к окну н оста-

новился рядом с Владимиром Ильичем. Папку положил на подоконник. Поправил поясок на рубашке.

— Настоящая зима, Михаил Иванович,— сказал Ленин.

— Да, снег лег сразу. Хорошо.

— Садитесь, пожалуйста.

Калинин признательно кивнул. Никогда бы он не позволил себе сесть в присутствии стоящего Ленина, никогда бы не выказал такого неуважения... Он лишь повернулся, взглянул на ближайшее к себе черное кресло, в котором позавчера сидел Кавлетов, и нахмурился.

Ленин тоже посмотрел на черное кресло.

— Называется — советский работник! — проговорил он. По тону, каким это было сказано, Михаил Иванович понял, как глубоко задела Ленина история с Кавлетовым. Прошла суббота, прошло воскресенье, а разговор с воинствующим невеждой все еще звучал в ушах.

— Надо же умудриться,— продолжал Ленин,— не получить даже понятия, что такое труд, долг, совесть! Наследник капитализма... с партбилетом в кармане!..

Михаил Иванович легонько постучал ладонью по белому подоконнику, раздумывая.

— Я понимаю вас, Владимир Ильич...— сказал Калинин, неторопливо подбирая слова. Он хотел уточнить замечание Ленина, быть может, даже поправить его.— Но видите ли, в чем дело... Труд при царизме, конечно, наказание за неизвестные грехи. Но тем не менее совестливость была в характере многих рабочих и при царе... Больше того, году этак в девятисотом или в конце того века, точно уже не помню, возник у нас в подполье спор: обязан или не обязан рабочий-революционер делать вещи хорошо?.. Так вот, Владимир Ильич, многие заявили: мы не можем выпустить из своих рук плохую вещь — это нам претит, унижает человеческое достоинство! Это при капитализме... Человеческое достоинство!

Удивительно богат был житейский и трудовой опыт у этого партийного деятеля. Ленин внимательно смотрел на Михаила Ивановича.

— Вот видите! — Ленин сел.

— К сожалению, совестливость не выдается вместе со свободой и равноправием.

— Да, Михаил Иванович... Совершенно верно...

Уже больше года занимал Калинин пост председателя ВЦИК, высшего органа Советской власти. Среди многих Ленину особенно нравилась в Калинине одна черта, выраженная им самим в следующих словах: «Правительство так должно вести себя, чтобы его как можно меньше замечали». То есть Советская власть должна привлечь к управлению государством такую массу людей, что потеряется разница между власть имущими и рядовыми гражданами.

«Разве это не великолепная программа для председателя ВЦИК? Ни один президент буржуазного государства не может поставить перед собой такой задачи...» — с гордостью за товарища думал Ленин.

Михаил Иванович сел. Он пришел посоветоваться по поводу некоторых сложных дел. Это были те самые дела, о которых он не посчитал возможным поговорить тогда, в субботу...

Положив папку на стол, Михаил Иванович начал неторопливо излагать одно дело за другим. Среди них были и неприятные: произвол местных властей, чванство и волокита чиновников, особенно в деревне, тайные и скрытые выступления кулаков.

Примерно год назад ВЦИК отменил смертную казнь. Молодое государство, еще не сбросившее всех врагов, едва арестовав адмирала Колчака и разгромив армию Деникина, уже заявляло о своем великом гуманизме, о своем отказе от права карать за преступления лишением жизни. Это было невиданно. Но этот более чем милосердный и справедливейший акт отнюдь не означал слабости Советской власти или принятия ею позиции всепрощения. Нет! Нужно строго карать за нарушение законности!

Владимир Ильич снова подошел к окну.

— Да, Михаил Иванович,— проговорил он,— формы подрыва Советской власти очень разнообразны...— и открыл форточку.

Был уже второй час. От Троицкой башни с песней шли кремлевские курсанты:

Белая армия, черный барон
Снова готовят нам царский трон...
Но от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней!

И сама песня, и молодые голоса курсаитов нравились Ленину.

Так пусть же Красная
Сжимает властно...

Песня затихла.

В наступившей тишине слышно стало, как на площади перед зданием Совнаркома кто-то из самокатчиков заводил мотор. Но горючее, видно, было плохое, и мотор, постреляв короткими очередями, затихал.

Михаил Иванович заметил, что Ленин явно ждал, когда заведется мотор. Наконец он завелся. Ленин с облегчением отошел от окна и сел за стол на свое место.

Часть дел он посоветовал Калинину вынести иа рассмотренне Совнаркома, виновннков безобразий почаще арестовывать и привлекать к суду.

Нужно во что бы то нн стало на векн вечные оградить новую жизнь от посягательств теперь уже «своих» врагов и головотяпов, н Владимир Ильич говорил Калиннну о необходнмостн возвести законность в принцип н соблюдать ее самым строжайшим и придирчивым образом. Никому не позволено безнаказанно компрометировать Советскую власть, не позволеио мириться с нзвращениями... И тогда не будет повода говорить о ее «разнообразии»...

Потом он положил руки на стол, хлопнул ладонями, как бы кончая со всем, о чем говорили, и спросил:

— Как вы думаете, Мнхаил Иванович, съезд хорошо отнесется к хозяйственным вопросам? Впервые так широко ставим...

Прежде всего Ленин имел в виду план ГОЭЛРО.

Калинин постучал пальцами по столу, раздумывая.

— Люди обрадуются, что мы заговорим о хозяйстве, а не о войне... Они истосковались по труду. Нормальный человек, Владимир Ильич, по природе своей созидатель...

Подперев подбородок рукой, Ленин с ннтересом слушал, как неторопливо отвечал ему Михаил Иванович, по старой крестьянской привычке говоря вместо «восьмой съезд» — «осьмой».

— Должны поддержать!

— А мыслящие инако?

— Не знаю, Владимир Ильич...

Эти «мыслящие инако» были умными, образованными, а в части своей и талантливыми людьми. «Бой на съезде? Ну-ну...»

Проводив Калинина, в радостно-приподнятом настроении, Владимир Ильич прошелся по кабинету раз, другой и вдруг остановился у стола. Что это? В одной из газет, пухлым ворохом лежавших на книгах, его заинтересовало маленькое объявление. Быстро пробежал его глазами: «Доклад... Мироздание и человек». Снял трубку.

— Соедините меня, пожалуйста,— Владимир Ильич заглянул в объявление,— с Политехническим музеем... Я подожду...

Вскоре его соединили. Женщина, по всей видимости технический работник, два раза переспросила, чего хочет от нее гражданин, но конкретно ответить Ленину, о чем именно будет доклад, не смогла. Никого другого в этот момент в музее не оказалось, и Владимир Ильич, назвав себя, попросил передать кому следует просьбу: позвонить ему.

«Может, может быть, тот самый! — уверял себя Владимир Ильич.— «Вскорости на Марс!» Может быть!»

Зажглась лампочка, нужно было говорить по телефону, а Ленин думал: «Что у меня послезавтра? И что именно в час? Вдруг не выберусь?» Он полистал календарь и в досаде покачал головой: ай-ай-ай!

Звонили из дому: затащили Горького, собирается уходить, было бы хорошо, если бы Володя пришел обедать хоть немного раньше четырех.

Владимир Ильич пообещал прийти пораньше и вызвал секретаря:

— Послезавтра,— повелительно, но так, что в тоне можно было угадать и шутку, сказал он ему,— послезавтра я, по всей видимости, должен быть свободен с часу до трех. И вы должны освободить меня. Да, да! Мне может понадобиться именно это время. С часу до трех!

Ленин шутил и не шутил... Председатель Совнар-

кома, слава богу, сам распоряжается своим временем!

— Тогда, Владимир Ильич... Тогда перенесем встречу с корреспондентом на удобное вам время.

— А корреспонденту, вы думаете, это удобно?

— Выясню, Владимир Ильич.

— Хорошо... Я должен быть свободен. Лично в этом заинтересован,— признался Владимир Ильич и спросил: — Кто еще?

— Прием корреспондента в час, а в три делегация крестьян Можайского уезда с адресом и подарками...

— Ага! — уцепился Ленин.— С адресом и подарками! И кадило припасли? Так, так... Славословить будут? — Но сейчас же подумал, что принять все же нужно, переведя разговор на положение в деревне, на практические дела.— К трем я вернусь. Значит, корреспондент... Пожалуйста, выясните.

— Хорошо, Владимир Ильич...

Владимир Ильич ушел, а секретарь несколько мгновений еще стоял перед закрывшейся за ним дверью.

...Возвратясь в кабинет и снова погрузившись в дела, Ленин нет-нет да и думал об этой поездке в Политехнический.

И вот Ленину позвонили из музея...

Ошибка!

Ни о каком полете на Марс или на Луну речи не будет... И как это он напридумывал! Да еще уверял Горького, своих! Ну ничего... Им не в диковину его фантазии и невероятные планы, хотел же он в апреле семнадцатого года вернуться из эмиграции в Россию под видом немого шведа... Да и мало ли!..

А все-таки досадно... Неужели только послышалось?

23. НА СЪЕЗДЕ

Двадцать второго декабря съезд слушал доклад о деятельности Совета Народных Комиссаров. Доклад был рассчитан минут на пятьдесят, на час. Но говорил Владимир Ильич значительно больше.

Ленин ходил по самому краю сцены с листочками в левой руке. За последние годы много раз выступал он перед большими аудиториями на собраниях, съездах, конгрессах. Речи и доклады вошли в привычку,

стали необходимостью, и тем не менее Владимир Ильич часто волновался перед выступлениями. Каждое — особенное...

Огромные размеры зала Большого театра скрадывал сумрак, лампочки горели тусклым светом, и со сцены зал казался правильной формы большой пещерой, убранной в золото и красный бархат.

Ленин говорил, почти не заглядывая в листочки. Все, что он хотел сказать делегатам съезда, было его собственными мыслями и выводами, которые невозможно забыть или выразить не так: они выстраданы им.

Вопрос об электрификации был не первым. Чтобы добраться до него, нужно было рассказать о войне с белополяками, объяснить временные неудачи в прошлом, рассказать об успехах политики на Востоке, образовании Бухарской, Азербайджанской и Армянской Советских Республик, о торговых отношениях с другими странами, о концессиях, многом другом и только потом о хозяйственном фронте.

Приближаясь к тезису об этом новом фронте, Ленин чувствовал, будто всю жизнь он пробирался, продирался к нему через другие фронты: создание партии, подготовка революции, гражданская война. Их необходимо было пройти всем: стране, партии, ему. И, кажется, прошли...

— Я остановлюсь на последнем пункте — на вопросе об электрификации, который поставлен в порядок дня съезда, как особый вопрос, вам предстоит выслушать доклад по этому вопросу.

Ленин говорил уже давно, начал уставать, хотя по-прежнему энергично и скупо жестикулировал, стараясь каждое слово подать слушателям в своем подлинном значении, до предела обнажив смысл. Только голос его звучал глуше. Но сейчас, когда Ленин коснулся вопроса об электрификации, голос снова набрал силу:

— Я думаю, что мы здесь присутствуем при весьма крупном переломе, который во всяком случае свидетельствует о начале больших успехов Советской власти. На трибуне всероссийских съездов будут впредь появляться не только политики и администраторы, но и инженеры и агрономы. Это начало самой счастливой эпохи, когда политики будет становиться

все меньше и меньше, о политике будут говорить реже, а больше будут говорить инженеры и агрономы.

Полутемный притихший зал ответил оживлением. Оттуда словно подул ветерок, донесший вдруг неясный шум... Огромный корабль страны разворачивался на новый курс: рвались, ломались привычные связи, устанавливались новые... Усилия миллионов людей направлялись на преобразование страны, и люди сейчас отвечали ему на это гулом одобрения.

Сотни раз слышал он этот гул, и не меньше — гул несогласия, яростного сопротивления, выкрики и ругань. Но, конечно, одобрение и хула не одно и то же, но и хула, как бы яростна она ни была, вызывала в нем прилив энергии, желание ответить на удар сокрушительным ударом.

Сделав паузу, Владимир Ильич прохаживался по сцене и, все еще чувствуя этот ветерок, доносивший шум одобрения, продолжал:

— Политике мы, несомненно, научились, здесь нас не собьешь, тут у нас база имеется. А с хозяйством дело обстоит плохо. Самая лучшая политика отныне — поменьше политики. Двигайте больше инженеров и агрономов, у них учитесь, их работу проверяйте, превращайте съезды и совещания не в органы митингования, а в органы проверки хозяйственных успехов, в органы, где мы могли бы настоящим образом учиться хозяйственному строительству.

Процесс этот, знал Ленин, будет проходить тоже нелегко. Здесь противниками окажутся не деникины и врангели, а люди, считающиеся своими: лодыри, тунеядцы всех оттенков... Годы и годы воспитательной работы...

Мельком взглянув на листок, Владимир Ильич увидел запись: «Порыв крестьян: «свет неестественный», и почувствовал, что о поездке в Кашино, о которой не раз вспоминал с особым удовольствием, он и расскажет здесь тоже с удовольствием.

Но до Кашина нужно сказать еще и о другом: о «томике», потом о Сухаревке-рынке, который легко закрыть, и о «Сухаревке», которая живет в душе и действиях каждого мелкого хозяина и является основой капитализма. Но сначала о «томике»:

— Мы имеем перед собой результаты работ Государственной комиссии по электрификации России в

виде этого томика («Успели все-таки печатники!»),— Ленин поднял книгу высоко над головой и потряс ею,— который всем вам сегодня или завтра будет роздан. Я надеюсь, что вы этого томика не испугаетесь. Я думаю, что мне не трудно будет убедить вас в особенном значении этого томика. На мой взгляд, это — наша вторая программа партии.

Ленин стал разъяснять тезис. По его мысли, эта программа не будет неизменной. Каждый день в каждой мастерской, в каждой волости она будет улучшаться, разрабатываться, совершенствоваться и видоизменяться. Развив положение об экономической базе коммунизма, Владимир Ильич очень просто и спокойно произнес записанные в тезисах слова:

— Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны. Иначе страна остается мелкокрестьянской, и надо, чтобы мы это ясно сознали.

Съезд одобрил план ГОЭЛРО. И в жизни страны, и в его, Ленина, личной — взят новый рубеж, поставлен новый верстовой столб...

В перерыве между заседаниями Владимир Ильич выпил на ходу стакан чаю и вышел в фойе.

Делегаты, разбившись на группы, оживленно беседовали. Страна вступала в новую эпоху, и ощущение этого в той или иной степени коснулось всех... Не борьба с Деникиным и Колчаком на уме, а лампочка в хате, техника, которая придет на помощь народу, до сих пор добывавшему хлеб свой потом своим...

Владимир Ильич подошел к группе товарищей, окруживших Кржижановского.

Глеб Максимилианович всегда говорил о чем-нибудь интересном, а если касался науки и техники, то рассказывал о последних открытиях или делал свои прогнозы. В январе Владимир Ильич в одной из его статей об электрификации прочел высказывания о том, что «открываются ослепительные перспективы в сторону радиоактивных веществ».

Сейчас Глеб Максимилианович рассказывал об основных положениях теории относительности Альберта Эйнштейна так, как он уяснил их себе. Известная шутка, будто теорию Эйнштейна, это величайшее открытие века, по-настоящему могут понять всего несколько человек в мире, не была лишена оснований.

Постижение ее требовало определенного уровня знаний современной физики и математики, способности мышления абстрактными категориями.

Владимир Ильич вслушался.

Давно, во время работы над своей книгой «Материализм и эмпириокритицизм», он не мог сразу и достаточно ясно представить себе беспредельность вселенной. «Ну а там дальше что? — требовало привычное мышление.— А там, за этой галактикой, а за той? Ну еще одна галактика, множество звездных систем, ну а за ними? Где же граница: кончается мир небесных тел и начинается пустота? Нет ее, этой границы, и нет ее, этой пустоты...»

Сейчас Ленин внимательно слушал разговор о достижениях современной науки.

— Свойство тел и их пространственно-временные отношения,— продолжал Кржижановский,— теория ставит в зависимость и рассматривает в зависимости от их механического движения.

Он перешел к принципу относительности и принципу постоянства скорости света в вакууме, являющимися исходными положениями теории Эйнштейна.

Ленин слушал, наклонившись вперед, откинув полы люстринового пиджака и охватив руками бока.

Необыкновенное время!

Все, о чем мечтали века, и даже не мечтали, а грезили, сейчас казалось возможным. Сама революция была беспредельной, и то, что совершено, лишь начало чего-то еще большего. Ее победа окрыляла, кружила головы. Многие, у кого захватило дух, стремились сделать что-нибудь для нее и непременно «в мировом масштабе».

Хотелось немедленно все перевернуть, чтобы сразу же добиться победы везде и всюду. Все богатства, накопленные человечеством, должны быть тотчас отданы массам. В 1918 году книгоиздательство Петроградского совдепа кроме книг Маркса и Энгельса, вождей революции, печатает книги К. Каутского, П. Лафарга, Ф. Меринга, В. Либкнехта, Т. Кампанеллы, Т. Мора. А издательство «Всемирная литература» начинает выпуск библиотеки в 2500 томов — сочинений писателей многих стран и народов. Казалось совершенно необходимым издание Костера и Петрония,

Д'Аннунцио и Ахилла Татия Александрийского, Байрона и Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Казалось, все это будет немедленно усвоено рабоче-крестьянской массой, хотя немногие из этой массы читали Пушкина и Толстого, а большинство не брало в руки даже букваря...

— Мы, пожалуй, на пороге нового и невиданного скачка в развитии науки и техники,— говорил Кржижановский.— Занимается заря новой цивилизации. Теория относительности, развитие самолетостроения... Электротехника подводит нас к внутреннему запасу энергии в атомах... А космос? Из области, облюбованной лишь писателями-фантастами, он станет областью практической деятельности ученых и инженеров.

Ленин слушал.

Люди мечты, вбиравшей всю жизнь, люди ежедневного и многим незаметного подвига всегда — и раньше и теперь — стояли рядом, если даже и работали за тридевять земель. Они справятся со всеми трудностями, и с теми, которые так тревожили Покровского и художника Озерова... И все же, неужели только нафантазировал и этого человека с мечтой о звездах придумал?.. Но разговор глубоко задел его, и Владимир Ильич высказал свои мысли о космосе.

Неподалеку от Ленина стоял большевик художник А. Е. Магарам. Он записал одну из фраз Владимира Ильича:

— Вполне допустимо, что на планетах солнечной системы и других местах вселенной существует жизнь и обитают разумные существа.

Михаил Иванович Калинин вскоре позвал всех на сцену.

24. СОБЫТИЯ МНОГИХ ДНЕЙ

Прошел съезд. Прошло много заседаний Совнаркома и Совета Труда и Обороны. Часть из них была посвящена практическим вопросам осуществления плана ГОЭЛРО.

...Через некоторое время Владимир Ильич заболел и по настоянию врачей и ЦК партии уехал в Горки.

Работал он и здесь, лишь иногда по особенно важным делам приезжал в Москву.

Непривычно размеренно шли дни: врачи, режим, удаленность от столицы.

Но был телефон, газеты, самокатчики. Никто не знал — может, только Надежда Константиновна и сестра,— никто не знал, с каким нетерпением ждал он нарочного из Москвы. В снежной ватной тишине в определенный час вдруг слышался слабый треск мотоцикла. С каждой минутой он становился все громче, громче, и вот уже частые выстрелы мотора рядом, птицы с криком взмывают с деревьев в небо — самокатчик подкатывал к подъезду дома. Почти ежедневно Владимир Ильич просматривал записки, протоколы... На отрывных листочках из блокнота делал замечания, самокатчик отвозил их с присланными бумагами в Москву. Какое это наслаждение — работать!

У всякого человека, если он даже и не подошел к жизненному пределу, есть пора, о которой он вспоминает, как о самой светлой. Конечно, ею всегда, на всю жизнь, остается восприимчивое детство, глубоко впитавшее первые впечатления бытия, как тщательно подготовленная сырая штукатурка впитывает свежие краски фресок... Конечно, и первая или единственная любовь... Но Ленин часто вспоминал годы труда в своем кабинете, заседания Совнаркома и СТО. Напряженно, но интересно шла работа, подчас тяжелая, в тревожной обстановке. А ведь бывали на заседаниях и противники, и заблуждавшиеся, и путаники...

Среди других вспоминался небольшой эпизод. Обсуждалась смета на организацию торфоразработок. Кое-какой опыт в этом деле уже был. Но вот бараки... бараки... Какова стоимость этого сооружения? Истинная стоимость, а не взятая с потолка?

Ленин заглянул в смету Главторфа: постройка одного барака исчислялась в четыре тысячи рублей. Но много это или мало? Незаметно для себя приложив руку к губам, Владимир Ильич задумчиво посмотрел в конец стола: много или мало?

Представитель Наркомфина уверенно доказывал:

— Мы все должны научиться экономить государственные, народные денежки, товарищи. Четыре ты-

сячи рублей — это как раз вдвое больше, чем надо. Настаиваю на двух тысячах.

Да, боек... Верные, надежные слова. Экономить государственные деньги, безусловно, надо... Но не чересчур ли боек во вред делу?

Пока наркомфиновец говорил, Ленин быстро писал записку представителю Главторфа, спрашивал (ответ нужно было получить до голосования), строил ли он когда-нибудь бараки, твердо ли знает, что надо именно четыре тысячи рублей?

Ответ пришел быстро: «строил, твердо знаю — четыре тысячи». Отложив записку в сторону, Ленин спросил представителя Наркомфина:

— Простите, вы когда-нибудь строили бараки?

— Я? — удивился работник Наркомфина.— Нет, никогда не строил.— Он даже и не подозревал, что такой вопрос мог кто-нибудь ему задать. «Бараки! Подумать только! Бараки!» — Не строил... Нет... Нет...

— Вопрос о бараках ставлю на голосование,— сказал Ленин.— Есть два предложения. Первое — товарища, который строил,— Ленин подчеркнул это слово,— бараки: дать четыре тысячи рублей. Второе — товарища, который не строил бараков: дать две тысячи рублей на барак.

Сейчас Ленин подчеркнул «не строил». В зале послышался смех: исход голосования был предрешен. Представитель Наркомфина, сконфуженный, покраснел. Что ж, поделом! В следующий раз те, которые «не строили», не будут с таким апломбом спекулировать на экономии... Проголосовали за первое предложение.

— Переходим к следующему вопросу...

Дальше, дальше, все дальше! Через тысячи дел к цели... Через часок-полтора примчится самокатчик. Что-то он привезет нового? Много ли?..

Зимние Горки были особенно тихи. Снег, заваливший парк, утопивший дом, флигель и хозяйственные постройки, преобразил усадьбу. Глубокий покой и тишина, располагавшие к размышлениям...

Ленин часто гулял, иногда брал лопату и расчищал дорожки. Это занятие нравилось ему всегда: он не упускал возможности поработать лопатой и в Симбирске, и в Кокушкине, и в Шушенском...

Однажды Владимир Ильич встретил Васю. В рас-

пахнутом пальто мальчик стремглав пробежал мимо, таща за собой санки. Обернувшись, крикнул:

— Здравствуйте, Владимир Ильич!

— Здравствуй, Вася. На горку?

— Ага! На горке катаемся...

Владимир Ильич заметил, что Вася подрос, повзрослел, пальтишко стало коротковатым, узким в плечах. Время шло!.. Размеренно и неостановимо вращался земной шар, менялись времена года, в бесконечность уходили месяцы, недели, дни и с ними частицы жизни... Пятьдесят второй год!..

— Спеши, дружок...

Мальчик побежал, отчаянно работая ногами в валенках, из-под которых летели брызги снега.

Ленин остановился.

Отсюда ему хорошо была видна горка, черные фигурки ребятишек, слышны были их крики и смех... Какое веселье!.. Хотелось пойти и прокатиться с горы, как в детстве, выставив вперед ноги и уцепившись за поводья.

...Кто знает, когда ему еще доведется покататься на санках... От этого никуда не уйдешь: головные боли, бессонница... Даже близкие не знают, быть может, только догадываются, как жестоко прихватывает его порою недомогание, какие мысли приходят ему в голову...

Владимир Ильич вернулся домой. Посвежевший, бодрый, он стал просматривать доставленную почту. Газеты, бандероли, письма... В присланных на просмотр бумагах промелькнула среди других знакомая фамилия. «Кавлетов!.. А этот в связи с чем? Уволили? Наказали?» Речь шла о нем не прямо, а косвенно, но все же можно было понять, что Кавлетова повышают...

«Может, это другой Кавлетов? Невероятно... Надо запросить, узнать...»

Хотел заняться другими бумагами, но эта словно зацепила.

«Если это тот самый, то как можно его повышать? И почему это повышение не остановлено раньше и другими? А если он пропустит, не обратит внимания? (И легко мог это упоминание о Кавлетове пропустить!) Надо создать, выработать такую систему, которая бы сама выбрасывала из себя бюрократов, подхалимов, взяточников, как выбрасывает здоровый организм то,

что может отравить его. Изгоняла бы, а не задерживала. Иначе — смерть...»

Стал сейчас же писать, чтобы не забыть: такое нельзя забывать. И письма просматривал уже с каким-то нехорошим осадком на душе... В одном из писем — приглашение на губернскую конференцию изобретателей... В газете «За коммунистический труд», издававшейся МК РКП(б) и Московским Советом, извещение:

«Губернская конференция изобретателей открывается 29 декабря в 2 часа дня в Белом зале Московского Совета РК и КД. Регистрация мандатов производится там же с $9^1/_2$ утра».

Ленин оживился. Пошел звонить по телефону. Он попросил телефонистку кремлевского коммутатора соединить его с организаторами губернской конференции изобретателей и предупредил:

— Я подожду...

Прошло полминуты, минута... Он слышал короткий, сдержанный разговор телефонисток, щелчки... Прошла еще минута — и наконец-то:

— Я вас слушаю, товарищ Ленин!

— Здравствуйте, товарищ. Расскажите, пожалуйста, о повестке конференции. Так... Так... Кто? О чем? Повторите, пожалуйста! О перелетах на другие планеты? Я правильно понял, товарищ? Правильно? Непременно приеду. Спасибо. До свидания, товарищ!

Ленин положил трубку и долго не снимал руки с телефона. «А может быть,— вспомнил Владимир Ильич,— это все из тех же благих намерений? — И тотчас отмел сомнения: — Нет, нет...»

На имя Председателя Совнаркома поступало множество проектов и описаний изобретений. Его терпение, выдержка, с которыми он относился подчас к фантастическим идеям, его доверие и доверчивость поражали многих и особенно тех, кто по своему долгу занимался изобретателями.

Иногда его ждали разочарования... Весной этого года молодой техник, коммунист, рассказал Ленину о своем изобретении: производить взрывы на расстоянии. Секрет идеи он не хотел никому раскрывать. Ленин почти год занимался этим техником. По просьбе Владимира Ильича ему помогал член коллегии Наркомпочтеля и председатель Радиосовета Николаев.

— Изобретатели — народ особый, Аким Максимович, у них есть свои странности, часто мы их не понимаем. Надо терпеливо их выслушивать,— внушал Ленин Николаеву.

У техника долго не ладилось, как ни старались ему помочь. Несколько раз Аким Максимович предлагал кончить это дело, но Ленин возился с этим изобретателем, пока тот сам не заявил о своем крахе.

Даже идеи почти фантастические привлекали внимание Ленина. Ведь кое-что получалось: хорошо работала радиолаборатория в Нижнем, многое обещало изобретение инженера Классона в области добычи торфа... Не упустить бы хорошую идею, хорошую мысль, не дать ей пропасть...

Ленин вернулся к себе и снова прочел объявление.

Человек, который хотел вскорости лететь на Марс, действительно существовал. Он все время был где-то рядом. Нет, он не ошибся тогда, не ослышался.

В этот день с самого утра Ленин жил в предвкушении радости.

Однако выбраться в Москву Ленину так и не удалось. Самокатчик привез очередную почту, и среди бумаг — одна, требовавшая немедленных действий. Надо было звонить, советоваться с товарищами, писать... И проследить за исполнением... Обязательно проследить... Почувствовал себя Владимир Ильич сразу неважно: вернулась усталость, головная боль...

25. В МОССОВЕТЕ

Первое заседание губернской конференции изобретателей проходило в Белом зале. На следующий день, разделившись на секции, делегаты разошлись по разным комнатам и комнатушкам. В одной из них заседала секция, где слушались доклады о проектах межпланетных кораблей.

Комната была небольшой, холодной. Сидело в ней человек двадцать-тридцать.

Сделав небольшое вступление, председательствующий предоставил слово инженеру Фридриху Артуровичу Цандеру для доклада о своем изобретении: аэро-

плане для вылета из земной атмосферы и перелета на другие планеты.

Цандер вышел из-за стола президиума и стал сбоку, невысокий, худощавый, в хорошо выглаженном старом костюме, в рубашке с накрахмаленным воротничком. Совсем молодой, он выглядел старше своих лет: сказывались непрестанная работа и нелегкая жизнь. Бледное лицо, большой открытый лоб и этот крахмальный воротничок придавали его облику что-то привычное, легко распознаваемое: ученый... Но уже через минуту-другую привычные представления если не отступали, то рассеивались и дополнялись новыми впечатлениями.

Это был необыкновенный человек. Чистая душа, горение идеи светились в нем. Очевидно, недаром еще века и века тому назад художники, в том числе великие, наверняка изрядно помучившись в поисках средств выражения, не без видимых оснований стали отмечать это качество человека светящимся нимбом вокруг его головы. От таких людей, действительно, как бы исходит свет.

— Мой межпланетный корабль,— говорил Цандер,— состоит из аэроплана, на который поставлен авиационный двигатель высокого давления. Двигатель будет работать при помощи жидкого кислорода и бензина, или же этилена, или водорода, смотря по условиям, которые окажутся наиболее выгодными при опытах. Двигатель будет приводить в движение винты, и аэроплан взлетит с Земли...

Цандер говорил о своих, казалось, невероятных замыслах без единой патетической ноты, убежденно и просто. За его словами угадывались точный расчет, знания, опыт, муки и радости открытий и, конечно, бессонные ночи, жертвы во всем ради одного.

— На высоте примерно двадцати восьми верст от Земли,— продолжал Цандер,— авиационный двигатель будет выключен и включен ракетный мотор с силой тяги в тысячу пятьсот килограммов. Затем специальным механизмом мы втянем части аэроплана в котел, где они будут расплавлены, и получим жидкий алюминий, который вместе с водородом и кислородом послужит нам прекрасным горючим материалом... На высоте примерно восьмидесяти километров над Землей

от аэроплана останется только ракета с небольшими крыльями и рулями, а также кабина для людей.

Согласно расчетам, мы будем иметь достаточную скорость для того, чтобы отлететь от Земли и перелететь на другие планеты.

«Согласно расчетам... Перелететь на другие планеты...» Слова завораживали своей простотой и реальностью: «А почему бы... почему бы не полететь?»

На свете нет, наверное, ни одного человека, кто в детстве, сидя вечерком на крыльце или где-нибудь на скамье, не обращал бы взора к небу и не думал: «Вот полететь бы к звездам!» Вечером, когда выплывала из-за леса или домов огромная оранжевая Луна, высыпали на черном небе яркие звезды, кто не вел разговоров о планетах, их величине, удаленности от Земли и, конечно же, о том, что когда-нибудь человек доберется до них?

Сейчас перед изобретателями стоял человек, который знает, как долететь до этих звезд.

— Для того чтобы такая комбинированная ракета,— продолжал спокойно и отчетливо Цандер,— могла, как Луна, обернуться вокруг земного шара, требуется достижение начальной скорости в восемь километров в секунду; для того чтобы навеки удалиться с земного шара — одиннадцать целых три десятых километра в секунду; а для того чтобы достигнуть другой планеты... достигнуть Марса...— Цандер замялся и умолк от волнения: говорил о заветной и такой невероятной мечте. Потом, овладев собой, продолжил: — Для того чтобы достигнуть другой планеты — Марса, требуется начальная скорость в четырнадцать километров в секунду.

Фридрих Артурович протянул руку к стакану и, отпив глоток воды, посмотрел в зал.

Кто эти люди в старых пальто, закутанные шарфами, в валенках и обмотках, в поношенных галошах, многие с бледными нездоровыми лицами? Половина из них, несомненно, вела полуголодную жизнь, мерзла в холодных домах, каждый день мучилась, испытывая унижение и лишения от всевозможных мелочных дрязг неустроенного быта... Что их собрало сюда?

Они верили. Не сейчас, а когда-нибудь вот так и будет, как говорит этот худощавый инженер.

Фридрих Артурович перешел к расчетам минимальной и общей добавочной скорости, которую необходимо сообщить межпланетным кораблям после преодоления ими земного притяжения для того, чтобы достичь ближайших планет. Каких? Марса и Венеры. Марс он называл чаще других.

Закончив теоретическую часть, подкрепленную точными математическими расчетами, Цандер остановился на вопросах практического разрешения задач межпланетного полета.

В зале оживились. Эти земные мечтатели знали, что такое теория и что такое практика. В жизни не раз видели, как способные теоретики оказывались беспомощными при попытке практически решить что-либо.

Нет, Цандер нисколько не преуменьшал трудностей. Межпланетный полет требует решения сложных научно-технических проблем. Одна из них — защита корпуса корабля от теплового воздействия при движении с большими скоростями в земной атмосфере. Другая — питание аэронавта. Третья — создание условий для жизни человека в ракете. Четвертая... Пятая...

Фридрих Артурович заканчивал доклад:

— Астрономия больше, чем другие науки, призывает человечество к единению для более долгой и счастливой жизни.

Одна из последних фраз прозвучала убеждением, которому он отдает всю жизнь:

— Человечество из своего детского гнездышка вылетит в большой мир. Вперед, на Марс!..

Если бы Владимир Ильич мог приехать сюда, он наверняка вспомнил бы Уэллса и пожалел бы, что его здесь нет. Впрочем, Уэллс не поверил бы Цандеру, как не поверил ему, Ленину. Ведь Цандер и он — единомышленники.

26. ФРИДРИХ ЦАНДЕР

Впоследствии Фридрих Артурович признавался, что в эту ночь он не мог сомкнуть глаз. Всю ночь шагал он по своей комнатушке, не замечая ее тесноты. Нечто несравнимо бо́льшее, чем прилив сил и вдохновения, раздвинуло эти стены, и, возбужденный, он шагал по

комнате, как по вселенной, ступая ногами в старых заплатанных ботинках по малым и большим планетам, по звездам, в миллионы и миллионы раз больше Солнца, по мирам, системам, неведомым галактикам, которым даже не могли дать названий, потому что никто не знал об их существовании.

Старые ботинки — как чуни, как разношенные шлепанцы: их не чувствуешь... Фридрих Артурович шагал легко. Промелькнул второй, третий, четвертый час...

С детства в темные и долгие зимние вечера любил он стоять у окна и смотреть на звезды... Отец, увлекавшийся естествознанием, врач по профессии, рассказывал своим детям о звездах и планетах, о том, что на них, возможно, обитают животные причудливой формы, диковинные и необычайные... «Вот бы долететь туда!» Но однажды маленькому Фридриху сказали, что пока на планеты полететь нельзя, и он заплакал.

Когда в 1908 году Фридрих Артурович приобрел астрономическую трубу с увеличением от 60 до 300 раз, загадочный и манивший его мир планет и бесконечного, не поддававшегося представлению пространства вдруг приблизился. Но он был еще очень далеко. Однако существовал Циолковский и его статья «Исследование мировых пространств реактивными приборами» ... Мысли мудреца...

Прошел и пятый час...

Шагая по комнате, Фридрих Артурович как-то осторожно, словно боясь вспугнуть всплывавший в сознании дорогой образ, иногда вспоминал Ленина. Цандеру сказали, что он может приехать на конференцию.

И вот во время перерыва после доклада Владимир Ильич подходит к нему... Конечно, это невероятно... Но если бы приехал...

Ленин подходит к нему, представляется и спрашивает строго:

«А почему, собственно, Марс? Полет на Марс... Расчеты, выкладки применительно к Марсу...»

Он ответит:

«Может, это несерьезно, Владимир Ильич, но это мечта детства. Марс — наш ближайший сосед...»

Но Ленину, кажется, этого мало. И тогда он, Цандер, приведет еще один немаловажный аргумент:

«К тому же, Владимир Ильич, Марс — красная

звезда! А красная звездочка — как бы символ иашей страиы и иашей армии».

Леиии улыбнется: вот это, мол, другое дело!

И еще Леиии иепремеино спросит:

«Фридрих Артурович, первые полеты, очевидно, будут связаиы с риском для жизни?»

«Да, Владимир Ильич, риск есть...»

Леиии взгляиет иа иего, оценивая, и задаст самый главный вопрос:

«А вы первым полетите?»

«Ииаче и ие мыслю, Владимир Ильич!»

...За окиом уже рассвет. Люди спешат иа работу... В комиате холодио. Фридрих Артурович останавливается: иужио немедленно заняться изыскаиием топлива, хотя бы двух-трех полеиьев, хорошо бы сухих и березовых... Осииа не греет...

27. ВСЕГДА НА ОГОНЕК

Поздно вечером, управившись с делами, как и в тот летний деиь, Владимир Ильич разогрел чай и сел за стол. За окном ие шумел дождь, не стучал по крыше, ие качали тяжелыми ветвями деревья. Зима! На стеклах — толстый иией почти до самого верха; холодок от окна...

Владимир Ильич вспомнил, как ои ехал иа VIII съезд Советов, с каким трудом пробиралась машииа среди сугробов от Троицких ворот до Большого театра, вспомиил, как сидел в президиуме съезда.

Кржижаиовский делал доклад о плане электрификации России...

Москва иесла жертву: оиа осталась почти без света. Электроэиергия иужиа была, чтобы осветить карту электрификации России, сооружеиную иа сцеие Большого театра, в котором заседал съезд.

Слушая оратора, Леиин, приложив пальцы к подбородку, посматривал в зал, где тускло, с медным иакалом горели лампочки, где мерцала позолота и матово лосиился красиый бархат лож. Сотии глаз смотрели иа сцеиу. В делегатах, сидевших в первых рядах, Леиии угадывал рабочих, крестьян, бывших солдат. Но взгляд его чаще других остаиавливался иа молодом солдате в папахе. Леиину почему-то казалось, что

этот крестьянин приехал из далекой, глухой деревни, где на двадцать дворов пяток лошадей, где бездорожье, сломанные мосты на недели, если не на месяцы, отрезают людей от мира, где редко видят газеты и зимой спать ложатся в четыре часа, потому что нет керосина.

Этот молодой крестьянин («Конечно же, это крестьянин!») слушал Кржижановского, напряженно вытянувшись. Ленин взглянул на других: «Понятно ли? Доходчиво?» Но в докладе все было достаточно ясно и понятно. Ленину показалось, что во время работы над планом электрификации России, встреч со специалистами, Глебом Максимилиановичем, споров, заседаний, упорной борьбы с противником плана он и имел в виду именно этого молодого крестьянина, с оружием в руках отвоевавшего себе право строить новую жизнь. «Да, да, именно этого молодого крестьянина». И подумав так, он принялся набрасывать резолюцию:

«Съезд поручает ВсеЦИКу, Совнаркому, Совтрудобороне и президиуму ВСНХ, а равно другим наркоматам, довершить разработку этого плана и утвердить его, притом обязательно в кратчайший срок».

Пробежав глазами написанное, Ленин кое-что поправил и снова поднял голову. Молодой крестьянин продолжал внимательно слушать Кржижановского.

Когда Глеб Максимилианович, рассказав о том, как отставала прежняя Россия по своей электровооруженности от передовых капиталистических стран, стал говорить о перспективах электрификации Советской России, в зале оживились.

— В первое время,— продолжал Кржижановский под этот оживленный шум,— Комиссия по электрификации России наметила постройку двадцати семи станций в таких районах, которые дадут возможность связать почти всю Россию в одну сеть.

Оживление нарастало с каждой секундой, шум усиливался. Молодой крестьянин из глухой волости («Конечно же, из глухой волости!») выкрикнул, как показалось Ленину, что-то вроде: «Будет свет и у нас!»

Вся жизнь Ленина была движением вперед вместе со всем народом. Он мог оказываться далеко впереди других, и часто так и бывало, но рано или поздно к нему подтягивались и остальные. Ради чего же иначе идти вперед?

Сколько раз вот так, завидев вдалеке чуть брезживший во тьме огонек, он шел на него. А путь — со смертельными опасностями на каждом шагу, с обрывами слева, пропастями справа. Иногда огонек был настолько слабым, что казался призрачным: а существует ли он на самом деле? Но проверить было не у кого. Больше того, часто приходилось доказывать, что огонек там. Именно там! И он шел и приходил к цели.

«Будет свет и у нас!» Хорошо! Осуществление идеи, о которой он, Ленин, столько думал.

И снова склонился над листком:

«Съезд выражает непреклонную уверенность, что все советские учреждения, все Совдепы, все рабочие и трудящиеся крестьяне («И конечно же этот молодой крестьянин из глухой волости!») напрягут все свои силы и не остановятся ни перед какими жертвами для осуществления плана электрификации России во что бы то ни стало и вопреки всем препятствиям».

Кржижановский продолжал свой доклад. Знакомый голос его звучал вдохновенно, врываясь в огромный полутемный зал почти осязаемой силой. Так когда-то они с Глебом пели в ссылке, и голоса их, полные горячей веры и вдохновения, разносились над Енисеем...

Владимир Ильич снова остановил свой взгляд на молодом крестьянине, который выкрикнул: «Будет свет и у нас!» А может, это только послышалось ему?

Нет, ошибки быть не может, не показалось, а так оно и есть на самом деле. Так оно и есть!

...Охвачены морозом леса, заснеженные поля, спящие города и деревни... Безвозвратно, но не впустую ушло время, и хотя внешне мало что изменилось, если всмотреться — жизнь уже не та: стрелка решительно переведена, и страна идет по новому пути. Молодой крестьянин из глухой волости давно уже дома, но жжет, конечно, еще лучину, ест картошку без масла и ходит в опорках. И, однако, живет уже другим, совсем другим...

СОДЕРЖАНИЕ

Сергей Федорович Антонов

ТРУДНЫЙ ДЕНЬ

Заведующая редакцией *Л. Сурова*
Редактор *М. Холмогоров*
Оформление *Е. Никитина*
Иллюстрации *С. Трофимова*
Художественный редактор *А. Титова*
Технический редактор *Л. Маракасова*
Корректор *Е. Протасова*

Л49631. Сдано в набор 20/VI 1977 г. Подписано к печати 25/XI 1977 г. Бум. № 1. Формат 84 × 108$^{1}/_{32}$. Усл. печ. л. 13,86. Уч.-изд. л. 13,82. Тираж 65 000. Цена 1 руб. Зак. 1881.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Московский рабочий», Москва, Чистопрудный бульвар, 8.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий». Москва, Краснопролетарская, 16.

1 руб.

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

ТРУДНЫЙ ДЕНЬ • С. Антонов